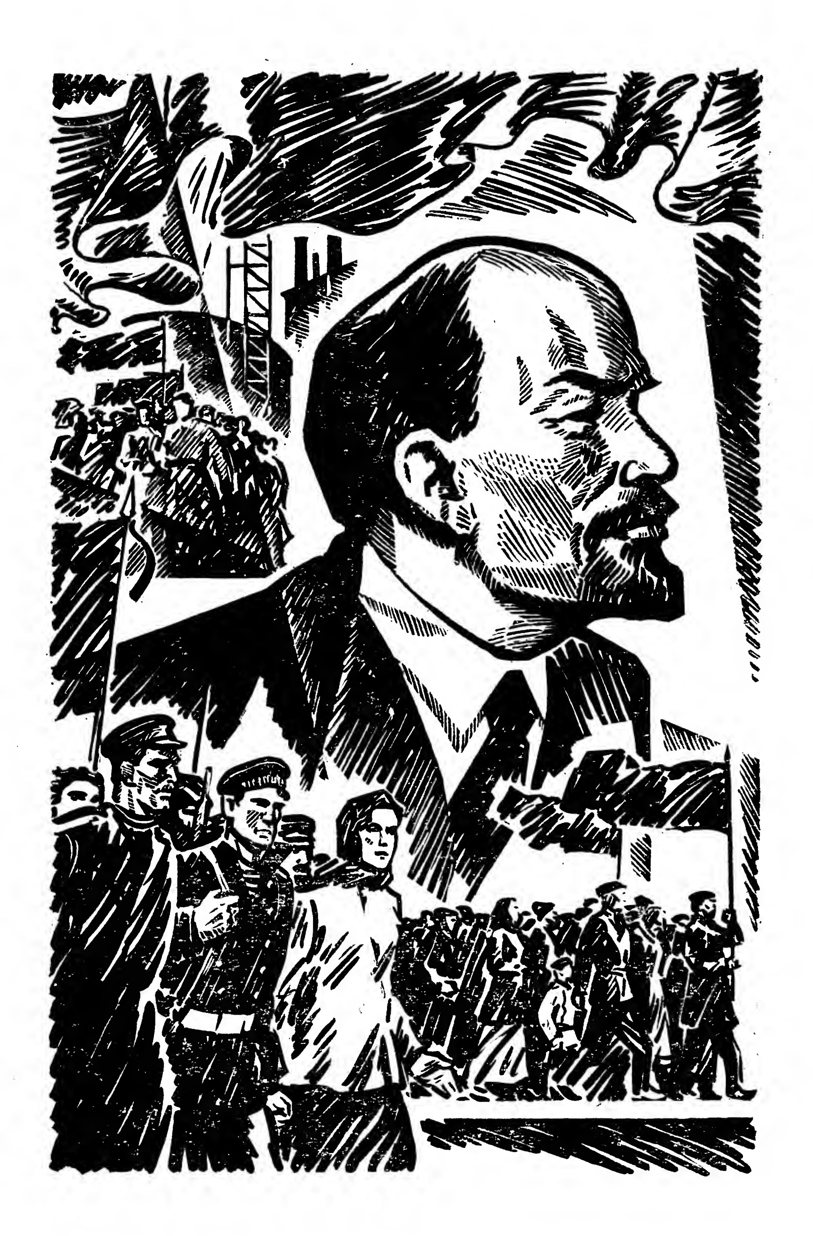
ЧЕРНЫЕ

Елизавета Драбкина

СУХАРИ


ИХЛ



ЕЛИЗАВЕТА
ДРАБКИНА

ЧЕРНЫЕ СУХАРИ

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

Р2
Д72

Художник
Л. ХАЙЛОВ

7—3—2
63—70

Памяти
моих родителей

ОТ АВТОРА

Мне выпало счастье быть свидетельницей событий необыкновенных. Я знала людей, чьи имена и деяния навеки вошли в историю человечества.

Этим людям, этим событиям посвящены рассказы книги, предлагаемой вниманию читателя. Главная цель моя — передать дух великой эпохи, о которой идет речь.

Рассказывая о времени, я вынуждена как-то говорить и о себе. Поэтому я считаю своим долгом предупредить читателя, что моя роль во всех описываемых событиях была самой скромной — не только потому, что я была в то время очень молода, но и потому, что я сделала для победы революции значительно меньше, чем многие мои сверстники.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!



ПЕРВЫЙ СНЕГ

Холодной петербургской зимой 1896 года, на рождестве, в Мариинском театре шло праздничное представление. Давали «Пиковую даму». Партию Германа пел знаменитый Николай Фигнер.

После очередного выхода артиста, как и всегда, вспыхнула буря аплодисментов. Фигнер, раскланиваясь, вышел на авансцену. И тут с галерки, перекрывая шум, прозвучал сильный молодой голос:

— Браво, Фигнер! Браво!

И с той же силой этот голос удивительно точно и музыкально, но в басовом ключе, пропел несколько фраз из арии, которую только что исполнил Фигнер.

В антракте к группе студентов, занимавших места на галерке, подошел капельдинер и отозвал одного из них в сторону. Спутники студента тревожно переглянулись. Но он, поговорив с капельдинером, махнул им рукой, чтоб они не беспокоились,— все в порядке, он скоро вернется.

Капельдинер проводил его в уборную Фигнера. Певец перед зеркалом поправлял грим. Когда вошел студент, знаменитый артист пересел к роялю и предложил ему спеть что-нибудь по собственному выбору. Тот выбрал «Эпиталаму» из рубинштейновского «Нерона». Прослушав, Фигнер спросил, не пожелает ли он принять участие в конкурсе на предмет вступления в труппу Мариинского театра.

— Нет,— сказал студент.— Не желаю.

— Почему же?— спросил Фигнер.— При вашей музыкальности и от природы поставленном голосе вы можете рассчитывать на прекрасную карьеру.

Студент пожал плечами.

— Каждому своя судьба,— сказал он.— Одному быть солистом оперной труппы его императорского величества, другому...

Он не договорил, но это и не было нужно. Фигнер понял, что студент, говоря о «других», подразумевает его сестру Веру Николаевну Фигнер — народоволку, находившуюся в пожизненном заключении в Шлиссельбургской крепости.

— Тогда прощайте,— холодно сказал Фигнер.

— Прощайте,— весело ответил студент и бегом, перепрыгивая через три ступеньки, помчался на галерку к своим товарищам.

Этим студентом был мой отец Яков Давыдович Драбкин, носивший в годы подполья партийные клички: «Лебедев», «Нация», «Харитон», «Травин», «Иван Сергеевич», «Сергей Иванович Гусев». Последняя из них —«Сергей Иванович Гусев»— закрепилась за ним навсегда, и под ней он известен в партии.

Его биография типична для людей молодого поколения, вступившего на революционный путь в девяностых годах прошлого века.

Первое сильное впечатление детства — убийство Александра II и процесс народовольцев, а особенно помещенная в «Ниве» иллюстрация, изображавшая Желябова и Перовскую в тот момент, когда их везли на высоких дрогах к месту казни. Потом — коронация императора Александра III. Еврейские погромы, отметившие начало нового царствования. Дикие сцены, разыгравшиеся, когда, по приказу местного богача-помещика князя Куракина, на лугу перед княжеским дворцом крестьянам в честь коронации было роздано несколько бочек водки. Трупы перепившихся мужиков, валявшиеся тут же, на этом лугу.

Потом, на пороге отрочества,— встречи с осколками народничества. Впервые услышанные слова о любви к народу, к мужику, к бедняку. Чтение, превратившееся в страсть и на долгие годы ставшее неодолимой потребностью. Инстинктивная ненависть к богу и религии, которая после знакомства с учением Дарвина сделалась сознательным убеждением.

Белинский, Писарев, Добролюбов, Шевченко, Некрасов, Чернышевский...«Что делать?» и сны Веры Павловны... Герценовский «Колокол»— первое нелегальное издание,

попавшее в руки. Ученические кружки, книги по истории Французской революции. Разрыв с семьей. Просветительные занятия с отдельными рабочими. Первое знакомство с марксизмом. Недолгие колебания — кто же прав: народники или марксисты? Марксистский кружок, изучение «Коммунистического манифеста».

В 1896 году — Петербург, Технологический институт, созданный Лениным «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Техническая работа в нелегальной организации: устройство типографии с мимеографом, печатание прокламаций, разноска по заученным наизусть адресам этих еще влажных листков с лиловыми расплывающимися буквами.

В марте 1897 года — участие в демонстрации перед Казанским собором по поводу самосожжения в Петропавловской крепости курсистки Ветровой, доведенной до самоубийства издевательствами царских тюремщиков. Через неделю ночной звонок: полиция. Обыск, во время которого обнаружены социал-демократические брошюры и напечатанная на мимеографе «Рабочая газета». Допросы в жандармском управлении. Ответы, что, каким образом попали к нему эти нелегальные издания, он не знает, кто отправитель найденного у него в кармане письма — ему неизвестно, а о том, с кем был знаком во время своего пребывания в Петербурге, ничего сказать не может, ибо ни с кем знаком не был. Шестимесячное заключение в «предварилке», использованное на то, чтоб основательно проштудировать «Капитал». Ссылка в Оренбург.

В 1899 году отец был переведен из Оренбурга под гласный надзор полиции в Ростов-на-Дону. Там он немедленно вошел в социал-демократическую организацию и был кооптирован в состав Донского комитета партии. Ведя пропагандистскую работу, он познакомился с молодой революционно настроенной девушкой, которую ему поручено было, как говорилось тогда, «развивать». Он и эта девушка полюбили друг друга и поженились.

Родители мои соединили свои судьбы в тревожное время: в Ростове-на-Дону начались аресты. Чтоб не попасть в руки жандармов, они вскоре после свадьбы выхлопотали заграничные паспорта и уехали сначала в Германию, а потом в Бельгию.

Жилось им трудно, голодно, интересно. Для заработка отец мыл стекла магазинов. Когда у матери стало подходить время родов, она определилась в больницу при

женском католическом монастыре: там с женщин, которые в течение определенного времени ухаживали за другими больными и мыли полы, не брали платы за родовспоможение.

Мое появление на свет не изменило образа жизни родителей. По-прежнему они перебивались случайной работой и все свободное время отдавали посещению собраний и изучению литературы. В центре внимания революционной эмиграции находилась ленинская «Искра». «Рабочедельцы» яростно нападали на «искровцев», да и среди самих «искровцев» имелись «твердые» и «мягкие». Было о чем подумать, поспорить, в чем проявить свои качества революционного бойца.

За границей они прожили недолго: не хватало денег, да и тянуло в Россию, к революционной работе.

В середине 1902 года они вернулись в Ростов. Отец снова вошел в состав Донского комитета. Часто потом он вспоминал об этих временах.

Пока стояли теплые летние ночи, заседания комитета происходили на Зеленом острове, расположенном посреди Дона. Поздним вечером, чтобы не привлечь внимания шпиков, члены комитета, захватив с собой кто булку, кто арбуз, кто кусок колбасы, по одному сходились на берегу Дона и на заранее приготовленной лодке переправлялись на остров. Там они разводили костер, закидывали удочки. Если б случайно кто подошел, подумал бы — рыбаки.

Заседали порой до утра. Хотя раскол партии на большевиков и меньшевиков был еще впереди, но уже тогда, летом 1902 года, ясно чувствовалось, что в партии имеются две политические тенденции — революционная и оппортунистическая. Каждый вопрос вызывал жестокие споры. «Заводилой» выступал обычно Гусев. Твердый искровец, он настаивал на перестройке работы партийной организации в соответствии с принципами, изложенными Лениным в его статье «С чего начать?» и в знаменитой брошюре «Что делать?». В ответ на это Локерман, в будущем ярый меньшевик, надменно-обиженным тоном говорил, что Ленин и его сторонники занимаются беспочвенным прожектерством и что вместо того, чтоб что-то выдумывать и изобретать, лучше бы заняться тщательным изучением опыта германской социал-демократии.

Успех речей Локермана был обратно пропорционален их длине. Большинство организации, особенно ее рабочая часть, стояло на стороне Гусева.

Энергичная деятельность будущих большевиков дала свои плоды. Из-за границы систематически приходили номера «Искры», которые зачитывались буквально до дыр. Аморфные кружки и группки превратились в строго централизованный партийный коллектив, скованный железной дисциплиной. Налажены были связи с фабриками и заводами. После долгих усилий удалось поставить свою типографию и выпустить несколько нелегальных брошюр и прокламаций. В рабочих районах молодежь во все горло распевала сочиненную Гусевым песню о «Качале-Мочале», высмеивавшую ненавистных рабочим мастеров — хозяйских прислужников.

Не случайно поэтому в Ростове в ноябре 1902 года разыгрались знаменитые события, которые Ленин охарактеризовал как один из приступов к общему подъему русских рабочих с требованием политической свободы. Обыденный конфликт во Владикавказских железнодорожных мастерских привел к экономической стачке, которая быстро выросла в политическое событие.

Толпы бастующих в течение одиннадцати дней заполняли двор железнодорожных мастерских и прилегающую к нему Темерницкую балку. Впервые в истории царской России под открытым небом происходили огромные митинги, на которые собиралось по двадцать — тридцать тысяч человек. Каждый день к забастовке примыкали новые предприятия. И все это проходило под руководством Донского комитета партии. Всякая прокламация комитета — директива массам, всякое указание оратора на митинге — приказ, который единодушно выполнялся десятками тысяч рабочих.

Утром 5 ноября, на второй день стачки, Гусев, проснувшись, подошел к окну. За ночь выпал снег, первый снег, ярко блестевший под лучами ноябрьского солнца. Глядя на этот снег, Гусев раздумывал над листовкой, с которой Донской комитет должен был обратиться к бастующим. В душе его звучало: «Первый снег... Первый снег...» Он подошел к столу и в один присест написал:

«Первый снег — и вместе с ним первый отдаленный раскат надвигающейся революции. Рабочие Владикавказских мастерских бросили работу и выставили свои требования. В них нет ничего политического и революционного, но самый факт такой крупной стачки рвет старые, заржавленные, средневековые цепи самодержавия.

И не дождемся мы, быть может, будущего «первого снега», как те же рабочие стройной тысячной толпой пройдут под красными знаменами социал-демократии с громкими криками: «Долой самодержавие! Да здравствует свобода!», пройдут по улицам Ростова, которые еще никогда не слышали вольных криков свободы. Они — и только они — в силах разрушить старое смрадное здание самодержавия, они — и только они — в силах дать свободу задушенной, голодной России...»

Слова эти сбылись раньше, чем снова выпал первый снег!

В марте 1903 года, в воскресный день, когда тысячи ростовских рабочих по обычаю собрались в Темерницкой балке для боя «на кулачки», туда явилось около полутораста рабочих — членов партии. Часть из них плотно окружила товарищей, у которых были красные знамена. Остальные рассеялись в толпе, чтобы в нужный момент двинуть ее в город. В назначенную заранее минуту знамена были развернуты и на плечах рабочих поднялся оратор. «Сюда, товарищи!» — понеслось над толпой. Знамена и возгласы сразу привлекли общее внимание. «В город! Идем в город!» — закричали сотни голосов. Сильный ветер расправил знамена, и все увидели надписи: «Да здравствует политическая свобода!», «Да здравствует 8-часовой рабочий день!», «Долой самодержавие!»

Тысячи рабочих хлынули к демонстрантам. По ухабам, по оврагам, по обрывам толпа двинулась вперед, как поток, сверглась вниз, к железнодорожной линии, и под нестройные, но мощные звуки «Марсельезы» быстро зашагала в гору, к Садовой улице, главной улице города. К демонстрантам присоединились новые тысячи. Весь Ростов, за исключением разве самых отдаленных кварталов, куда не дошла весть о демонстрации, устремился на Садовую.

События развивались точно по плану, разработанному Гусевым по поручению Донского комитета. Гусев направлял поток демонстрантов. Он же следил за тем, что предпринимала полиция. В момент, когда полицейские сконцентрировали свои силы, он дал команду: «Свертывай знамена и расходись!»

Швыряя в полицейских и казаков камни, рабочие стали отходить на боковые улицы. Во время одной из схваток был убит полицейский пристав.

В ту же ночь начались аресты. За убийство пристава Гусеву, как руководителю демонстрации, грозила виселица. Не дожидаясь, пока за ним придут, он бежал из Ростова.

Кружа, петляя, перекочевывая с явки на явку, он добрался до полуразвалившейся польской корчмы — места перехода через границу. Одноглазый контрабандист, пересыпая свою речь божбой и проклятиями, выторговывал каждый грош. Наконец поладили и пустились в путь. За ночь подморозило, под ногами похрустывал тонкий ледок. Отец шел быстро, не оглядываясь — вперед, скорей, скорей вперед!

РАСКОЛ

Он рвался в Женеву, охваченный страстным желанием познакомиться с теми людьми, о которых столько слышал, столько знал, в ком видел своих учителей,— с Плехановым и Лениным. Но встреча с Плехановым его горько разочаровала: вместо революционного борца он увидел какого-то очень далекого человека с барскими замашками, небрежно выслушавшего рассказ о ростовских делах.

Иное дело Ленин! С первой же встречи он поразил Гусева и своей доступностью, и какой-то особенной ленинской простотой, и своим великолепным спокойствием, и мощью своего интеллекта. Они встретились впервые на улице, потом Ленин пригласил его к себе и с жадностью расспрашивал и заставлял снова и снова рассказывать о событиях в Ростове.

Там, в Женеве, Гусев узнал, что избран заочно делегатом Донского комитета на II съезд партии.

Съезд открылся в июле 1903 года в Брюсселе. Гусеву было поручено доставить в Брюссель из Женевы нескольких делегатов съезда — рабочих. Поселились делегаты в старой части города, в гостинице. Денег было мало, ходили небритые, в косоворотках и в потрепанных сапогах и резко выделялись на фоне респектабельной брюссельской публики.

На съезд съехались представители самых различных групп и организаций — начиная от крайнего оппортунистического крыла, представленного группой «Рабочее дело», и кончая редакцией «Искры», в составе которой также были разные течения, на первых порах оформленные

довольно слабо. Основная борьба задолго до съезда шла между «рабочедельцами» и «искровцами». Все делегаты, приехавшие из России, кроме одного, являлись сторонниками «Искры».

Первые заседания съезда были посвящены полемике с «Рабочим делом». Но уже начали проскальзывать на поверхность разногласия, существовавшие в редакции «Искры».

Съезд заседал около недели, когда произошло непредвиденное событие, невольным виновником которого был Гусев. В свободное от заседаний время делегаты веселились, как умели. Делу это не мешало, а, наоборот, создавало подъем и повышало работоспособность. На обед собирались в общей столовой, вели себя там достаточно шумно. Гусева, как обладателя большого голоса, заставляли садиться за рояль и распевать «Эпиталаму», «Свадьбу» Даргомыжского, «Пролог» из «Паяцев». Товарищи энергично наседали на него, требуя бисирования номеров. На улице, под окнами столовой, стали собираться любопытные. Это привлекло внимание бельгийской полиции, которая, наверное, и до этого уже приметила типичные фигуры русских революционеров. Бельгийская полиция не замедлила сообщить о своих наблюдениях охотившейся за съездом русской охранке.

Первым обнаружил за собой слежку Гусев. Он поделился своими подозрениями с товарищами. Проверка показала, что подозрения основательны. Тогда решено было перенести заседания съезда в Лондон. Не обошлось без приключений. Часть делегатов была вызвана в полицию, и там они объявили себя шведами, а Гусев — румынским студентом, приехавшим в Бельгию по сердечным делам. Несколько дней спустя все участники съезда съехались в Лондоне, и съезд возобновил свою работу.

И вот тут-то вырвались наружу разногласия внутри «искровцев». Корень этих разногласий стал ясен из спора между Лениным и Мартовым о формулировке первого параграфа партийного устава, в котором давалось определение того, кто считается членом партии.

У Гусева, имевшего за плечами опыт борьбы в России, в этом вопросе не было сомнений. Он выступил со сжатой и решительной речью. В протоколах съезда она записана так: «На мою долю выпало говорить последним. После сказанного мне нечего прибавить. Я стою за формулировку Ленина».

Спор по первому параграфу устава был первым открытым взрывом разногласий в рядах «искровцев». На голосовании по вопросу о центральных учреждениях партии произошел раскол. Сторонники Ленина, получив большинство, отныне стали называться большевиками, противники Ленина — меньшевиками.

На следующий день после заключительного заседания делегаты-большевики отправились на Хайгетское кладбище возложить цветы на могилу Маркса. С кладбища свернули в большой парк. Разместились на лужайке. Стали обсуждать, что делать дальше. Все находились под впечатлением только что происшедшего раскола. Для многих он означал разрыв с друзьями и самыми близкими людьми. Настроение было уверенное, но чувствовалось, что у многих нелегко на душе.

Плеханов дергал себя за пышные усы, приговаривая: «И не с такими справлялись!» Ленин был спокоен и тверд. Несколько слов, произнесенных им, подняли дух собравшихся.

Неизвестно, сколько продолжалась бы беседа, если бы не досужий фотограф, который, увидев не совсем обычную группу, вознамерился увековечить ее на пластинке. Попасть на фотографию перед отъездом в Россию было не с руки. Все моментально испарились.

Гусев уходил вместе с Лениным. Они шагали по лондонским улицам. Стоял серый, туманный день, какие нередки на берегах Темзы. Ленин сосредоточенно думал, насвистывая сквозь зубы. От его крепкой, ладной фигуры веяло неукротимой энергией. Да, этот человек имел право произнести исторические слова: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

В тот же день Гусев покинул Лондон, чтобы объехать с докладами о съезде Киев, Одессу, Николаев, Харьков. Однако, по настоянию Центрального Комитета партии, он некоторое время спустя вернулся за границу ввиду угрожающей ему смертной казни по военному суду, который шел тогда над участниками мартовской демонстрации в Ростове.

Такова молодость моего отца, о которой я знаю с его слов, со слов его товарищей, а также из документов, хранящихся в партийных архивах.

ЖЕНЕВА

Вскоре после того, как отец уехал в Россию, в Женеву приехала моя мать.

Прошло около четырех лет с того навсегда запомнившегося ей майского дня 1899 года, когда она со своей подругой Аней забралась на чердак, где не пекло солнце, чтобы вместе готовиться к экзамену по естествознанию. Когда головы девушек распухли от зазубривания неисчислимого количества пестиков, тычинок, Аня с таинственным видом вытащила небольшую потрепанную книжку. Это была «Подпольная Россия» Степняка-Кравчинского, запрещенная царской цензурой.

Моя мать жадно набросилась на книгу. Судьбы народовольцев произвели огромное впечатление на девушку, душа которой была полна неясным протестом против несправедливости окружающего ее мира. Особенно пленили ее Софья Перовская и Геся Гельфман, отдавшие революции свои молодые жизни.

Она решила пойти по их пути. Но несколько времени спустя она познакомилась с Гусевым. Узнав об ее увлечении «Народной волей», он разъяснил ей, что хотя самоотверженность и героизм народовольцев заслуживают всяческого уважения, но путь, который они избрали для борьбы против царского самодержавия, ошибочен и даже вреден.

Он принес ей книги по истории человеческого общества, в том числе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса, стал читать с ней и разъяснять прочитанное. Когда она получила некоторую подготовку, перешел к занятиям по «Капиталу». Она сделалась марксисткой, начала оказывать партии помощь в ее работе, стала членом партии.

Потом замужество, поездка в Брюссель. Вернувшись в Россию, она с головой окунулась в нелегальную работу — вела пропаганду среди рабочих и выполняла различные партийные поручения.

Впоследствии моя мама в какой-то мере послужила Алексею Максимовичу Горькому прообразом пропагандистки Наташи в романе «Мать». Отказавшись от портретного сходства (Наташа синеглазая блондинка, а мама была брюнеткой с темными глазами), Алексей Максимович передал ее общий облик. Я словно вижу свою молодую маму, когда читаю, как Наташа, «иззябшая, уста-

лая, но всегда неисчерпаемо веселая и живая», пришла к Власовым. «Голос у нее был сочный, ясный,— пишет Горький,— рот маленький, пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись, она крепко потерла румяные щеки маленькими, красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблуками ботинок».

Занятия, которые вела моя мать, также напоминали занятия пропагандистки Наташи на квартире Павла Власова. У рабочих того времени, особенно у сознательных, у тех, кто вступил на путь революционной борьбы, была неуемная тяга к знаниям. После тяжелого 11—12-часового рабочего дня, отрывая время от сна, они садились за книгу, изучая историю революционного движения в разных странах и естествознание (происхождение видов, происхождение человека и т. п.). С особенным увлечением изучали они политическую экономию, которая помогала им понимать законы развития капиталистического общества. Тяга к знаниям у рабочих была настолько велика, что они не страшились тюрьмы и ссылки, а то и каторги, которые угрожали им за встречи с пропагандистами, а попав в тюрьму, продолжали и там свои занятия. Недаром царские тюрьмы получили тогда в революционных кругах прозвище «тюремных университетов».

Пропагандистская работа матери среди рабочих была прервана бурными ростовскими событиями: ноябрьской стачкой и мартовской демонстрацией. После побега отца мать пережила тревожные дни: около дома непрерывно дежурили шпики, на квартиру несколько раз приходили с обыском. Только полгода спустя ей удалось уехать за границу.

У нее имелся женевский адрес, по которому она посылала письма мужу. По своей неопытности она полагала, что это и есть адрес его квартиры. Но когда она приехала в Женеву и отправилась по этому адресу, оказалось, что Гусев там не бывал и не проживает. Больше того: хозяева квартиры, на чье имя она посылала письма, не знали ни его самого, ни места, где он живет,— за письмами являлся какой-то товарищ. Так делали все эмигранты, чтоб их не могла выследить полиция.

Легко представить себе ее отчаяние, когда она с полуторагодовалым ребенком на руках, почти без денег, не зная языка, оказалась на чужбине, где никого не знала. С большим трудом она разыскала редакцию «Искры».

Вера Ивановна Засулич рассказывала потом: «Приехали из России две девочки, ходят и спрашивают: где их папа Гусев?» Наконец с помощью товарищей мать добралась до Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Они жили на окраине Женевы, в рабочем поселке Сешерон.

Когда мама пришла к ним, Надежда Константиновна сказала, что Гусев после съезда уехал по партийным делам в Россию. Узнав об этом, мама не выдержала и разрыдалась. Надежда Константиновна принялась ее утешать, весь вечер провозилась с нами, напоила нас чаем, накормила меня кашей, уложила на свою кровать. Она рассказала маме, что и с ней произошло почти то же самое: она писала Владимиру Ильичу из ссылки в Прагу и поехала к нему, а когда приехала, выяснилось, что он живет в Мюнхене. Пришлось ехать дальше, в Мюнхен; там она тоже намаялась, пока добралась до квартиры Владимира Ильича. Оказалось, что он послал ей с оказией книгу, в которой был указан настоящий его адрес, а человек, взявшийся привезти эту книгу, не доставил ее.

Мы прожили у «Ильичей» два-три дня и потом не раз бывали у них. Они занимали небольшой двухэтажный домик. Внизу находилась кухня, там стоял простой стол и несколько стульев; кухня одновременно служила столовой, в ней же принимали приходивших товарищей. Наверху были небольшие комнаты Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Обстановку их составляли узкие железные кровати, накрытые клетчатыми пледами, простые столы, стулья и шкафы.

Я лишь смутно помню этот дом, да и это смутное воспоминание, вероятно, навеяно рассказами родителей. Но что я помню хорошо — это ножки столов, четырехугольные некрашеные ножки, и пол: мы с «тетей Надей» сидим на этом полу, она смачивает его тряпкой и скоблит ножом, а я смотрю, как из-под ножа выползает желтоватая чистая поверхность.

Зато дом на площади Плен-Палэ, где мы поселились по приезде отца, набережную, Новый мост и быструю пенистую Арву я помню совершенно ясно. Правда, и тут память делает ошибки: как-то, лет пятнадцать спустя, мы с отцом вспоминали те времена, и я описывала ему нашу узкую темную комнату, клеенчатую кушетку, шкаф, стол, вход в дом, лестницу и высокую взрослую девушку Жанну, которая жила через площадку. Отец сказал, что и комната была такой, и шкаф, и кушетка тоже и что

через площадку действительно жила Жанна, но было этой Жанне... четыре года.

Тогда же, во время разговора с отцом, из глубины памяти у меня выплыла не то сказка, не то шуточная песня, которую я тоже помнила с тех женевских времен:

«Жил-был кот Мурлыка, рыжая шкурка, усы как у турка. Был он дерзок и смел, крыс-мышей не терпел и хвосты им отъел».

Отец расхохотался и объяснил мне происхождение этой сказки.

Дело было так: отец вернулся в Женеву осенью 1903 года и застал там тяжелую картину. Меньшевики, заручившись поддержкой лидеров II Интернационала, подняли против большевиков самую грязную, самую отвратительную травлю. Плеханов, который на II съезде партии был с большевиками, перебежал к меньшевикам. Вследствие ареста некоторых товарищей и измены Плеханова центральные учреждения партии и редакция «Искры» постепенно оказались в руках меньшевиков, беззастенчиво использовавших это выгодное для них положение, чтобы обливать большевиков грязью.

Большевики, возглавляемые Лениным, не сдались: они были непоколебимо убеждены в своей правоте. Сообщения, приходившие из России, свидетельствовали, что все лучшее, революционное в партии и рабочем классе — с ними. И большевики повели упорную борьбу против меньшевиков, повели ее задорно, по-боевому, стиснув зубы и твердо решив добиться победы.

Чтобы помочь приехавшим из России товарищам уяснить суть разногласий, большевики устраивали открытые диспуты со своими противниками. Владимир Ильич редко принимал участие в этих диспутах, но с нетерпением ждал рассказов о них. Обычно после диспута участвовавшие в нем большевики гурьбой отправлялись к «Ильичам», рассказывали им, как прошла схватка с «меками» (так нередко называли меньшевиков), а потом пели хором революционные песни или же заставляли моего отца петь соло под аккомпанемент скрипки Петра Ананьевича Красикова. Владимир Ильич с наслаждением принимал участие в этих импровизированных концертах.

Между тем «меки» распоясывались все больше. Дошло до того, что Мартов в одном из номеров «Искры» опубликовал пространное «Надгробное слово» Ленину.

Большевики ответили на это злыми, беспощадными карикатурами. Народ они были молодой, остроумный, талантливый. Нашлись и рисовальщики, и авторы эпиграмм и сатирических сценок.

Взяв тему известной сказки Жуковского «Как мыши кота хоронили», Пантелеймон Николаевич Лепешинский нарисовал серию карикатур. На первой из них был изображен Ленин в виде будто бы мертвого кота, вокруг которого пляшут торжествующие мыши — Мартов, Троцкий, Дан и прочие меньшевики, а также и «премудрая крыса Онуфрий» — Плеханов.

Следующие рисунки рассказывают, как Ленин взялся за расправу с меньшевистскими мышами и тем пришлось туго: бойкий мышонок Троцкий, который откалывал канкан, воротился домой без хвоста; Дан вместе с Мартовым достались Мурлыке на завтрак. А «премудрая крыса Онуфрий» — Плеханов, защемив хвост между дверьми, повис над бочонком с диалектикой, где обычно находил себе приют, как только ему приходилось круто. И кончился пир их бедою!..

Сказочку о коте Мурлыке, которая запомнилась мне с женевских времен, придумал для меня отец, положив в ее основу подписи к этим карикатурам.

Жизнь в Женеве длилась недолго: в начале декабря 1904 года отец уехал в Петербург, где стал секретарем Петербургского комитета партии и Бюро комитетов большинства, взявшего на себя подготовку партийного съезда.

Я помню, как он уезжал. На нем было черное пальто из грубошерстного кусачего драпа, шея замотана шарфом. Почувствовав неладное, я намеревалась зареветь. Но он подкинул меня в воздух и весело сказал, назвав меня тем прозвищем, которым меня звали на всем протяжении моего детства:

— Ну, не тужи, Елизавет-Воробей!

Мама вместе со мной некоторое время оставалась в Женеве: уехать домой, в Россию, было не на что. К счастью, встретилась возвращавшаяся на родину русская семья, которой нужен был сопровождающий. Мама поехала с ними, за что они оплатили ей проезд до русской границы.

Так мама добралась до Ростова-на-Дону. Раздобыв там немного денег, она выехала в Петербург. Это было вскоре после расстрела 9 января.

В 1905 ГОДУ

Отец попал в Питер за месяц до январских событий. Некоторое время ему пришлось провести «в пространстве», то есть без квартиры и без паспорта, непрерывно меняя ночевки.

Лишь недели две спустя он добыл «чистый» паспорт на имя Эдуарда Эдуардовича Деннемарка, русского подданного из немцев, и снял комнату. Однако по этому паспорту он прожил недолго. В начале весны ЦК эсеров обратился в Петербургский комитет нашей партии с просьбой прислать представителя для переговоров «по одному важному делу». Петербургский комитет послал на эти переговоры отца. Эсеровские конспираторы назначили свидание на двенадцать часов ночи в ресторане «Контан». Дело, которое они затеяли, не стоило выеденного яйца, но, уходя из ресторана, отец заметил за собой слежку. Чтобы избавиться от нее, он гонял часа два на извозчике, а затем вынужден был переменить паспорт на другой (на этот раз на имя армянского купца), переселиться в другой район города и в очередной раз изменить свою внешность.

В Питер отец приехал в самый разгар «гапоновщины», в момент, когда Гапон уже уговорил рабочих идти к царю, чтобы «искать правды». Уже составлена была петиция, проникнутая покорностью и верой в царское заступничество.

Кровавый исход этих событий известен: шествие с иконами, хоругвями и портретами Николая II, расстрел перед Зимним дворцом. Но мало известна трагедия, пережитая Лениным и большевиками, которые знали, видели, понимали, что «гапоновщина» представляет собой грандиозную полицейскую провокацию, и, зная это, были бессильны предотвратить роковую развязку.

Много лет спустя отец рассказал мне об этих трагических днях. Ему изменила на этот раз обычная сдержанная, чуть ироническая манера рассказа. С трудом подавляя волнение, он вспоминал, как пришел на гапоновское собрание на Петергофском шоссе. Собрание происходило в зале трактира. Пахло пивом, кислой капустой, махорочным перегаром. Сквозь окна пробивался тусклый свет петербургского зимнего дня. Трактир не вместил всех желающих, на улице осталось несколько тысяч рабочих.

Гапон взобрался на стойку, поднял крест, пригласил публику помолиться, а потом заговорил. У него был голос с большим диапазоном. Начав на низких нотах, он быстро перешел на верхние и бо́льшую часть речи выкрикивал, как кликуша.

— Я слушал, и все во мне клокотало от бешенства,— рассказывал отец.—«Проклятый Гапон!»— вырвалось у меня в письме, которое я написал в тот день Владимиру Ильичу. Да, проклятый, проклятейший Гапон!

Хотя прямых данных к тому, чтоб считать Гапона агентом охранки, у большевиков не было, но они прекрасно понимали, что полиция недаром позволила Гапону развить его деятельность. Впрочем, кое-какие факты имелись: как раз перед 9 января освободили из тюрьмы рабочего-большевика Василия Андреевича Шелгунова, и он рассказал товарищам, что к нему в камеру приходил Гапон и вел разговор, от которого явно воняло охранным отделением.

В тот вечер, когда отец услышал от Шелгунова эту историю, он должен был иметь свидание с Гапоном на квартире у Рутенберга — эсера, которого эсеровский ЦК приставил к Гапону. Отцу было поручено попытаться повлиять на Гапона. Он считал такую попытку совершенно безнадежной и протестовал против этого решения, но вынужден был подчиниться.

К его величайшему удовольствию, Гапон на свидание не явился. Дело ограничилось длинной беседой отца с Рутенбергом, который на все лады воспевал гениальность и революционность Гапона. Видя бессмысленность спора, отец отмалчивался, ограничиваясь замечаниями вроде того, что он-де вообще скептик, что для того чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. На прощанье он сказал Рутенбергу: «Будущее покажет, кто из нас прав, но я сильно боюсь, что вам предстоит горькое разочарование». Так и случилось: немногим более года спустя выяснилось, что Гапон служит в охранке, и Рутенберг убил его.

Свидание отца с Рутенбергом происходило 7 января. Крупнейшие питерские заводы — Путиловский, Обуховский, Семянниковский — уже бастовали. Тысячные толпы рабочих вышли на улицы. Забастовка становилась всеобщей.

— Я целые дни проводил на собраниях и на явках,— рассказывал отец.— Нужно было спешно организовать

агитацию в массах, разоблачать Гапона и вести с ним борьбу. Мы решили двинуть на это дело все силы. Решено было, чтоб наши товарищи в момент шествия находились на улице, но в самом шествии не участвовали, а в случае чего — ввязывались бы в дело, стараясь повернуть движение в наше русло. В ту ночь я пришел на ночевку поздно, но заснуть не мог. Сердце сжималось от тревоги: что-то принесет завтрашний день?

Утром 9 января отец вышел из дому затемно. Стоял легкий морозец. Вдалеке слышался неясный шум и приглушенный снегом конский топот.

Как секретарь Петербургского комитета партии, отец должен был находиться в этот день на одной из явок неподалеку от Невского, чтоб руководить действиями питерских большевиков.

В первых донесениях из районов, поступивших около девяти часов утра, сообщалось, что рабочие начинают собираться. К одиннадцати часам стало известно, что шествие вот-вот должно выступить. Около полудня прибежал гонец из Нарвского района с сообщением о начавшемся расстреле безоружной толпы. Вскоре поблизости послышались стрельба и орудийные залпы. Отец не выдержал и бросился на улицу. У Александровского сада и на улицах, прилегающих к Зимнему дворцу, казаки, орудуя пиками и саблями, налетали на толпу; кругом валялись убитые и раненые, на снегу алели пятна крови.

Отец не помнил, сколько времени он провел на улице. Когда он вернулся на явку, его ожидало сообщение, что на Васильевском острове рабочие валят телеграфные столбы и строят баррикады.

«ТОВАРИЩ НАТАША»

Никогда на явках Петербургского комитета не бывало так людно, как в первые недели после 9 января. Со всех районов приходили работники с требованиями оружия для рабочих. На фабриках и заводах рабочие стали собирать деньги на вооружение и сами изготовлять холодное оружие. Было ясно, что необходимо создать специальный орган, который вплотную занялся бы делом боевой технической подготовки вооруженного восстания.

Это дело Петербургский комитет партии поручил моему отцу. Под его руководством была создана «Боевая

группа», на обязанности которой лежали закупка, транспортировка, хранение оружия, снабжение им и военное обучение рабочих боевых дружин. Возглавил эту группу Николай Евгеньевич Буренин (партийная кличка «Герман Федорович»). Кроме него, в ядро «Боевой группы» вошли Софья Марковна Познер («Татьяна Николаевна») и моя мать Феодосия Ильинична Драбкина («товарищ Наташа»).

Мама вместе со мной только что приехала в Питер. Сняв первую попавшуюся комнату и оставив меня на попечение квартирной хозяйки, она чуть ли не побежала по имевшемуся у нее адресу. Оттуда сложным, кружным путем, переходя с явки на явку, она добралась до отца. Когда он предложил ей вступить в «Боевую группу», она бесконечно обрадовалась: именно такая работа открывала перед ней путь к подвигу, о котором она мечтала.

И вот для мамы, да и для меня вместе с ней, началась новая жизнь.

Маме поручена была работа по получению оружия, доставке револьверов и запалов для бомб из Финляндии в Россию, организация хранения оружия, проверка складов. В руках ничего нельзя было носить, чтоб не обратить на себя внимание. Поэтому патроны, динамит, запалы для бомб и гремучий студень переносились на себе, в специального фасона лифчиках с потайными карманами.

Дела было много. С утра до позднего вечера мама бегала из одного конца города в другой или же ездила в Выборг и Гельсингфорс и обратно. Ко всему этому ей не на кого было оставить ребенка и приходилось таскать меня с собой. Впрочем, вскоре оказалось, что я могу быть полезна. Жандармам, проверявшим вагоны на пограничной станции Белоостров, при виде молодой женщины, играющей с ребенком, и в голову не приходило, что тут пахнет порохом. Поэтому, отправляясь в Финляндию за оружием, мама стала непременно брать и меня. Надежда Константиновна Крупская в шутку прозвала меня за это «конспиративным аппаратом».

Когда я вспоминаю этот период нашей жизни, передо мной прежде всего возникает этакое пышное сооружение, устроенное по тогдашней моде сзади на мамином платье. Маме трудно было весь день ходить, держа меня за руку, и она придумала совать мне в руку хвост этого самого сооружения.

Холодно... Я продрогла... Хочется есть... Весь день идет мокрый снег... Крепко вцепившись в хвост маминого платья, я шагаю следом за ней по лужам. Так мы ходим уже несколько часов, заходим в дома, подымаемся по лестницам. Люди, которых посещает мама, разговаривают с ней особенными, осторожными голосами. С мамой все время происходят удивительные превращения: выйдя из дому тоненькой, она на первой же квартире, на которой мы были, стала вдруг очень толстой; потом на улице взяла извозчика, мы куда-то поехали, но извозчика, по своему обыкновению, она отпустила раньше, чем мы приехали туда, куда ей было нужно.

Там она тоже повела себя странно: сначала поднялась по лестнице на самый верхний этаж, постояла на площадке, что-то слушая, и лишь после этого спустилась и зашла в квартиру. Ее встретила тетя, которую я знала. Мама ушла за ширму, а потом вышла оттуда опять тоненькой.

И снова мы шагаем по улицам. Мама останавливается около ювелирного магазина и усердно рассматривает красивые блестящие стеклышки. Сначала мне это нравится, но потом становится скучно, и я начинаю думать, не похныкать ли мне, хотя знаю, что это бесполезно. Мама продолжает стоять. Рядом с ней останавливается человек, похожий на знакомого мне дядю, но только у того дяди была борода, а этот дядя бритый. И вдруг я замечаю, что мама еле слышно, глядя не на дядю, а на стеклышки, что-то говорит. А дядя, тоже не глядя на маму, ей отвечает и, не обратив на меня никакого внимания, уходит.

Вечер... Наконец-то мы дома... Мама говорит: «Давай-ка я устрою тебе твою комнату». Я знаю, что́ это значит: это значит, что она поставит около моей кровати стулья, повесит на них плед так, что мне ничего не будет видно, а к ней кто-то придет и они будут разговаривать вполголоса об интересных и непонятных вещах: что кого-то «взяли» и он «сел в «Кресты»[1] (я никак не пойму, как можно «сесть в кресты»; у нашей хозяйки на груди болтается серебряный крест, но сколько я ни размышляла, так и не нашла способа в него сесть). Потом голоса станут звучать совсем тихо. Только напряженно

---

[1] «Кресты» — петербургская тюрьма.

вслушиваясь, я расслышу красивое звонкое слово «динамит» и еще одно, похожее на удар в барабан: «бомба».

Обо всех этих интересных вещах мне тоже хотелось поговорить, но я знала, что это не удастся. Мама крепко-накрепко внушила мне, что ни спрашивать, ни разговаривать ни о чем нельзя, а когда мне случалось что-нибудь сболтнуть, заставляла меня высунуть язык и мазала его горчицей, приговаривая немудреные стишки собственного сочинения: «Если не молчится, получай горчицу».

Но и это не всегда помогало. Бедная моя мама, сколько забот и тревог я ей доставляла! То мы переедем в новый город, и я спрашиваю ее: «Мама, а как нас в этом городе зовут?»; то она узнает от хозяйки, что я той рассказывала: «Раньше мы назывались Драбкины, а теперь — Хмельницкие».

Отец с нами не жил. Если работники подполья вообще должны были соблюдать строгую конспирацию, то к членам «Боевой группы» предъявлялись в этом отношении особенно строгие требования. Они не имели права посещать массовые собрания, принимать участие в демонстрациях, встречаться с товарищами, ведущими нелегальную работу.

Поэтому мама (и я с нею) встречалась с отцом только на явках. Если у него была малейшая возможность, он забирал меня и, хотя я была уже большая девочка, на руках относил в ближайшую кондитерскую и там досыта угощал пирожными.

Потом отец совсем исчез. Дело в том, что за ним началась слежка, и он по требованию Ленина уехал из Питера в Одессу. Туда он попал в момент восстания на броненосце «Потемкин». Всю вторую половину 1905 года он был секретарем Одесского комитета партии.

Мы с мамой оставались в Петербурге. В моей памяти теснятся воспоминания о вокзалах, поездах, непрерывных поездках и переездах из города в город. Уже потом я узнала, что в течение этого лета мама много раз перевозила на себе запрятанные в специально сшитый лифчик запалы для бомб с гремучей ртутью. Перевозка запалов требовала сугубой осторожности — от сотрясения мог произойти взрыв. Поэтому в вагоне мама сидела очень прямо, а чтоб я ее не толкнула, покупала мне книги и учила читать. Так и вышло, что я стала читать еще в четырехлетнем возрасте.

Николай Евгеньевич Буренин, который возглавлял «Боевую группу», рассказывает в своих воспоминаниях:

«Среди наших товарищей, активных работников «Боевой технической группы», была молодая женщина-мать с трехлетней девочкой. Мало кто знал ее настоящее имя. У нее была партийная кличка «Наташа», а девочку звали Лизкой.

«Наташа», очень молодая, очень хорошенькая, всегда веселая и приветливая, привлекала к себе общее внимание и расположение. Была она беззаветно смелым товарищем. Все знали, что, если возникало какое-нибудь серьезное, связанное с большой опасностью и риском поручение, «Наташа» готова его выполнить.

Появлялась она всегда везде и всюду со своей Лизкой...

«Наташа» жила на скудные средства, одевалась очень скромно. Но когда ей надо было куда-нибудь ехать по партийному заданию, ее наряжали в богатое платье, ей покупали модные шляпы. «Наташа» пленяла всех, попадавшихся на ее пути, особенно тех, кого надо было пленять».

Эти качества «Наташи» особенно пригодились, когда во время декабрьского вооруженного восстания нужно было доставить в Москву бомбы для рабочих-дружинников.

Бомбы, которые повезла мама в Москву, были так называемого «македонского» образца. Они состояли из чугунной оболочки, запальника из гремучего студня и бикфордова шнура.

Поручив ей отвезти бомбы, Леонид Борисович Красин, который возглавлял тогда «Боевую группу», дал маме денег, чтобы она оделась получше. В шикарном магазине на Невском она приобрела модное платье и изящный дорожный саквояж. В саквояж уложила оболочки, а запальники и бикфордов шнур пристроила на себе, под платьем, и с видом молодой беззаботной барыньки поехала в Москву.

Поезд пришел в Москву под вечер. Николаевский (ныне Ленинградский) вокзал был занят войсками. Вдоль всего вестибюля стояли шпалерами солдаты, держа наизготовку винтовки с примкнутыми штыками. Пришлось проходить как бы через коридор из штыков. Каланчевская площадь и прилегающие к ней улицы были пустынны. Почти непрерывно слышалась стрельба.

С вокзала мама проехала прямо по имевшемуся у нее адресу. Там она оставила свой «багаж» и пошла на квартиру Алексея Максимовича Горького договориться, чтобы этот столь ожидаемый груз забрали.

Горький и его жена Мария Федоровна Андреева жили тогда на углу Моховой и Воздвиженки, в доме, где сейчас помещается приемная Председателя Верховного Совета СССР.

Большой кабинет Алексея Максимовича и столовая были полны народу. Все держали себя запросто. Одни приходили, другие уходили, некоторые уходили и возвращались. Кто хотел, отправлялся в столовую, где был накрыт стол и не убирался кипящий самовар. Люди приходили со всех концов Москвы, прошагав по морозу много верст, и Мария Федоровна делала все, чтобы товарищи могли отдохнуть и отогреться.

Квартира А. М. Горького и М. Ф. Андреевой была местом, куда стекалась информация со всех концов города и где руководители восстания встречались друг с другом. Здесь же обучали боевиков, как изготовлять бомбы и пользоваться ими. Обучение происходило в узенькой комнате позади кабинета Алексея Максимовича — «птицевой». Горький очень любил птиц и держал их у себя всюду, где жил, и в этой «птицевой» комнате была устроена во все окно клетка со всевозможными породами синиц.

На квартире Горького, когда пришла мама, ни на минуту не прекращался людской поток. Вести были печальные. Семеновский полк, доставленный из Петербурга, создал перевес правительственных сил.

В городе еще продолжался бой, когда мама, сдав москвичам бомбы, возвращалась в Петербург. В Клину произошла задержка: революционные дружинники разобрали путь. Но повреждение было небольшое, и часа через полтора поезд тронулся дальше.

В соседнем с мамой купе ехали инженер-путеец и офицер — как оказалось, оба они сопровождали в Москву семеновцев на подавление восстания.

Оба наперебой ухаживали за красивой молодой соседкой. Она болтала с ними, смеялась. Душа ее была полна ненависти.

В Питере она чуть не попала в полицейскую засаду. Надо было поспешно уезжать. Новый, 1906 год мы с ней встретили в поезде, уносившем нас на юг.

ЧЕЛОВЕК С ЧЕРНОЙ БОРОДОЙ

После разгрома декабрьского вооруженного восстания отец перебрался на подпольную работу в Москву, был членом Московского комитета партии и организатором Железнодорожного района, читал рефераты и воевал против меньшевиков, которые вслед за Плехановым кричали, что «не надо было браться за оружие». Весной 1906 года ездил в Стокгольм в качестве делегата Московской организации на IV съезд партии. Вернулся в Москву, в сентябре был арестован. После девятимесячного тюремного заключения был выслан в Березов. Прибыв туда, задумал бежать. Осуществить этот план помог ему его голос: в Тобольске местные любители музыки задумали поставить отрывки из оперы «Паяцы», но у них не было исполнителя для партии «Пролога». Отец предложил свои услуги. Исправник дал ему разрешение переехать в Тобольск, и там, прямо со спектакля, не успев снять грим, отец выскочил на улицу, бросился в поджидавшие его сани и по укатанной зимней дороге помчался в Омск.

Оттуда он попал в Москву. Там ознакомился с происходившими тогда спорами между «отзовистами» и ленинцами, безоговорочно примкнул к ленинцам и с головой ушел в нелегальную деятельность. В течение лета и осени 1909 года по поручению Центрального Комитета партии объехал южные города (Киев, Одессу, Николаев, Елисаветград, Екатеринослав, Харьков), ведя борьбу против «отзовистов» и «ликвидаторов» и рассказывая о положении дел в письмах к Ленину и статьях в большевистской газете «Пролетарий». Потом приехал в Петербург, встретился со Свердловым и с ним вместе около трех месяцев работал в партийной организации. Затем бежал от ареста в Финляндию. Там его свалила с ног тяжелая болезнь, нажитая за годы подполья и тюрем.

К этому времени моя мама вместе со мной, после всяческих перипетий, поселилась в Питере, сняв комнату в «меблирашках» (так назывались дешевые меблированные комнаты, сдававшиеся помесячно). Ее партийная работа в эти годы заключалась главным образом в обслуживании большевистской фракции Государственной думы и помощи в проведении избирательных кампаний.

Средства к жизни она добывала, служа корректором в газетных типографиях. Работа эта была ночная, а днем каждую свободную минуту она отдавала партийным делам.

Мама лишь изредка бывала дома. Иногда к ней приходили ее знакомые, и меня в таких случаях обычно выпроваживали в коридор.

Как-то у нас появился невысокий человек с большой черной бородой, которого звали Владимиром Ивановичем Муромским. Что-то в его наружности вызывало у меня неясный интерес.

— Почему вы носите бороду? — спросила я.

Он быстро ответил:

— Потому что я — мусульманин.

Он был очень внимателен ко мне, подолгу со мной разговаривал и даже возил раза два или три на «полеты», о которых тогда говорил весь Петербург. Это были первые в России полеты аэропланов. Чтобы их увидеть, надо было ехать трамваем до Новой Деревни, оттуда поездом, потом идти пешком до ипподрома, брать билеты, долго сидеть на трибуне и почитать себя счастливцем, если одно из стоящих посредине поля сооруженьиц, напоминавших этажерку, сделает несколько неуклюжих прыжков и поднимется метров на сто в воздух.

Владимир Иванович бывал у нас не однажды, потом исчез. Лишь много лет спустя я узнала от мамы, что это был мой отец.

Он жил тогда нелегально, по чужому паспорту. Сначала товарищи раздобыли ему паспорт какого-то электротехника, заверив, что он вполне надежен. Отец снял комнату, дал паспорт на прописку, но несколько дней спустя к нему явился городовой и предложил пройти в полицию. Там отцу объявили, что электротехник такой-то за буйство в ресторане в пьяном виде присужден к отбытию двухнедельного ареста в арестном помещении при полицейском участке.

Делать было нечего, пришлось сесть под арест. Но главные неприятности ждали отца впереди. Как-то его вызвал пристав и говорит:

— Ты электротехник?

— Электротехник.

— Ну так проведи-ка у нас тут электричество...

Отказаться было нельзя: это значило возбудить подозрение. И отец решил действовать напропалую. В течение

недели он водил полицейских за нос, разыгрывая из себя придирчивого мастера-электротехника, недовольного то проводом, то инструментом и часами рассуждавшего насчет «коэффициентов», «гальванизмов» и прочих предметов, которые он умудрялся приплести к случаю. Так он дотянул до конца ареста и благополучно вышел на волю, оставив полицейский участок без электропроводки.

Теперь он уже решил не прибегать к услугам так называемых «надежных» чужих паспортов и предпочел им продукцию собственного производства. Опытный в таких делах товарищ смыл текст какого-то паспорта (специалистов этого рода называли «прачками») и вписал туда имя Владимира Ивановича Муромского. А для того чтоб полиция не могла его опознать, отец изменил свою наружность.

Таков был секрет заинтриговавшей меня черной бороды!

В ГОСТЯХ НА УЛИЦЕ МАРИ-РОЗ

Летом 1911 года мама отправилась по партийным делам за границу. Я снова была введена в действие в качестве «конспиративного аппарата».

Сначала мы заехали в Берлин. На Унтер-ден-Линден цвели липы. Мы долго ходили по широким прямым улицам с высящимися на перекрестках массивными фигурами шуцманов. Потом зашли в какой-то дом, где единственную мебель составляли столы и стулья. Мама с кем-то разговаривала. Открылась дверь, в комнату вошел очень чистенький старичок в белой жилетке и белом пиджачке. Все почтительно встали. Старичок познакомился с мамой, потом спросил обо мне. Мама ему что-то сказала, старичок погладил меня по голове. У него была маленькая мягкая ручка, от которой пахло душистым мылом. Я и не подозревала, какой «великой чести» удостоилась: старичок этот был не кто иной, как сам Карл Каутский.

Зато Роза Люксембург была совсем другая — ласковая, веселая, подвижная, живая! Когда мы пришли к ней, она шумно обрадовалась, заключила нас в объятия, смеялась над тем, как я выросла, вспоминала Брюссель, женскую социалистическую конференцию, на которой

впервые встретилась с мамой. Слегка прихрамывая, она то убегала на кухню, то возвращалась, успевая одновременно и разговаривать о делах, и смеяться, и готовить чай.

Потом мы вместе с Розой поехали на побережье Немецкого моря. Там мы много гуляли, Роза учила меня составлять гербарий. Хотя мы прожили там недолго, но стоило Розе появиться на крыльце, как со всех сторон к ней сбегались ребята, котята, щенята.

Потом мы с мамой поехали в Париж. Там у нее было много дел, и меня взяли к себе ее старые партийные товарищи Шаповаловы.

Александр Сидорович Шаповалов прожил замечательную жизнь. Простой рабочий, он в начале девяностых годов самостоятельно создал на одном из петербургских заводов антирелигиозный кружок, затем примкнул к народникам и принимал участие в организации подпольной «Лахтинской типографии», потом порвал с народниками и вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», был в ссылке. В 1905 году во время восстания на броненосце «Потемкин» был членом Одесского комитета партии, затем сражался на баррикадах в Харькове, бежал за границу, работал на заводах в Бельгии и во Франции — и обо всем этом умел рассказать ярко, сочно, с множеством живых подробностей. Уже потом, в Москве, его жена Лидия Романовна вспоминала, как Владимир Ильич пришел к ним на парижскую квартиру и несколько часов подряд слушал рассказы Александра Сидоровича, а потом воскликнул с восхищением:

— Oh, vous avez vécu! [1]

В Париже Шаповаловы обосновались на более или менее прочное эмигрантское существование. Жили они неподалеку от пояса парижских укреплений, в мансарде под самой крышей. Потолок мансарды был срезанный, скошенный; окна выходили прямо на небо, прочерченное полетом ласточек; внизу виднелась круговая железная дорога, по которой, пыхтя и свистя, пробегали паровозы.

Квалифицированный рабочий металлист, Александр Сидорович работал на заводе. Впрочем, выражение «работал» не совсем точно, ибо, едва осмотревшись на заводе, куда он поступил, Александр Сидорович тотчас подымал борьбу

---

[1] О, вы славно пожили! *(франц.)*.

против хозяев и мастеров. Поэтому он недолго задерживался на одном месте, короткие периоды работы сменялись долгой безработицей.

На то время, когда я жила у Шаповаловых, пал и период работы и полоса безработицы.

Пока Александр Сидорович имел работу, Лидия Романовна вставала утром первой, кипятила на спиртовке кофе, потом будила мужа. Он одевался, быстро ел, укладывал в брезентовую сумку пакетик с завтраком. Уходя, целовал жену.

— Au revoir, ma belle [1],— говорил он.

— Adieu, mon vieux [2],— отвечала она.

Возвращался он вечером взъерошенный, злой. За обедом рассказывал, как прошел день. Приносил забавные французские словечки, которыми ругал «фасонье» (хозяйчика), «контр-мэтра» (мастера), «мосье Вотура» («коршуна» — домовладельца).

Но однажды он вернулся среди дня с видом: «Только тронь, укушу!»

Лидия Романовна сидела у окна, штопала носки. Когда Александр Сидорович вошел, она подняла добрые карие глаза.

— Выгнали?

— Выгнали!

— Вот и хорошо. Отдохнешь недельку.

Он засмеялся, закружил меня по комнате:

— Пошли гулять!

Несколько дней мы бродили по Парижу. Подымались на крышу собора Парижской богоматери, разглядывали загадочных химер. Побывали на кладбище Пер-Лашез, у изрешеченной пулями Стены коммунаров, и на набережной, неподалеку от казармы Лобо, где версальцы расстреливали участников Коммуны и в Сену стекала струя крови. Она была так обильна, что текла до ближайшего моста и до следующего, не смешиваясь с мутными водами стремительно бегущей реки.

Заходили и в Лувр, и в шумную, грязную эмигрантскую столовку на улице Гласьер, именуемую в просторечии «Гласьеркой». Слушали на митинге в цирке «Трокадеро» Жана Жореса. Рассекая воздух мощными

---

[1] До свидания, моя красавица *(франц.)*.
[2] Прощай, мой старый друг *(франц.)*.

кулаками, он восклицал громовым голосом: «Долой войну!» Не прошли мимо музея восковых фигур, который, каюсь, произвел на меня большее впечатление, чем Лувр с его прославленными сокровищами.

В один из этих дней Алексей Сидорович заявил:

— Баста! Сегодня мы отдыхаем, а вечером пойдем туда — потом узнаешь куда!..

После обеда он побрился, надел чистую рубашку. Лидия Романовна пришила к своему чуть ли не единственному платью беленькое кружевцо. Меня подвергли нещадному мытью, стрижке ногтей, чистке зубов, туго-натуго заплели косы.

Наконец приготовления были окончены, и мы тронулись в путь. На верху конного омнибуса добрались до Орлеанских ворот, а потом, кружа по узким улочкам, вышли на улицу Мари-Роз, к ничем не примечательному дому, потемневшему от копоти.

Сердитая консьержка открыла нам дверь. Я не без страха перешагнула порог. Но потом все оказалось совсем просто: люди, к которым мы пришли,— женщина по имени Надежда Константиновна и ее мать Елизавета Васильевна,— меня знали и встретили как старую знакомую.

Мы сидели на кухне. Потом из комнаты вышел человек, которого звали Владимиром Ильичем. Он сел, стал пить с нами чай. Из всего разговора, который там был, я помню только, как он спросил меня: что мне больше всего хотелось бы иметь? Я ответила: «Шляпу с вишнями». Он удивился: «Почему тебе нужны вишни в шляпе, а не в бумажном кульке?» Но он меня не так понял: тогда были в моде шляпы, украшенные искусственными вишнями, сливами, абрикосами и чуть ли не целым садом-огородом; такая шляпа была пределом моих девчоночьих мечтаний, но мама, сколько я ни умоляла, отказывалась купить ее мне. Когда Владимир Ильич понял, о чем идет речь, он весело расхохотался.

Вот и все. Я не знала, что мы пришли к Ленину, да если б и знала, то все равно не поняла бы, что означает это имя. Все было совсем просто и обыкновенно: чай с сухариками, негромкий разговор, прерываемый взрывами смеха. Но почему же мне, глупому несмышленышу, так запомнились и эта темная кухонька, и сидевший напротив меня человек с умными, лукавыми глазами?

«ЛЕГАЛЫ» И «НЕЛЕГАЛЫ»

По возвращении из-за границы мама снова поселилась в Питере и на протяжении ряда лет работала в партийной печати — в газетах «Звезда» и «Правда», журнале «Просвещение», партийном издательстве «Прибой».

Средства к жизни, как и раньше, она добывала, служа ночным корректором в газетных типографиях. Заработки были маленькие, приходилось выгадывать на каждой копейке. Поэтому она снимала квартиры в новых домах: в первые годы после постройки, пока дом оседал и стены были сырые, квартиры эти сдавались сравнительно дешево.

Как раз в те годы сильно застраивался район Песков (нынешних Советских улиц), расположенный неподалеку от Таврического дворца — местопребывания Государственной думы. Депутаты правых фракций снимали квартиры в аристократическом районе Сергиевской, Фурштадтской, Кирочной улиц, а депутаты рабочей курии селились на дешевых Песках.

Осенью 1912 года были выстроены рядом два новых дома на 10-й Рождественской. Один из них облюбовали меньшевики, а в соседнем поселились большевики: на шестом этаже Николай Гурьевич Полетаев, в прошлом депутат 3-й думы; на седьмом жила моя мама; на четвертом — депутат 4-й думы Роман Малиновский. Мы, ребятишки, дети большевистских семей, постоянно бегали друг к другу, но чаще всего торчали у Полетаевых.

Перед домом вечно фланировали шпики, но так как депутаты Государственной думы пользовались парламентской неприкосновенностью и тень ее падала на весь дом, то и у нас и у Полетаевых всегда толклось много большевистского партийного народа.

Народ этот делился на «легалов», которые бывали у нас в самое разное время дня, и на «нелегалов», появлявшихся обычно к вечеру, когда стемнеет, и исчезавших среди ночи.

Из «легалов» наиболее частым гостем нашим был Василий Андреевич Шелгунов. Это был один из старейших большевистских рабочих, вошедший в партию еще в годы ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Он был слепой. От родителей мы слышали, что как-то, попав в очередной раз в тюрьму, Василий Андреевич почувствовал острую боль в глазах. Тюремное начальство

отказалось показать его врачу, и Василий Андреевич ослеп. Но и слепой, он ни на один день не оставлял партийную работу. Медленной походкой слепого он шел по петербургским улицам, постукивая палочкой, в которой был выдолблен желобок и в него вложены большевистские листовки.

Когда начала выходить «Правда», Василий Андреевич сделался ее «зицредактором», то есть «отсидочным редактором»: он подписывал газету, а если цензура налагала на нее непосильный денежный штраф, который можно было заменить несколькими месяцами тюремного заключения редактора, Василий Андреевич садился в тюрьму.

Нередко захаживал к нам смуглый красивый Константин Степанович Еремеев, которого мы, как и весь рабочий Питер, звали «дядя Костя». Посасывая неизменную трубочку, он ловко мастерил из лоскутков, спичечных коробок и ваты то рыжую хитрющую лису — точный портрет шпика, постоянно дежурившего у нас в подворотне, то «премудрого пескаря», до удивительности смахивающего на депутата думы меньшевика Чхеидзе; то грозного, лохматого льва, казалось, готового испустить свой победный рык,— в нем всякий тотчас признавал громокипящего Ольминского.

Ольминский тоже бывал у нас. Мы всегда радовались, когда он приходил. Один из славных в когорте старых «правдистов» (так называли работников большевистской «Правды»), Михаил Степанович Ольминский был не только блестящим публицистом, но и великолепным рассказчиком. Обычно он недолго мог усидеть за столом и, держа в руке стакан чая, принимался расхаживать по комнате, сверкая голубыми огнями глаз и на ходу рассказывая какую-нибудь историю, сдобренную сатирическими портретами в духе сказок Салтыкова-Щедрина.

В нашем доме происходило то, что сейчас в кружках по истории партии называют «сочетанием нелегальной работы с использованием легальных возможностей». Вряд ли нужно объяснять, что «сочетание» это требовало постоянной собранности, величайшего хладнокровия и напряженной круглосуточной работы. Дела хватало для всех, в том числе и для нас, ребят. В нашей ребячьей компании состояли сыновья жившего там же, на Песках, Григория Ивановича Петровского — Петр и Леонид, Миша

Полетаев (он был большим конспиратором и требовал от нас, чтобы мы звали его Володей) и я.

Мы относили в типографию «Правды» на Ивановскую улицу рукописи и приносили оттуда пахнувшие типографской краской, чуть влажные гранки; отправлялись то на Выборгскую сторону, то за Нарвскую заставу передать записочку или сказать на словах, что «Тимофей заболел», «Находка не любит абрикосов» или еще что-нибудь в этом же роде; переписывали крупными ученическими буквами, оставляя между строк широкие промежутки, длиннейшие письма со всяческими семейными новостями — Вася женится, тетя Клава купила дом, у Петюшеньки скарлатина. Потом уже мы узнали, что это были так называемые «скелеты» — письма, в которые между строк вписывался симпатическими чернилами секретный текст.

Само собой разумеется, мы не понимали смысла передаваемых нами загадочных слов и не знали назначения «скелетов». Нам давали поручение, мы его выполняли — и все. Одно из строгих правил большевистской конспирации гласило: «Каждый должен знать только то, что ему *нужно* знать, а не то, что ему *можно* знать».

Выполняя эти поручения, мы чувствовали себя заправскими подпольщиками, а если выходили гурьбой на улицу, один из нас непременно произносил вполголоса подслушанные у взрослых слова: «Гляди вправо, гляди влево и оглядывайся назад».

Как ни любили мы, ребята, бывавших у нас в доме «легалов», но «нелегалы» пользовались особым нашим уважением. Родители строго запрещали что бы то ни было о них спрашивать и по обычной родительской наивности полагали, что мы ни о чем не догадываемся. Но мы с одного взгляда распознавали «нелегала», и стоило появиться какому-нибудь новому из них, как мы навастривали и глаза и уши.

Впрочем, один «нелегал» — быстрый, вечно голодный «товарищ Абрам» — забегал к нам довольно часто, обычно под вечер. Был он маленький, крепенький, как белый грибок. Едва он появлялся, как с первых же его слов выяснялось, что он «дьявольски устал», «зверски хочет спать» и «адски спешит». Перед ним ставили всю еду, какая имелась в доме, и он тут же начинал есть, непременно усадив на колени кого-нибудь из младших ребят, в то

время как мы, старшие, разинув рты, заслушивались стихами Курочкина, которые он декламировал, или же фантастическими рассказами о путешествиях на Луну и другие планеты, на которых он обещал побывать вместе с нами. Уже после революции я узнала этого «товарища Абрама» в Николае Васильевиче Крыленко.

Другой «нелегал», который крайне заинтересовал нас, ребят, появился в Питере в конце двенадцатого года. Он был смуглый, худой, в пенсне, сильно простуженный. Видели мы его, пожалуй, только один раз, когда он приходил к Полетаевым. Комнаты взрослых были наглухо закрыты, но все же нам каким-то образом стало известно, что «нелегала» этого зовут «товарищ Андрей», что он бежал из ссылки, чтоб «поработать на подпольной волюшке». Особенно заинтриговали нас случайно услышанные слова, что Андрей бежал «по веревочке». Эта «веревочка» означала подготовленных заранее и сменявших друг друга ямщиков, но нашему детскому воображению она представилась чем-то вроде каната, по которому «нелегал» бесстрашно перебирался над высокими горами и бурно мчавшимися реками.

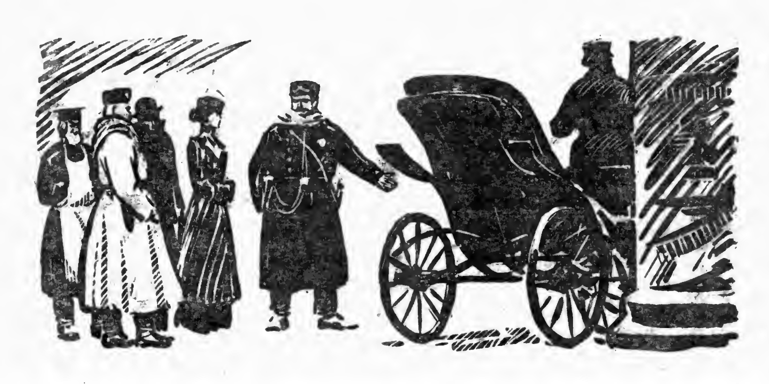
Несколько времени спустя «нелегал» появился у Петровских и в тот же вечер был арестован. Потом у взрослых был взволнованный разговор. Кто-то произнес похожее на длинную холодную змею слово «провокация». Кто-то другой между прочим вспомнил, что Роман Малиновский отдал «товарищу Андрею» (то есть Якову Михайловичу Свердлову) свою меховую шапку. Но никому не пришло в голову, что провокатором был Малиновский и что он обрядил в свою шапку Свердлова для того, чтобы агентам охранки было удобнее за ним следить.

Малиновский жил в нашем доме. Самой примечательной чертой его внешности были круглые желтые кошачьи глаза. И походка у него была бесшумная, кошачья. Бывало, сидим мы, ребята, играем, ничего не слышим — и вдруг он оказывается в комнате, без звука, без шороха.

Жили Малиновские скромно, как и все депутаты: лоскутные одеяла, фаянсовая посуда с щербинами по краям, железные вилки, щи, картошка, каша. Только раз в месяц, после выплаты депутатского жалованья, жена Малиновского Стефа ставила огромную квашню теста и нажаривала целую гору пирожков с мясом и капустой, складывала их в кастрюлю величиной с ведро и на

извозчике отвозила в «Правду», чтоб угостить там всех и вся.

Была она, Стефа, ласковая, приветливая. Но как-то произошел такой странный случай: мы играли в квартире Малиновских с их ребятами в игру с переодеваниями и, не спросясь, стянули с супружеской кровати Малиновских лоскутное одеяло, а под ним неожиданно обнаружили другое: розовое, атласное. В эту минуту в комнату вошла Стефа. Она буквально закатилась от бешенства, вцепилась нам в волосы и вышвырнула из квартиры на лестницу.



Девятнадцатого февраля 1914 года (по новому стилю третьего марта) я задержалась в училище: после уроков нас собрали в актовом зале и заставили выслушать речь инспектора по случаю годовщины «освобождения крестьян». Когда я пришла домой, короткий петербургский день уже кончился. Мамы дома не было. Я пообедала и хотела сесть за уроки, но в это время раздался резкий, продолжительный звонок. Я открыла дверь и увидела полицию.

О маме они не спросили. Я поняла, что она уже арестована. Обыск был очень тщательным — с простукиванием стен и полов. Продолжался он часа два. Как только полицейские ушли и затихли на лестнице их шаги, я кинулась к Полетаевым, но сразу не позвонила, а прислушалась у дверей. До меня донеслись приглушенные голоса, серебряный звон шпор и тяжелое дыхание человека, подстерегавшего по ту сторону двери. Здесь тоже была полиция. Бегом я спустилась вниз, к Малиновским.

Они были дома — и он и она,— садились обедать. Он снял пиджак и был в одной жилетке. Увидев меня, оба вскочили.

— Что с тобой? Что случилось?

— Маму арестовали.

Тут Малиновский отодвинул стул, протянул ко мне обе руки, подошел ко мне, привлек меня к себе, поцеловал в лоб, произнес печальным, трагическим голосом:

— Бедное дитя мое! Моя бедная сиротка!..

Еще бы не сиротка! Он сам только что выдал полиции мою мать!

Всю ночь шли аресты. По доносам Малиновского взяли «под гребенку» редакцию журнала «Работница», на заседании которой была арестована мама, и всех, кто имел отношение к подготовке празднования Международного женского дня 8 марта. Царское правительство сделало петербургским работницам к Женскому дню богатый «подарок»: огромную новую женскую тюрьму, выстроенную по последнему слову тюремной техники. В эту тюрьму и посадили всех арестованных.

Грустно было попасть за решетку. Но больше всего арестованные печалились из-за провала с таким трудом налаженного празднования Женского дня и выпуска первого номера журнала «Работница».

Однако прошло несколько дней, и они узнали, что все в порядке. Случайно уцелевшая от ареста Анна Ильинична Елизарова (сестра В. И. Ленина) выпустила «Работницу».

Восьмого марта большевистская рабочая газета «Путь правды» была посвящена Международному женскому дню. И журнал и газета бойко раскупались и читались тут же, на улице.

В назначенный час к залам, где должны были состояться митинги, потянулись группы рабочих и работниц. Но на дверях висело объявление градоначальника, что 8 марта всякие собрания запрещены. На Петербургской стороне полиция насильственно прекратила собрание в Народном доме. Тогда несколько тысяч рабочих и работниц с пением революционных песен двинулись к Каменноостровскому проспекту. Появился красный флаг, трамваи остановились. Вскоре из-за угла вылетели отряды конной полиции и нагайками разогнали демонстрантов.

Это произошло около десяти часов вечера. Немного спустя демонстранты собрались вновь и через Троицкий мост и Марсово поле вышли на Невский проспект. Напротив Гостиного двора они были вновь встречены конной полицией с нагайками. Но до поздней ночи во всех рабочих районах города царило необычайное оживление.

Весть о первом в истории России массовом выступлении в Международный женский день быстро облетела тюрьму. Во всех камерах запели «Интернационал». Напрасно тюремный надзор предлагал замолчать: тюрьма шумно ликовала.

В начале мая арестованных по делу журнала «Работница» выпустили из тюрьмы с приговором — кому три, кому пять лет высылки из Петербурга с запрещением проживать в пятидесяти восьми городах — университетских и крупных промышленных центрах. Столь быстрое освобождение и сравнительно мягкий приговор объяснялись подъемом рабочего движения, а также мужественным поведением арестованных: они непрерывно устраивали в тюрьме обструкции, особенно бурные в день Первого мая, пели, стучали мисками в дверь, а потом объявили голодовку.

На шестой день голодовки их освободили. Мама приехала домой, вошла в квартиру, придерживаясь рукой за стены,— очень бледная, с глазами, обведенными синевой. И тут же появился... Малиновский! Как он был к ней внимателен! Как тревожился об ее здоровье! Как отдавал распоряжения, чтоб ей сварили куриный бульон и кормили ее понемногу, пока она не отойдет после голодовки!

Несколько дней спустя осужденные по делу журнала «Работница» стали разъезжаться из Петербурга. Первой уезжала Елена Федоровна Розмирович. Провожали ее мы с мамой и... Малиновский.

Был теплый весенний день, и с вокзала мы пошли пешком. Малиновский дал мне большую пачку писем, штук полтораста, и велел опускать их по два, по три в почтовые ящики, мимо которых мы будем идти.

— Нужно так делать, чтоб не показалось подозрительным,— словоохотливо объяснял мне Малиновский.— Товарищи поступили неконспиративно и заклеили все письма в одинаковые конверты. Если опустить их в один ящик, они могут обратить на себя внимание.

Так и шли мы через весь город — от Варшавского вокзала на Пески: впереди я, перебегая через улицу от

одного почтового ящика к другому, позади Малиновский, который, конечно, уже передал охранке содержание всех этих писем, а также адреса и имена тех, кому они были адресованы и кто их писал.

Все это происходило чуть ли не накануне того дня, когда Малиновский внезапно скрылся, боясь разоблачения. После революции его имя было опубликовано в списках провокаторов.

В июне 1914 года мы с мамой уехали из Питера, она — в ссылку, я — к дедушке в Ростов. Для нас с ней настала пора коротких встреч и долгих разлук.

НАКАНУНЕ

Маму долго гоняли по России, арестовывая и высылая из одного места в другое. Только летом 1915 года она смогла взять меня к себе в очередной город, где отбывала ссылку,— Екатеринбург (нынешний Свердловск).

Встретила она меня на вокзале. Мы долго тряслись на извозчике по пыльным, немощеным улицам.

— Когда же начнется город? — спросила я.

Мама засмеялась:

— Мы подъезжаем к Главному проспекту.

Она снимала комнату на улице рядом с оперным театром. Улица эта называлась Водочной.

В тот же вечер к маме пришли двое ее знакомых. Одного из них я знавала в Питере, другого видела впервые. Мне предложено было пойти «подышать воздухом». Я сразу догадалась, что мама снова связана с большевистским подпольем. Дело происходило во время первой мировой войны, когда за большевистскую деятельность грозила верная каторга. Поэтому партийная организация была особенно тщательно законспирирована.

Я готовилась поступить в местную гимназию. В это время мне на глаза попалось объявление, что в музее Уральского общества любителей естествознания производится запись в «Майский союз по защите природы».

Музей помещался в небольшом домике около огромного пруда с полуостровом, заросшим лесом. Тут же находилась гранильная фабрика. Едва я переступила порог музея, как передо мной раскрылось волшебное зрелище мерцающих и переливающихся всеми цветами радуги

уральских драгоценных камней. Тут были и прозрачные длинные заостренные кристаллы кварца, и зеленые изумруды, и лиловые аметисты, и голубоватые аквамарины, и причудливые сростки кроваво-красных гранатов.

Но еще больше раскрылась передо мной красота Урала, когда участники Майского союза, в который я вступила, впервые пошли на экскурсию. Стоило нам отойти на несколько верст от города, как нас окружил сплошной хвойный лес, перед нами высились скалы, поляны были покрыты цветами поразительно ярких и глубоких тонов.

Полная всеми этими впечатлениями, я отправилась на собрание членов Майского союза, ожидая, что там будут говорить о чудесах уральской природы. Каково же было мое удивление, когда жирненький румяный господин (это был видный деятель местного отделения кадетской партии) стал разводить речи о том, что вот-де мы занимаемся защитой природы, но еще важнее, чем природу, охранять наши юные души от тлетворного влияния революционной пропаганды. Что Россия должна, мол, сплотиться вокруг правительства и разбить Германию и Турцию, чтоб завоевать необходимые ей проливы. А с крамольниками, которые желают помешать победе русского оружия, следует поступать со всей строгостью законов военного времени.

Вернувшись домой, я рассказала про это собрание маме и ее товарищам. И когда через несколько дней я пришла в Майский союз, я увидела, что там появилось несколько рабочих пареньков, которые резко выделялись среди учащихся своим независимым видом, дружбой и взаимопониманием. Особенно приметен среди них был высокий черноглазый юноша, рабочий Верх-Исетского завода Николай Скворцов.

Уже потом мне стало известно, что екатеринбургские большевики, узнав о Майском союзе, решили использовать эту организацию для работы среди молодежи и послали туда группу молодых рабочих, близких к партии.

В ближайшую же субботу мы отправились с вечера на экскурсию к знаменитым скалам «Семь братьев». Дорога шла в гору. Мы переходили через ручьи и каменные осыпи. Наконец подошли к стоявшим дружной семьей скалам, покрытым зеленоватым мохом. Натаскали хворосту. Скоро уже пылал костер. На двух рогульках закипал чайник.

Когда кончилось чаепитие, Николай Скворцов вытащил из кармана небольшую книгу в желтой обложке и сказал, что называется эта книга «Овод». Он предлагает почитать ее вслух. Решив, что раз «Овод», то значит, книга по энтомологии, я без особого удовольствия приготовилась слушать.

Николай начал читать. И у подножия уральской скалы зазвучала трагическая история английского юноши, отдавшего свою жизнь за дело освобождения Италии.

Чтение шло ночь напролет. Сухие сучья потрескивали в костре. Прощальное письмо Артура к Джемме мы прочли при первых лучах солнца.

Как мы ни устали, но сразу разгорелся спор. Мнения о героях книги разошлись. Для одних она прозвучала как призыв к революционному подвигу, выше и прекраснее которого нет ничего на земле. Другие с пеной у рта доказывали, что Овод поступил «глупо» и «непрактично», когда отказался от помощи кардинала Монтанелли. Нашлась гимназистка, которая, пожав плечиками, заявила, что она вообще не понимает «идиотов», которые «лезут за кого-то умирать».

Но потом средоточием спора стали два человека: Николай Скворцов и ученик реального училища Виктор Матулевич. Возбужденные, красные, они с яростью нападали друг на друга. Разговор шел уже не об Италии. Нет! Спорщики вспоминали имя сподвижника Пугачева — уральского рабочего Белобородова, 1905 год! Оказалось, что прапрадеда Матулевича, управителя одного из кыштымских заводов, повесили пугачевцы, а прапрадед Николая Скворцова сражался в отряде Белобородова. Во время расправы с пугачевцами у него вырвали язык, отрубили руки и ноги, а затем обезглавили.

После этой ночи в работе Майского союза отчетливо наметились две линии: Скворцов и его товарищи использовали каждый повод, чтоб высказать свои материалистические и революционные идеи, а Матулевич с компанией болтал о философском идеализме и «высоких принципах партии конституционалистов-демократов», то бишь кадетов.

Николай Скворцов сделал так, что наши экскурсии не ограничивались одним лишь посещением прекрасных уголков природы. Теперь мы бывали на заводах и рудниках. Мы видели, как на асбестовых копях в Баженовском районе рабочие кирками, ломами и лопатами

выкалывают куски асбеста; как выпускают плавку на Ревдинском заводе и в удушающей жаре полуголые бородачи ворочают металл гигантской кочергой-мешалкой; как кузнецы вручную куют раскаленные слитки. Мы видели каторжный труд и ужасающую нищету рабочего люда. А когда не было вблизи никого из компании Матулевича, Николай Скворцов и его товарищи отходили в сторонку с кем-то из местных рабочих, разговаривали вполголоса и передавали им таинственные свертки.

В декабре Николая вызвали в администрацию завода и объявили ему, что он вычеркивается из списков забронированных заводом рабочих, получающих отсрочку от военной службы. Его тут же забрили в солдаты и с маршевой ротой отправили на фронт. Весной 1916 года он был убит где-то в Карпатах. Я распухла от слез: это был первый мой друг и товарищ, которого я потеряла.

Охранка что-то пронюхала о деятельности подпольной партийной организации. Около дома, в котором мы жили, начали бессменно дежурить шпики. Как-то ночью я проснулась от шума и света. Обыск! Мама подошла к моей кровати и осторожно передала мне туго свернутую бумагу, которую я припрятала у себя на груди.

Жандармы ушли, ничего не обнаружив. Но бумагу, которая не должна была попасть им в руки, мама пока оставила у меня, и я засунула ее под подкладку шубы. Однажды, не утерпев, я достала ее и посмотрела, что в ней написано. Это была отпечатанная на гектографе прокламация, начинавшаяся словами: «Товарищи рабочие и солдаты! Кровавый Николай II вместе с помещиками и фабрикантами гонит вас на убой на поля сражений ради барышей и новых завоеваний...» Кончалась она призывами: «Мир хижинам — война дворцам! Превратим войну империалистическую в войну гражданскую! Да здравствует революция!»

Хотя обыск сошел благополучно, маму снова выслали — на этот раз в Чердынь. Рано утром, когда мы еще спали, за ней явился жандарм и велел немедленно собираться.

— Только держи хвост трубой,— сказала мне мама.— Скоро мы с тобой встретимся снова.

— Скоро ли? — усмехнулся жандарм.

— Скоро, господин жандарм,— со сдерживаемой ненавистью сказала мама.— Верьте мне, что очень скоро!

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!»

И вот — не прошло еще и года! — я подъезжала к революционному Питеру.

Поезд тащился медленно. В битком набитом вагоне не то что яблоку, семечку негде было упасть; с верхних полок свешивались ноги, на полу, на площадках, в тамбуре — всюду были люди с котомками, узлами, мешками. На станциях бегали за кипятком; пили его с сахаром вприкуску, а больше вприглядку. Спали мало и, днем ли, ночью ли, спорили, вздыхали, говорили... Разговор шел «насчет земли», «насчет войны», «насчет замирения». Потом он переходил на партии. «Я причисляю большевиков к разбойникам»,— говорил один. «Врешь,— отвечал другой.— Большевиков надо применить к бедному мужику».— «А для меня что большевики, что есеры, все на одно серы»,— вставлял третий. В нашем купе рыжебородый солдат рассказывал про свою деревню, как там мужики решили пождать-пождать, а потом «сделать всем раздел» и поднять помещика на вилы. Забившаяся в угол с двумя чемоданами дамочка с глазами, которые именуются «бездонными», шипела «швабода»...

Но вот наконец показались заводские трубы, закопченные стены, рекламные щиты коньяка Шустова. Питер! Поезд подошел к перрону, и я увидела залитое слезами улыбающееся лицо мамы.

Мы вышли на Невский. В призрачном свете белой ночи темнели порядком выцветшие красные флаги. Несмотря на поздний час, на Невском было полно народу, на углах и на перекрестках шли импровизированные митинги.

Мама снимала комнату неподалеку от Разъезжей. По черной лестнице, на которой пахло щами и кошками, мы поднялись на шестой этаж и, не распаковывая вещей, уселись рассказывать друг другу о пережитом в эти месяцы: мама о своей последней ссылке и возвращении в Питер, я — о том, как я вступила в партию.

Февральская революция застала меня в Ростове-на-Дону. Девочки в гимназии, где я училась, сразу поголовно влюбились в «душку Керенского». Все — даже казачьи атаманы — нацепили красные бантики.

Но едва из-за границы приехал Ленин и выступил со своими знаменитыми Апрельскими тезисами, контрреволюционное гнездо зашевелилось. На митингах в город-

ском саду появились неизвестно откуда взявшиеся типы, которые били себя в грудь и вопили, что большевики — германские шпионы и всех их надо развешать на фонарных столбах.

К счастью, мне в руки попал номер «Правды» со статьей В. И. Ленина. Никаких сомнений в том, с кем я должна идти, у меня не было. Я решила разыскать Ростовскую большевистскую организацию и предложить свою помощь в том единственном, что я могла делать: ходить на заводы и распространять там большевистские газеты.

С этого времени ежедневно в пять часов утра с пачкой газет в руках я отправлялась в железнодорожные мастерские, на табачную фабрику Асмолова, в порт, на элеваторы, в солдатские казармы. Девочка с косами могла легко проникнуть туда, куда не мог бы пройти взрослый.

Члены большевистского комитета обратили на меня внимание, расспросили, кто я и что. Оказалось, что они знали моего отца и мать по ростовскому подполью 1900—1903 годов. Меня приняли в ряды партии!

Когда в гимназии узнали, что я большевичка, в классе разразилась буря. В порядке бойкота мне перестали подсказывать. Но я благополучно сдала выпускные экзамены и на следующий же день после получения аттестата уехала в революционный Петроград, куда уже звала меня моя мать.

Обо все этом мы и проговорили чуть ли не всю ночь, а утром, поспав всего часа два, отправились на заседание Первого Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

Съезд открылся 3 июня. Он заседал в здании Кадетского корпуса на Васильевском острове. Достаточно было войти в зал и окинуть его беглым взглядом, чтобы почувствовать разницу между теми делегатами, которые сидели справа от председателя, и теми, что сидели слева. Справа виднелись погоны вольноопределяющихся и хорошие костюмы, попадались и офицерские френчи. Слева преобладали солдатские гимнастерки и простые пиджаки. А на крайней левой, у самых окон, занимала места группа людей, в каждом движении которых сквозила крепкая сплоченность между собой. Чувствовалось, что они — это одно, а остальной съезд — это другое.

Хотя гостям полагалось стоять позади, мы пробрались к окнам, поближе к этим людям. Это были большевики.

Некоторых из них я припоминала: одних я знавала когда-то в качестве «легалов», других — в качестве «нелегалов», но и тех и других, как правило, под ненастоящими фамилиями и именами.

— Вот это Свердлов,— шепотом говорила мама.— Это Подвойский, это Джапаридзе, это Ногин, это Володарский, а это,— тут она показала на человека, сидевшего вполоборота, так что нам видна была только его могучая голова,— это Ленин!

В тот день происходило второе заседание съезда. Оно началось выступлением представителя Минского Совета рабочих и солдатских депутатов Позерна. Стоило Позерну заявить, что он выступает от имени фракции большевиков, как зал превратился в кипящий котел. Каждое слово Позерна встречалось гулом и выкриками. Сквозь свист и улюлюканье можно было уловить лишь отдельные слова оратора: «контрреволюционные круги», «группы, связанные с англо-французским и американским империализмом», «удар против международной революции, против борьбы за мир», «нависшая над страной угроза»...

От имени фракции большевиков Позерн потребовал, чтоб съезд в первую очередь обсудил вопрос, который волнует армию и от которого зависит судьба всей русской революции: вопрос о подготовляемом правительством Керенского наступлении.

И тут же одна за другой потекли речи меньшевиков, эсеров, беспартийных, внепартийных, надпартийных и всяких прочих — и все против предложений большевиков.

Приступили к голосованию: «Кто за то, чтоб обсуждать вопрос о наступлении?» Несколько десятков рук. «Кто против?» Абсолютное большинство.

А потом пошли восторги. Представители демократии приветствовали представителей демократии и выражали уверенность, что демократия, оказавшись в руках долголетних борцов за демократию, будет единственно истинной демократией, огражденной от излишеств как вправо, так и, в особенности, влèво, то есть демократичнейшей демократией из демократий.

Вечером устами министра Временного правительства меньшевика Ираклия Церетели оная демократия стала разъяснять, как она себя, демократию, понимает. Чем она

руководствуется и что берет за основу. Что она считает гибельным для русской революции и в чем видит ее спасение.

Высокий, стройный, элегантный в своем черном костюме, Церетели выступал в лучшем адвокатски-парламентском стиле, простирая руки к залу, делая паузы, переходя то к патетическим восклицаниям, то к трагическому шепоту,— и в такт его речи покачивались долгогривые головы эсеров и умненькие, сухонькие головки меньшевиков.

На этот раз мы с мамой прошли дальше вперед и стояли так, что нам хорошо был виден Ленин. Владимир Ильич сидел пригнувшись и что-то быстро писал в блокноте, время от времени поглядывая на Церетели. А я смотрела на Ленина и мучительно старалась понять, почему мне знаком его облик. Наконец из глубин моей памяти выплыла узкая парижская улица, дом с темными стенами, небольшая кухня, стол, покрытый клеенкой, веселый человек, смеявшийся над моим желанием иметь «шляпу с вишнями».

А Церетели говорил и говорил. Сначала кругло и красиво, с вибрациями и модуляциями, было доказано, что демократия желает мира и свободы. Затем — уже жестко и непреклонно,— что этот мир демократия намерена получить через войну до победы, а свободу рабочих и солдат она видит прежде всего в свободе быть пушечным мясом на войне во имя интересов международных банкиров. А потом — с взвизгиванием и рычанием,— что в стране имеются, к сожалению, элементы, которые, вместо того чтобы дружно впрячься в колесницу демократии, вставляют в сию колесницу палки, между тем как лишь в единой упряжке с буржуазией колесница демократии прибудет к победе...

Речь Церетели достигла своей кульминации. Он широко раскинул руки и говорил тоном человека, абсолютно овладевшего аудиторией.

— В настоящий момент,— вещал он,— в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте нам в руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет!

Долгие гривы эсеров согласно зашевелились, жиденькие бородки меньшевиков поддакивающе затряслись. Но вдруг тишину прорезал звонкий чистый голос:

— Есть!

Это Ленин со своего места, встав и глядя прямо в глаза продажному министру-социалисту, воскликнул:

— Есть такая партия!

И над замершим от неожиданности залом, над Россией, над всем миром прозвучал его голос, полный силы, страсти, огня:

— Есть! Есть такая партия! Это — партия большевиков!

РИСУНКИ АЛЕШИ КАЛЕНОВА

Там же, на съезде Советов, во время перерыва, мама подвела меня к Свердлову.

Яков Михайлович стоял на площадке лестницы, упершись спиной в стену и напоминая капитана на командном мостике. К нему подходили люди, а то он сам, выхватив взглядом кого-нибудь из толпы, подзывал его к себе. Разговор всегда был коротким. Видно было, что и он, и его собеседники понимали друг друга с полуслова.

Увидев меня, он удивился:

— Ишь какая ты большая стала. Как? Уже член партии? Сколько же вам (вам!) лет? Пятнадцать? Что-то не по уставу получается, а?

— Да я совсем не устала,— не поняв, сказала я.

В это время мимо нас проходил Мартов.

— Тсс! — сказал Яков Михайлович.— Еще услышит Мартов и скажет: «Ну и большевики пошли, даже не знают, что это такое партийный устав!»

Разговор наш шел о моей работе. Яков Михайлович направил меня на Выборгскую сторону, к Надежде Константиновне Крупской.

Во время выборов в районные думы наша партия получила на Выборгской стороне большинство голосов, Надежда Константиновна стала заведовать там культурно-просветительным отделом районной управы. Весь отдел помещался в одной комнате, в которой стояло два кривых стола и несколько стульев.

Весело смеясь, Надежда Константиновна вспомнила какую-то старую женевскую историю, а потом сказала мне, что работники очень и очень нужны и что она поручает мне организовать детскую площадку.

Огорчению моему не было предела. Как? Я собиралась

чуть ли не строить баррикады и совершать революцию, а мне предлагают вытирать ребятишкам носы.

— Вот именно для того, чтобы совершить революцию, чтобы пролетариат узнал, кто такие большевики, нам с тобой придется делать всяческую работу, в том числе вытирать ребячьи носы,— сказала Надежда Константиновна.— Выборгская районная дума пока единственная в стране находится под влиянием нашей партии. И мы должны показать рабочим Питера и всей России, как будут работать большевики, когда пролетариат возьмет власть в свои руки.

Освободившись от текущих дел, Надежда Константиновна пошла вместе со мной искать место для будущей площадки. Ходили мы долго, пока не нашли неподалеку от железнодорожного моста большой пустырь, поросший чахлой травой. Мы решили устроить площадку здесь, так как пустырь был обнесен забором и внутри него стоял дощатый навес.

С помощью молодых рабочих-выборжцев мы расчистили нашу площадку от бурьяна и мусора, привезли песку, достали десяток деревянных совков и лопат, один мяч, четыре скакалки да несколько пачек белой бумаги и наборов акварельных красок и цветных карандашей. Расклеенные по району афиши приглашали детей на площадку.

Открытие было назначено на десять часов утра. Но уже к восьми забор был облеплен ребятишками, жаждавшими поскорее увидеть чудо, которое их ожидало.

Однако, когда я раскрыла калитку, войти решились далеко не все, а человек тридцать, не больше. Но и эти ступали боязливо, все время боясь окрика и запрещения.

Я раздала им игрушки, усадила малышей на песок. Постепенно эти маленькие старички оттаяли и повеселели. Со стороны они уже были похожи на обычных играющих детей. Но подойдешь к какой-нибудь крохотной маме, которая баюкает запеленатый в тряпку чурбанчик, и слышишь, как она бормочет:

— Варька, не реви, не надрывай ты мне душу! Вот принесу получку, куплю картошки, наварю и поставлю тебе, как царице, полную миску!

Пошел дождь. Я позвала ребят под навес и усадила рисовать, благо бумаги и кисточек хватало.

После дождя я собрала рисунки. Многие были совсем неразборчивы, на некоторых можно было увидеть дома

с ввинченными в небо штопорами дыма и плоских людей, распяливших руки. Но два листа, заполненные рисунками мальчика, которого звали Алеша Каленов, меня поразили.

В них много раз повторялся один и тот же мотив: внизу — яркие мазки, пестрота и причудливость которых напоминала сказочных птиц, а над ними — одинаковый во всех рисунках — висящий в воздухе геометрически правильный грязно-голубой квадрат. И все это сделано с удивительной, недетской выразительностью.

Я знала, что нарисованы цветы. Об этом мне сказал сам Алеша. Но почему эти цветы выглядели так странно? А главное — что же означал этот загадочный квадрат?

Спросить об этом мальчика я не хотела: он был таким дичком, что мой вопрос мог его спугнуть. Я решила посоветоваться с Надеждой Константиновной.

Алешины рисунки взволновали ее. Она стала расспрашивать о мальчике. Я ничего о нем не знала. Но у меня имелась книга для регистрации ребят, и я нашла его адрес.

— Сходи-ка к нему,— сказала Надежда Константиновна,— посмотри, как он живет. Может, для нас тогда многое раскроется.

И я снова пошла по унылым улицам Выборгской стороны. Кругом все голо, ни кустика, ни деревца. Вот шестиэтажный обшарпанный дом, словно сошедший со страниц романов Достоевского. В нем живет Алеша Каленов. Двор-колодец. В глубине — лестница с щербатыми ступенями, спускающаяся в подвал. Длинный темный коридор. В конце дверь.

Я постучала. Дверь сама отворилась. Передо мной была узкая комната с одним окном. На кровати под рваным лоскутным одеялом спали трое маленьких ребят. Алеша Каленов сидел у окна. Я подошла к нему, поздоровалась, села рядом, посмотрела в окно — и увидела в далекой вышине тот самый грязно-голубой квадрат неба, который Алеша Каленов изобразил на своих рисунках.

Этому мальчику, которого я считала десятилетним, шел уже тринадцатый год. Он никогда не бывал за пределами Выборгской стороны. Он никогда не видел цветов. С цветами у него связывалось представление о чем-то несказанно прекрасном. Он думал даже, что цветы поют...

Отца его забрали в солдаты в первый же день войны. Вскоре пришла похоронная. Мать — прачка. Стирала с утра до ночи, чтобы прокормить четверых ребятишек. Алеша в школу не ходил и нянчил малышей.

Обо всем этом я рассказала Надежде Константиновне. Она слушала меня, положив на стол дрожавшие прекрасные руки, и по щекам ее бежали крупные молчаливые слезы. А на другой день она передала мне, чтобы вечером я непременно пришла во дворец Кшесинской к Владимиру Ильичу, захватив с собой Алешины рисунки.

Во дворец Кшесинской мне удалось попасть только поздно вечером. И в самом дворце и вокруг него бурлила огромная толпа. Только что стало известно о позорном провале предпринятого по воле Керенского наступления, которое стоило народу множества солдатских жизней. Рабочий Питер клокотал от ненависти к Временному правительству.

Владимира Ильича я разыскала в угловой комнате второго этажа. Одни ее окна выходили на Неву, другие на Петропавловскую крепость.

Когда я вошла, Владимир Ильич писал за письменным столом, заваленным ворохом газет и книг. Окна были раскрыты, и через них, словно шум прибоя, доносился гул толпы.

Прежде, чем разговаривать, он налил две чашки чаю из синего эмалированного чайника, стоявшего в углу. Поставил на стол блюдце с сахарным песком и тарелку нарезанного черного хлеба. Сахару было мало. Мы клали его слоем на хлеб и пили чай, как говорил Владимир Ильич, с «сахарбродами».

Потом я достала Алешины рисунки. Владимир Ильич долго их рассматривал.

— Вот,— зло сказал он, показывая на розовую шелковую обивку комнаты и на мраморный потолок,— для того чтобы царская содержанка жила в такой роскоши, Алеша Каленов лишен детства.

Взяв лист бумаги, Владимир Ильич стал записывать все, что надо сделать для моих ребят с площадки: непременно (он подчеркнул это слово двумя чертами) хотя бы раз вывезти их за город; непременно (снова дважды подчеркнуто) сводить их в Летний сад («И пусть барчата потеснятся»). Раздобыть игры и мячи. Поговорить с Горьким насчет детских книг. Узнать у выборжцев, нельзя ли разбить на площадке клумбу и посадить цветы.

На следующее утро Владимир Ильич уезжал на недельку в Финляндию. Рисунки Алеши и свою записку он взял с собою и сказал, что после возвращения хочет обязательно повидать мальчика.

Но несколько дней спустя произошли события 3—5 июля. Владимир Ильич спешно возвратился в Питер, а потом вынужден был скрыться от грозящих ему ареста и расправы со стороны Временного правительства. Находившиеся при нем бумаги — в их числе рисунки Алеши Каленова — пропали.

Переменив несколько квартир, Владимир Ильич добрался наконец до сенокосного участка сестрорецкого рабочего-большевика Николая Александровича Емельянова и жил там в шалаше. Надежда Константиновна в эти тяжелые месяцы продолжала по-прежнему работать в Выборгской районной управе. Она держалась, как и всегда, спокойно, но даже мои неопытные глаза видели, какого огромного труда стоило ей это внешнее спокойствие.

Я была уверена, что Владимиру Ильичу не до нас и он даже думать забыл о том, что хотел сделать для моих ребят с детской площадки. Велико же было мое удивление, когда в конце июля Надежда Константиновна сказала мне, что в воскресенье я должна собрать ребят и мы все вместе поедем в Мустамяки.

— А деньги на билеты?

— Не надо. Все будет приготовлено.

И действительно, на Финляндском вокзале нас ожидал пустой вагон, который подготовили наши товарищи-железнодорожники. Они прицепили его к первому отходящему поезду, и под всеобщий визг мы поехали!

В Мустамяках нас встретил старый работник партии Александр Михайлович Игнатьев. Мы построились по четыре. У одного из мальчиков (разумеется, не случайно!) оказался кусок кумача, который он водрузил на палку. Торжественно, с красным флагом, мы дошли до дому. Там нас ожидали великолепнейшая пшенная каша, сладкий чай с молоком, овсяные пышки.

И все это сделали для нас благодаря Владимиру Ильичу! Надо только подумать, в каком положении он тогда находился — один, в заброшенном шалаше, зная, что каждую минуту его могут схватить и буквально растерзать, работая с утра до вечера над статьями, книгами, брошюрами, думая одну и ту же думу о судьбах России и

международного рабочего движения. И в такое время он позаботился о том, чтоб подарить полусотне пролетарских детишек день счастья!

Весь этот счастливый день мы купались, гуляли по лесу, пели. Малыши пищали и катались по высокой, некошеной траве. Девочки плели венки.

И только Алеша Каленов бродил словно очарованный. Он молча подходил к цветам, смотрел на них, концами пальцев осторожно поглаживал венчики.

Мы договорились с Александром Михайловичем Игнатьевым, что непременно приедем еще. Но буря политических событий помешала это сделать. Обстановка в стране становилась с каждым днем все более напряженной. Против красного Выборгского района начался открытый поход. Буржуазные газеты призывали покончить с этим «большевистским гнездом». Когда я напоминала товарищам о нуждах площадки, они кряхтели, чесали затылки, смотрели на меня виноватыми глазами, но... так ничего и не смогли сделать.

Подошел сентябрь. Надо было переводить площадку под крышу, но не было ни помещения, ни средств. Да и мысли были заняты другим: вся пролетарская молодежь по мере сил и умения помогала партии в подготовке октябрьского штурма.

Стыдно, конечно, в этом сознаваться, но в те дни я совсем позабыла об Алеше Каленове. Каково же мне было, когда уже после Октябрьской революции я столкнулась в коридоре Смольного с Владимиром Ильичем и он сразу же спросил меня об Алеше, а я ничего не смогла ему ответить.

— Как же это так?— сказал Владимир Ильич.— Судьба этой семьи, можно сказать, в твоих руках, а ты о ней забыла!

— Да мне... да я...

— Пойди в комендатуру Смольного и скажи товарищам, что я прошу их позаботиться о том, чтобы семья Каленовых была переселена в хорошую квартиру.

Несколько дней спустя я побывала на новой квартире Каленовых. Не веря своему счастью, Мария Васильевна Каленова ходила по роскошному кабинету нефтепромышленника Гукасова, бежавшего за границу, и осторожно переставляла своими распухшими руками прачки тонкие фарфоровые безделушки. А Алеша, как-то ничего не

видя вокруг, отсутствующим, зачарованным взором неотрывно смотрел на висевший на стене эскиз врубелевского «Демона».

В конце ноября нам удалось наконец получить помещение для детского клуба. Это были три комнаты в том самом особняке, глядя на который великий русский поэт написал: «Вот парадный подъезд. По торжественным дням...»

Но теперь к парадному подъезду подошли не деревенские ходоки, прогнанные надменным швейцаром, а питерские рабочие и их детвора. Работа закипела. Натаскали дров, вымыли полы, расставили, как нам нужно, мебель — и в бывшем доме царского сановника устроили первый в Питере «Детский рабочий клуб имени мировой революции». Все работы по клубу делали сами дети: они и топили печи, и кололи дрова, и убирали помещение.

В марте 1918 года я уехала в Москву, но на Первое мая вернулась в Петроград. Стоя у подножия трибуны на площади Жертв революции, я увидела ребят из нашего детского клуба. Они несли большой плакат. На нем был нарисован рабочий в красной рубахе. Протягивая одну руку крестьянину, он держал в другой тяжелый молот и разбивал им цепи капитала, опоясывающие земной шар. Надпись гласила: «Берегись, мировая буржуазия! Мы стоим на страже!» Ко мне подбежал Алешка и весело прокричал, что этот плакат нарисовал он сам.

В следующий мой приезд в Петроград, летом 1920 года, я узнала, что комсомолец Алексей Каленов вступил добровольцем в отряд, отправлявшийся на фронт, и пал смертью храбрых под Пулковом, в бою против банд Юденича.

ТОЛЬКО ОНА...

Анкета — вещь, которая кажется скучной. Но есть анкеты и анкеты. В простых листах бумаги с вопросами и ответами, которые мне суждено было впервые держать в руках, был заключен неповторимый кусок истории.

Как-то в начале августа 1917 года, под вечер, возвращаясь с работы, я зашла в Выборгскую районную управу и Надежда Константиновна Крупская сказала мне, чтоб

я на несколько дней закрыла детскую площадку и помогла товарищам из секретариата партийного съезда, который должен был открыться.

Время тогда было тревожное. Лишь недавно пронеслись бурные события 3—5 июля. Редакция «Правды» и дворец Кшесинской, где помещались учреждения нашей партии, были разгромлены. Временное правительство выдало ордер на арест товарища Ленина и прилагало все силы, чтобы его захватить. Многие большевики и революционные солдаты и матросы были брошены в тюрьмы. Нашего товарища Воинова растерзал на улице озверевший контрреволюционный сброд.

Что ждало партию впереди? Отвечая на этот вопрос, один молодой товарищ, не сумев справиться со словами «вариант», «оптимистический» и «пессимистический», сказал:

— Перед нами, товарищи, два вероянта: оптимальный и пессимальный...

Собрание захохотало, и, по свойственной большевикам любви к острому, необычному слову, так и пошло: «пессимальный вероянт», то есть поражение революции, и «оптимальный вероянт» — ее победа.

Возможность «пессимального вероянта» учитывали (одно из непременных правил большевистского отношения к работе гласило: «надейся на лучшее, но будь готов к худшему»). Имелись товарищи (в том числе моя мама), которые добывали надежные паспорта, припрятывали шрифт для подпольных типографий, подыскивали квартиры, которые в случае чего можно было бы превратить в нелегальные.

Но партия в целом сплачивала силы для иного, для «оптимального» варианта, в который твердо верила даже в самые тяжелые, в самые трудные дни.

Чтобы обеспечить победу этого варианта, в конце июля собрался VI съезд партии. И вот мне было поручено помочь товарищам, которые обслуживали работу съезда.

Всю ночь я спала плохо и проснулась рано, взволнованная, с бьющимся сердцем: ведь это было первое серьезное партийное поручение в моей жизни. И когда я пришла в дом «Сампсониевского братства», в котором начал свою работу съезд, и Яков Михайлович Свердлов велел мне достать тряпку и протереть окна, я восприняла это как важное партийное дело.

Задолго до назначенного часа стали подходить делегаты. Они тоже включались в работу: таскали стулья, передвигали скамьи. Наконец все было готово.

Единственным документом, оставшимся от работ съезда, является краткая секретарская запись: на стенографисток у партии не было средств, да и нельзя было пускать на этот полулегальный съезд посторонних людей.

Эта секретарская запись сообщает, что съезд был открыт старейшим его делегатом Михаилом Степановичем Ольминским. Он произнес вступительную речь. Затем были выслушаны приветствия питерских рабочих. Затем избран президиум. Затем обсуждался порядок дня и был утвержден регламент.

Все так и было. Однако эта скупая запись ни словом не передает того глубокого волнения, которым были охвачены собравшиеся здесь, в этом убогом зале с плохо выбеленными стенами. Она не рассказывает о том, как они встречались друг с другом; как всматривались в лица, порой не сразу узнавая бывшего товарища по тюремной камере; как о чем-то обыденном вспоминали о трагических событиях, пережитых вместе,— провалах, арестах, годах одиночного заключения, тюремных бунтах, избиениях, каторжных работах, побегах; как делились рассказами о той борьбе, которую вели сегодня во имя победы социалистической революции.

Мне было поручено раздать делегатам съезда анкеты, потом собрать заполненные бланки и сделать по ним сводку.

На этих листках серой шершавой бумаги была записана повесть о лучших людях нашей партии, нашего народа.

Анкету заполнили сто семьдесят один делегат съезда. Они проработали в революционном движении в общей сложности тысячу семьсот двадцать один год. Их пятьсот сорок один раз арестовывали, в среднем три раза каждого. Около пятисот лет провели они в тюрьмах, ссылках, на каторге. Половина из них имела высшее или среднее образование; другая половина получила лишь низшее образование; некоторые определили свое образование как «тюремное». Всего за несколько месяцев до этого съезда многие из тех, кто, перекидываясь шутками, сдавал мне заполненные листы анкеты, сидели за решетками или же звенели кандалами «во глубине сибирских руд».

Сегодня, когда они собрались здесь, на своем партийном съезде, история совершала один из самых крутых своих

поворотов. Против большевистской партии ополчились все силы старого мира. «Большевики зашевелились»,— злобно писала буржуазная печать и призывала к расправе над делегатами. Примерно на четвертый день работы съезда на Выборгской стороне появились какие-то подозрительные шайки. Они бродили по улицам, явно готовя то ли провокацию, то ли нападение, и съезду пришлось перенести свои заседания за Нарвскую заставу. Но никто, глядя на его работу, прислушиваясь к жарким спорам, прерываемым порой веселым смехом, к докладам, в которых давался мастерский анализ обстановки в стране, к выступлениям, обоснованным фактами и цифрами, к едким репликам и тонким шуткам,— никто не подумал бы, что эти люди, целиком поглощенные общим делом, знают, что им грозит смертельная опасность; знают, что каждого из них, быть может, ожидает гибель за дело революции; знают все это — и продолжают работать с таким спокойствием и бесстрашием.

Ленина на съезде не было, он скрывался от грозящего ему ареста. Политический отчет Центрального Комитета партии делал Сталин, организационный отчет — Свердлов.

Шел второй или третий день съезда, когда дверь в переднюю комнату, где я сидела, распахнулась и появился делегат Кронштадта Флеровский вместе с каким-то матросом, державшим в руках большую пачку газет. Вся длинная, худая фигура Флеровского выражала восторг и воодушевление.

— Давай, давай сюда,— говорил он матросу, показывая на дверь, ведшую в зал заседаний.

Матрос, смущенно и гордо улыбаясь, прошел мимо меня, бережно неся свою пачку. Я успела заметить, что это ни больше ни меньше как преподлейшая буржуазная «Биржевка» (так именовали в обиходе газету «Биржевые ведомости»). Все это было как-то странно: уж больно настроение, которым были охвачены матрос и Флеровский, не соответствовало их ноше!

Между тем ровный негромкий гул, который доносился из зала заседания, вдруг прервался. Послышался шум голосов, возгласы, восклицания.

Войдя в зал, я увидела, что делегаты обступили Флеровского, который раздавал им какие-то тоненькие книжки. Некоторые получили уже эти книжки и впились в них,

каждый на свой лад: Ольминский — низко нагнувшись над столом и вороша рукой буйные седые кудри; делегат Харькова Артем — широко раскрыв глаза, со счастливым выражением красивого умного лица; московский делегат Усиевич, достав карандаш, набрасывал на листке бумаги быстрые заметки; Свердлов вертел незажженную папиросу и машинально постукивал ею по спичечному коробку; а Серго Орджоникидзе — тот не смог усидеть на месте, он читал стоя и время от времени восклицал: «Правильно! Правильно, Владимир Ильич!»

Это была брошюра «К лозунгам», в которой В. И. Ленин ставил перед партией как непосредственную задачу завоевание пролетариатом при поддержке беднейшего крестьянства государственной власти. Написанная Владимиром Ильичем в Разливе, у стога сена, эта брошюра была напечатана в Кронштадте и доставлена на съезд еще влажной, с запахом типографской краски. Высказанные в ней В. И. Лениным положения определили ход и направление работ съезда.

В манифесте, обращенном ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам России, съезд призвал их под знамя нашей партии. «Только эта партия, наша партия, осталась стоять на посту,— говорилось в манифесте.— Только она в этот смертный час свободы не покинула рабочих кварталов... Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны!»

Поздно вечером возвращались мы из-за Нарвской заставы, где происходили последние заседания съезда. Светила луна, на земле чернели неподвижные тени домов. Засунув руки в карманы, мы шагали посредине мостовой, в ритм словам, которые звучали в душе: «Только она... Только наша партия...»

ОКТЯБРЬСКИЙ ВЕТЕР

В то далекое чудесное время через дорогу наискосок от дворца Кшесинской высилось грубо сколоченное, обшарпанное, пропахшее конским потом, махоркой и аммиаком, залепленное старыми афишами круглое серое здание. Это был цирк «Модерн».

О цирк «Модерн», цирк «Модерн»! Может ли забыть

тебя тот, кто летом и осенью семнадцатого года хоть раз побывал в твоих грязных, облупленных стенах?

Недаром кто-то (Не Маяковский ли?) тогда провозгласил: «Чтоб дать отпор буржуйской скверне, спеши, товарищ, на митинг в «Модерне!» Недаром сложенная тогда же песня утверждала: «Не видал тот революции, кто в «Модерне» не бывал!» Выстроенный по прихоти судьбы в самом центре богатых кварталов, этот огромный цирк с первых же дней после падения самодержавия сделался пристанищем самых боевых кругов Петроградского пролетариата и гарнизона.

Народу там набивалось — не продохнешь! Сидишь, бывало, зажатая с обеих сторон так, что пальцем не шевельнуть, твои ноги на чьей-то голове, на твоей голове — чьи-то ноги! Электричество не горит (об этом позаботилось Временное правительство; но напрасны были его надежды сорвать таким способом собрания в «Модерне»). Рядом с ораторской трибуной пылает смоляной факел. Черно-багровое пламя колеблется под дыханием толпы, огненные отблески пробегают по лицам людей, заполнивших все места, арену, проходы, ложи и чуть ли не свисающих с барьеров и люстр.

Один оратор сменяет другого: тут и посланцы большевистской партии — Володарский, Крыленко, Слуцкий; и солдаты, приехавшие с фронта; и матросы из Кронштадта и Свеаборга; и рабочие с «Русского Рено», «Парвиайнена», «Путиловца». Цирк гудит. Он вздыхает, радуется, негодует, как один человек.

— Товарищи! Дадим ли мы Временному правительству накинуть нам на шею удавную петлю? — спрашивает оратор.

— Не дадим! Не дадим! — отвечает цирк.

— Позволим ли продолжать проклятую бойню?

— Не позволим! Долой! Пусть Керенский сам в окопах вшей кормит, а с нас хватит!

— Товарищи, оставим ли мы землю помещикам?

— Не оставим! Себе возьмем!

— Кому же, товарищи, должна принадлежать власть?

— Советам! Вся власть Советам!

И вот настал Октябрь, великий Октябрь семнадцатого года! События развивались все стремительней. Чувствовалось, что развязка близка.

Еще не так давно этого чувства не было. Но теперь, с конца сентября — начала октября, его испытывали все — и друзья революции, и ее враги.

«Революция приближается!— писала в эти дни буржуазная и меньшевистско-эсеровская печать.— Барометр указывает бурю, и на горизонте недаром показалась тень Ленина!»

Тень Ленина? Ошибаетесь, господа... Нет, это не тень! Это сам Ленин, полный неукротимой энергии и страстного желания борьбы! Пренебрегая опасностью для жизни, он, переодевшись кочегаром, пробрался на паровозе в Питер и поселился на Выборгской стороне, в квартире Маргариты Васильевны Фофановой, чтоб непосредственно руководить подготовкой восстания.

Нет, это не тень! Это живой Ленин принимает участие в заседаниях Центрального Комитета партии; разоблачает штрейкбрехеров революции; напоминает об учении Маркса о восстании как искусстве; доказывает, что кризис назрел, что все будущее русской и международной революции поставлено на карту; требует от партии по-деловому, практически заняться технической стороной восстания, чтоб сохранить за собой инициативу и в ближайшее же время приступить к решительным действиям.

Это он, Ленин, из глубокого подполья направляет работу партии... Это его голос звучит набатом со страниц большевистских газет и находит горячий отклик в сердцах рабочих, матросов, солдат и крестьян!

О том, что Владимир Ильич вернулся в Питер, было известно лишь самому узкому кругу товарищей. Но мы, рядовые члены партии, не зная о его приезде, ощущали его близкое присутствие. Словно в строй вступила мощная турбина — так энергично, быстро, четко завертелись все валы партийного механизма. И каждая его самая малая шестеренка напрягала все силы, чтобы была достигнута цель, поставленная партией.

Встанешь утром, кое-как умоешься, выпьешь наскоро стакан чая — и в путь! За день надо переделать кучу дел: сначала побывать на Выборгской стороне; оттуда — отправиться на Фурштадтскую, 19 в секретариат Центрального Комитета партии; оттуда — в Смольный, потом в Московский полк, чтобы пострелять на стрельбище, которое он предоставил в распоряжение штаба Красной гвардии;

оттуда — на собрание Союза рабочей молодежи в помещении одной из шумных грязных чайных с неожиданными названиями: «Зимний сад» или «Тихая долина»; оттуда — на митинг в Пулеметном полку или на заводе «Новый Лесснер» и еще в добрый десяток мест.

Работа шла быстро. Все вопросы подвергались страстному обсуждению, и тут же по ним принимались решения. Если надо было что-то сделать, кто-нибудь брался это сделать и сам находил себе помощников. А большинство дел делалось всеми сообща: надо записываться в Красную гвардию — все записываются в Красную гвардию; надо собирать оружие — все собирают оружие.

Велась ли тогда служба погоды? Если да, ее записи за октябрь семнадцатого года должны гласить: «Облачность низкая без прояснений, временами дождь и мокрый снег. Ветер порывистый, умеренный до сильного. Температура ночью минус пять — минус семь, днем — около нуля».

Но ежели спросить, какой была в те дни погода, любого участника Октября, он задумается, пожмет плечами, улыбнется воспоминанию, разведет руками и скажет: «Великолепная! Великолепнейшая! Воздух свежий, бодрящий... Молоденький снежок... Этакий приятный питерский туман, смешанный с дымом костров... И ко всему — ветер. Отличный ветер, веселый, порывистый. Именно такой ветер, какому и положено быть в дни, когда с земли выметается нечисть старого мира».

Было ли холодно? Конечно... Бежишь по улице, и зуб на зуб не попадает. Не беда, нам не привыкать. Зато у буржуев косточки померзнут. Пусть узнают, гады, почем фунт лиха!

Оружие, оружие, оружие!.. За вчерашний день нам удалось достать семь винтовок, три нагана, браунинг без патронов... За Нарвской заставой ребята раздобыли два пулемета... Говорят, что патроны можно достать в Новой Деревне... А перевязочный материал выдают на Петроградской стороне... Повсюду идет поспешное обучение красногвардейцев и санитаров. Инструктор — безусый солдатик — объясняет: «Главное, не бойсь... Ползи вперед и пали с винтовки». Студент-медик сыплет скороговоркой:

«На рану кладется марля, на марлю кладется вата, на вату накладывается повязка...» Тут же все принимаются бинтовать друг друга. Курс обучения — двухчасовой.

Темные ночи, темные улицы... Как изменился Питер за последние два месяца! Исчезли красные банты, украшавшие и шелковый лацкан фрака и замызганную шинель солдата. С лиц сошло выражение умильно-благостного восторга. Буржуазные кварталы погрузились в тишину. Особняки миллионеров и иностранных посольств словно вымерли: парадные двери замкнуты на прочные засовы, зеркальные окна затянуты толстыми шторами.

Эта тишина — мы знаем — обманчива. Буржуазия не спит. Буржуазия бодрствует. Буржуазия сплачивает свои силы. Буржуазия плетет сети заговоров против революции.

«Промедление смерти подобно!» Эти слова звучали в те дни по всему рабочему Питеру.

«Промедление смерти подобно!» — говорил вожак петроградской рабочей молодежи Вася Алексеев, требуя от нас, чтоб мы протянули живую нить от Союза рабочей молодежи к каждому молодому рабочему и работнице.

«Промедление смерти подобно!» — восклицал на митинге солдат-фронтовик, призывая сплотить силы рабочих и солдат для восстания против Временного правительства.

«Промедление смерти подобно!» — заявлял рабочий завода «Айваз», заканчивая свою речь, направленную против соглашателей, которые «задумали построить с капиталистическими волками овечий дом» и которых он предлагал «выгнать поганой метлой из Советов».

«Промедление смерти подобно!» — несколько раз повторила Женя Егорова, секретарь Выборгского районного комитета партии, выступая перед коммунистами района на собрании, посвященном сбору оружия, мобилизации красногвардейцев, устройству перевязочных пунктов, обогревалок и кипятильников, установлению прочной, надежной связи и взаимодействия между красногвардейскими отрядами и революционными солдатскими полками.

Как, откуда пришли эти слова?

Это Владимир Ильич Ленин в «Письме к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области», провозгласил, что час действия настал, что «промедление смерти подобно!».

Утро 24 октября застало меня на Выборгской стороне.

Сначала я бегала по делам Союза рабочей молодежи, потом оказалась в районном комитете партии. Там было полно народу. Все время прибегали люди с винтовками в руках. Меня усадили выписывать распоряжения об отпуске оружия, мандаты и еще какие-то бумаги.

Кругом все кипело, как в котле. Время неслось с невероятной быстротой. Было уже за полночь, когда я услышала голос Жени Егоровой:

— А вы возьмите девочку. Оно не так заметно будет.

Обернувшись, я увидела, что посреди комнаты стоит Надежда Константиновна. Она куда-то шла, и мне велели пойти с нею, а если нас остановят, отвечать, что заболела бабушка и мы идем за врачом.

Когда мы вышли, нас обступила черная ночь. С того берега, за Невой, доносились глухие звуки выстрелов. Куда и зачем мы шли, я не знала. Шли мы долго, пока не подошли к высокому дому в конце Большого Сампсониевского. Надежда Константиновна попросила подождать ее на улице. Она вернулась очень скоро, сильно взволнованная.

Лишь много позднее я узнала, что в этом доме находилась квартира Маргариты Васильевны Фофановой, где провел свое последнее подполье Владимир Ильич. В тот вечер он послал Маргариту Васильевну с письмом к членам Центрального Комитета партии — тем знаменитым письмом, которое начинается словами: «Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно».

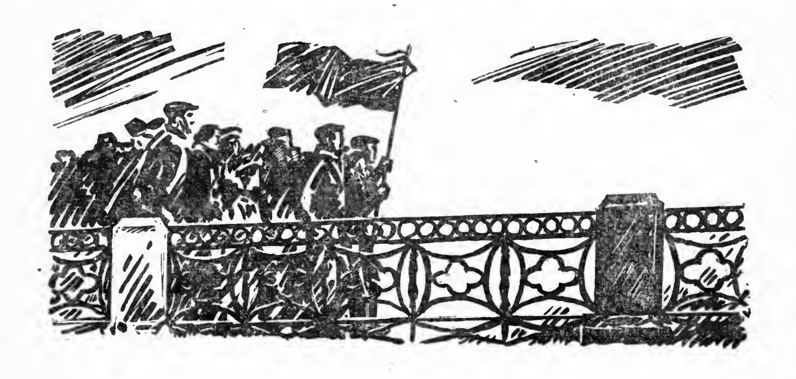
Не дождавшись возвращения Фофановой, Владимир Ильич ушел в Смольный. И вот Надежда Константиновна узнала сейчас, что Владимира Ильича нет, он ушел.

И снова мы шли по этим черным улицам. Надежда Константиновна вся сжалась, стараясь не выдать свою тревогу. Но когда мы пришли в райком, товарищи поняли по ее лицу, что случилось что-то необычайное, и кинулись

к ней. Она сказала только: «В Смольный! Скорей в Смольный...» Женя Егорова подхватила ее под руку, и они умчались на каком-то грузовике.

Светать еще не начинало, но понемногу мрак сделался мутным, из темноты медленно выступили очертания домов. Когда мы вышли к Неве, на востоке занялась серая заря и можно стало различить гранитные ступени, низко осевшие баржи и тяжелый свинцовый блеск воды.

На Литейном мосту у конца, прилегающего к Выборгской стороне, дежурили красногвардейцы из отряда Патронного завода. С рабочей смекалкой они догадались снять с мостового механизма шестерни, шпонки и ручки. Поэтому Временное правительство, которое развело почти все мосты, чтоб отрезать рабочие окраины от центра города, Литейный мост развести не смогло.



На том конце моста у костра чернели фигуры солдат Керенского. Их окружали рабочие. Шел яростный спор. Рабочие уговаривали солдат перейти на сторону народа.

В Смольный мы попали часам к десяти утра 25 октября. Решетчатые ворота были раскрыты, прямо напротив них дежурил броневик. Вокруг здания были выложены штабеля дров; в случае вооруженной борьбы они послужили бы укрытием. Внизу, у колоннады, подняли вверх свои жерла пушки, рядом с ними — пулеметы. Длинные гулкие коридоры были запружены красногвардейцами, солдатами, матросами. Слышался лязг оружия, стук винто-

вочных прикладов, слова команды, говор, восклицания. Все кругом двигалось, шумело, кричало, требовало, действовало. «Хаос»,— сказал бы сторонний наблюдатель. Нет, не хаос, ибо каждая частица, подобно попавшим в зону действия магнита молекулам железа, действовала согласно с господствовавшей надо всем волей рабочего класса.

Жизнь словно превратилась в сплошной летящий день. События неслись, сменяя одно другое. Но были в их потоке минуты, которые навеки врезались в память того, кто их пережил: это те минуты, когда в зале заседания Петроградского Совета появился Владимир Ильич Ленин и быстро прошел к трибуне и все вскочили со своих мест и кричали от восторга, а потом, когда он остановил движением руки бурю приветствий, затаив дыхание слушали Владимира Ильича: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась...», а когда Владимир Ильич кончил, снова самозабвенно кричали и пели «Интернационал», и Владимир Ильич пел вместе со всеми, и рядом с ним стоял солдат с забинтованной головой, и у них обоих, и у всех кругом были такие бесконечно счастливые, вдохновенные лица!

ТАМ В СМОЛЬНОМ...

Двадцать шестое октября, седьмой час утра. Я вышла из Смольного. Было еще темно, небо едва начало синеть. Только из окон Смольного лился свет.

То совсем рядом, то вдалеке слышались беспорядочные выстрелы. Ныряя по ухабам, проносились грузовики, переполненные вооруженными красногвардейцами. Трещали мотоциклы; это самокатчики развозили срочные приказания Военно-революционного комитета.

Несмотря на ранний час, на улицах было оживленно. Буржуев — никого. Солдаты, матросы, рабочие. Перед булочными женщины с кошелками.

На Таврической улице, около подъезда нарядного дома, собралась небольшая толпа. Подойдя, я увидела рябого матроса с пулеметной лентой через плечо. Приставив винтовку к стене, он держал на весу завернутого в тряпье грудного ребенка.

Какая-то несчастная мать в эту великую ночь не видела ничего, кроме своего горя, своей безысходности. Она

подкинула ребенка в подъезд. Проходивший мимо красногвардейский патруль подобрал его.

Толпа гудела: «В воспитательный дом...», «В приют...», «В милицию, тут за углом...»

Матрос не слушал. Он тяжело задумался. По изрытому оспой лицу катились крупные капли пота.

Ребенок запищал.

— Не тужи, мало́й,— сказал матрос.— Жизня теперь наша.

И, обращаясь к толпе, добавил:

— В Смольный я его понесу. Там решат... Там все решат.

Он был прав, этот матрос. Там, в Смольном, в этот час решалось все: и судьба человечества, и судьба этого маленького комочка.

КОТЕЛОК



РАССКАЗ О НЕИЗВЕСТНОМ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕ

Среди участников октябрьского штурма был один красногвардеец, который своей революционной бдительностью помог революции отвести подготовленный ее врагами предательский удар в спину.

Как звали этого красногвардейца? Этого не знает никто. Вот что говорится о нем в листовке Военно-революционного комитета, изданной 29 октября 1917 года:

«В то время как темные банды, руководимые Керенским, пытаются прорваться к Петрограду, в самом городе наемники и прислужники контрреволюции организовали заговор. Их план состоял в том, чтобы в ночь с 28-го на 29-е захватить все важнейшие пункты в городе и выпустить из Петропавловской крепости арестованных министров... В центре заговора стоял так называемый комитет спасения... жалкие и презренные заговорщики, наемники буржуазии, помещиков и генералов, готовили руками корниловцев разбойничий удар... Заговорщики, не имея никакой опоры ни в гарнизоне, ни в рабочем населении, надеялись исключительно на внезапность удара. Но план их оказался своевременно раскрыт комиссаром Петропавловской крепости прапорщиком Благонравовым, благодаря революционной бдительности красногвардейца, имя которого будет установлено...»

Было ли потом установлено это имя? Видимо, нет. Но о том, какую услугу оказал революции этот красногвардеец, известно. Об этом рассказал несколько лет спустя Георгий Благонравов на страницах журнала «Пролетарская революция».

В ночь с 28 на 29 октября Благонравов находился в Петропавловской крепости. Часов около трех ночи в дежурную пришли патрульные красногвардейцы, которые

привели двух человек: одного высокого военного в лохматой шапке, а другого маленького — штатского. Начальник патруля доложил об обстоятельствах, при которых были задержаны эти господа.

Примерно за час до того штатский приехал на автомобиле к дворцу Кшесинской. Автомобиль остался ждать, а он отправился во дворец. Патрулю это показалось подозрительным, и он начал наблюдать за тем, что последует. Несколько времени спустя он увидел, как штатский вышел из дворца в сопровождении военного. Они сели в машину, автомобиль тронулся, но в этот момент был остановлен патрулем. Обоих граждан доставили в Петропавловскую крепость. По дороге штатский пытался что-то выбросить из кармана, но красногвардейцы заметили и помешали.

Благонравов и его помощники пристально разглядывали арестованных. Военный был сильно взволнован и все время озирался по сторонам. Штатский вел себя спокойно, но был очень бледен. Этот штатский оказался членом ВЦИКа, правым эсером Брудерером.

По приказу Благонравова арестованные были тщательно обысканы. Из их карманов извлекли большое количество разных документов. На некоторых виднелись свежие надрывы, другие были скомканы. Благонравов стал просматривать вынутое. Дело начало разъясняться. Первая развернутая Благонравовым бумага была приказом подполковника Параделова о выступлении утром 29 октября против советского правительства; далее шла дислокация частей, которые должны были принять участие в восстании. Командующим войсками мятежников был полковник Полковников.

Основной силой подготовлявшегося восстания были воспитанники юнкерских училищ.

Только два дня тому назад эти самые юнкера, проявив весьма мало доблести, защищали Зимний дворец от революционного народа. Едва их шкурам стала угрожать непосредственная опасность, они сдались, униженно моля о пощаде. Они просили отпустить их на честное слово, клялись, что никогда не подымут оружия против власти Советов.

Это слово было не словом чести, а бесчестия. Великодушно отпущенные на свободу, юнкера тут же начали готовиться к вооруженному выступлению и контрреволюционному перевороту.

Все это сразу понял Благонравов из документов, обнаруженных у арестованных. Не медля ни минуты, он отправился в Смольный. В Военно-революционном комитете он нашел Николая Ильича Подвойского.

Никогда Благонравов не видел Подвойского в такой ярости, как после того, как рассказал ему о предстоящем восстании. Подвойский быстро пробежал глазами документы, и несколько минут спустя во все районные Советы, воинские части и на заводы полетело предупреждение о раскрытой подготовке мятежа с точным указанием юнкерских училищ и казачьих частей, которые должны были принять в нем участие.

В итоге мятежники еще до начала мятежа потеряли важнейший фактор успеха — внезапность нападения. Выйдя на улицы, они, неожиданно для себя, наткнулись на подготовленное сопротивление войск Военно-революционного комитета. К концу дня мятеж был полностью подавлен, а участники его арестованы.

Такова была бесценная услуга, оказанная революции неизвестным красногвардейцем из патруля, охранявшего район Петропавловской крепости. Сколько было их, таких неизвестных героев, которые на мгновение появлялись в Смольном, чтоб получить оружие, сообщить о подозрительных лицах, сдать арестованных — и снова вернуться в бой!

Особенно запомнился мне один из них — питерский паренек, обычный питерский рабочий паренек в пальто на рыбьем меху.

Увидела я его на четвертый или пятый вечер после Октябрьского переворота. Разыскивая нужного мне товарища, я зашла в Военно-революционный комитет. Помещался он на третьем этаже Смольного. В большой комнате с полукруглыми окнами как попало были расставлены столы, за которыми сидели работники комитета. К ним протискивались люди, только что вырвавшиеся из самой гущи борьбы. Один просил патронов, другой передавал последние донесения о действиях врага, третьему нужен был хлеб для сражающихся бойцов революции.

В задней комнате шло заседание Военно-революционного комитета. Впрочем, можно ли словом «заседание» назвать то, что там происходило?

Повестки дня не было, ее диктовала непрерывно врывающаяся жизнь. Предложения тут же переплавлялись в решения, решения — в приказы. Написанные ученической ручкой, чернилами из школьной чернильницы-непроли-

вайки или же отстуканные на старенькой машинке, эти приказы порой уже несколько минут спустя звучали на улицах на чеканном языке пулеметов.

Здесь не было ораторов и докладчиков. Рабочего, просившего для своего отряда «хоть одну пушчонку», сменял солдат, прибывший из-под Красного Села для информации о продвижении противника. И тут же всплывал вопрос о походных кухнях, о фураже, санитарных машинах, охране Эрмитажа и огнестрельных припасах, дровах для детских приютов и артиллерийской прислуге.

Керенский накапливал войска в районе Гатчины и готовился с часу на час совершить молниеносный бросок на Петроград. Шедшие за ним казаки чувствовали, что они обмануты, колебались. Видно было, что, если они поймут, в чем дело, они не станут стрелять.

Какова же была в этих условиях позиция советского правительства? О ней сказал Владимир Ильич Ленин. «Советское правительство,— заявил он,— принимает все меры к тому, чтобы предупредить кровопролитие. Если избегнуть кровопролития не удастся, если отряды Керенского все же начнут стрелять, Советское правительство не остановится перед беспощадными мерами подавления нового керенско-корниловского похода».

Все усилия Военно-революционного комитета были сосредоточены на выполнении этих указаний товарища Ленина. В арсеналах и цейхгаузах собиралось оружие. Заводскому комитету Ижорского завода было приказано доставить в Петроград все имеющиеся на заводе броневые машины. Из пехотных частей были вызваны в Смольный бомбометные команды из опытных солдат, умеющих обучать бомбометанию. У Московской заставы рыли окопы. В десятках мест готовили доски, набитые коваными гвоздями, чтобы бросать их под ноги наступающей коннице противника. Винтовки, пулеметы, боеприпасы, санитарные автомобили, агитаторы, газеты «Солдатская правда» и «Деревенская беднота», стойкие и надежные воинские части и красногвардейцы — все направлялось туда, на Гатчинский фронт.

Когда я пришла, заседание Военно-революционного комитета приближалось к концу, члены его уже готовились разъехаться по заводам и воинским частям. Но тут в комнату вбежал запыхавшийся красногвардеец.

Он был без шапки. Волосы прилипли к влажному лбу. С насквозь промокшего пальто сбегала вода.

— Товарищи,— сказал он.— Мое сообщение самое экстренное...

И, стуча зубами то ли от волнения, то ли от холода, он рассказал о том, как часа за полтора до этого стоял с товарищами на посту возле типографии, где раньше печаталась кадетская газета «Речь», и к их костру подошли трое солдат в пехотных шинелях, отрекомендовались «солдатами-хлеборобами», достали табачок, предложили закурить да стали балакать о том о сем.

— Не понравились они мне что-то,— сказал красногвардеец.— Уж больно по-деревенски разговаривают, все «чаво» да «ничаво». Да и разговор у них какой-то с расспросом. Словом, подозрительный элемент.

Покурив да поговорив, солдаты пошли дальше. Красногвардеец, прячась в тени домов,— за ними. До него донеслись обрывки нерусской речи. Его сомнения подтвердились: это были не солдаты, а переодетые офицеры или юнкера. Но что им было нужно?

Неподалеку от сожженного в первые дни революции здания Окружного суда мнимых солдат ожидал грузовик, заставленный ящиками с патронами. Солдаты забрались в переднюю часть кузова. Пользуясь темнотой, красногвардеец уцепился за борт рванувшего с места грузовика, перелез в кузов, спрятался за ящиками.

Проехав несколько улиц, грузовик повернул, замедлил ход и остановился около каких-то казарм. Раскрылись ворота, грузовик въехал во двор. Приткнувшись к борту, красногвардеец сквозь щели смотрел на то, что творилось кругом.

Здесь шла поспешная подготовка к выступлению. По двору сновали офицеры и юнкера, выкатывали орудия, из конюшен выводили лошадей с обернутыми паклей копытами, на повозки грузили снаряды.

Все остальное могло удаться только вчерашнему питерскому мальчишке, привыкшему лазить по крышам и кататься на трамвайной «колбасе». Он не рассказывал, как выбрался из казармы, но по его пальто было видно, что он побывал и в воде и под пулями.

Что означали принесенные им сведения? Подготовку нового антисоветского мятежа? Попытку группы офицеров и юнкеров тайно покинуть Питер и присоединиться к войскам Керенского или уйти на Дон, к Краснову?

Военно-революционный комитет тут же принял меры, чтобы разоружить и уничтожить вновь открытое контрреволюционное гнездо.

— А где же товарищ красногвардеец?— спросил вдруг один из членов Военно-революционного комитета.— Пусть он хоть чаю попьет.

Но красногвардейца уже не было. Выполнив свой долг, он исчез так же, как и появился, не назвав даже своего имени.

ЗЕЛЕНАЯ ТРЕХРУБЛЕВКА

Юнкерский мятеж был подавлен, но Смольный продолжал кипеть; по-прежнему через него катился непрерывный поток рабочих, солдат, матросов. В этом потоке кружилась и я,— проталкиваясь через толпу, бегала с этажа на этаж, передавала распоряжения, то печатала на машинке, то писала от руки. Иногда из Смольного меня посылали на заводы и в воинские части — узнать положение дел, сообщить, что срочно нужны люди и оружие.

Как-то в один из этих дней, наскоро читая вместе с товарищами свежий номер «Правды», я заметила новую подпись под напечатанным на первой странице приказом Военно-революционного комитета: «Секретарь Военно-революционного комитета Петроградского Совета С. Гусев».

— Ребята,— сказала я.— Так это ж мой отец.

Но мое «открытие» не заинтересовало никого, в том числе и меня.

Уже после революции я узнала от мамы историю моего таинственно отсутствовавшего отца — того бородатого человека, который приходил к нам под именем Муромского. Ее рассказ прошел мимо меня: я была поглощена происходившими кругом событиями, а всякий интерес к семейным делам считала мелкобуржуазным мещанством. И сейчас, увидев подпись «С. Гусев», я через минуту забыла об этом.

Не знаю, когда б мы с ним встретились, если бы не случайность.

Февральская революция застала отца в Финляндии. В дни Октября он доставил в Питер большую партию винтовок и патронов, а потом стал секретарем Военно-

революционного комитета и на протяжении нескольких суток работал без сна и отдыха.

Примерно на четвертый день после Октябрьского переворота в Смольный привезли из какого-то полка солдатскую походную кухню и стали раздавать обед. Обед состоял из миски щей и миски каши; вместе с хлебом он стоил три рубля. Столовую устроили в нижнем этаже, в помещении для обслуживающего персонала бывшего Института благородных девиц. Там стояли длинные столы, покрытые клеенкой, а в стене было устроено окно для выдачи пищи.

Дверь столовой все время открывалась и со стуком захлопывалась, в воздухе плавали клубы пара и махорочного дыма, вкусно пахло капустой и свежим ржаным хлебом. У меня, на счастье, оказалось ровно три рубля. Я получила обед, уплатила деньги, съела щи, съела кашу, съела хлеб и почувствовала, что умираю — хочу есть!

Горестно размышляя, где б перехватить трешницу, я продолжала сидеть за столом. В это время в дверях показался невысокий бритый человек, окруженный толпой народа. Все ему что-то говорили, о чем-то просили. Человек этот, разговаривая на ходу, получил обед и сел за стол. Одной рукой он держал ложку и хлебал щи, а другой брал бумаги, которые ему совали, читал их, подписывал карандашом.

Вдруг я услышала, как кто-то к нему обратился:

— Товарищ Гусев!..

«Эге,— сообразила я.— Это мой отец!»

И, совершенно не думая о том, что делаю, я встала, обошла стол, протиснулась к Гусеву и сказала:

— Товарищ Гусев, вы мне нужны.

Он повернул ко мне утомленное лицо с красными от бессонницы глазами.

— Я слушаю вас, товарищ!

— Товарищ Гусев,— сказала я.— Я ваша дочь. Дайте мне три рубля на обед.

Он находился, видимо, на таком пределе усталости, что из всего сказанного мною до него дошла только просьба о трех рублях.

— Пожалуйста, товарищ,— сказал он.

Сунув руку во внутренний карман пиджака, он достал бумажник, вытащил новенькую хрустящую зеленую трехрублевку и протянул мне.

Я взяла, поблагодарила, получила еще один обед, съела и, почувствовав себя более или менее сытой, отправилась в штаб Красной гвардии Выборгской стороны.

Мы с отцом забыли бы об этой встрече, но кто-то, очевидно, подсмотрел ее и рассказал товарищам. Дошло это и до Владимира Ильича, и он потом не раз заставлял меня снова и снова изображать в лицах, как это я подошла, да как сказала, что, мол, я ваша дочь, да как отец дал мне трешку, да как я потом уселась есть второй обед,— и сам смеялся так, как он умел смеяться!

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»

В тот вечер мы впервые собрались в реквизированном нами для Союза рабочей молодежи помещении игорного дома, неподалеку от Лиговки. Как я теперь понимаю, это был гнусный притон, пропахший пылью и старыми винными бутылками. Но тогда его облепленный позолотой зал, в котором мы решили устроить клуб, и красная бархатная отделка отдельных кабинетов казались нам прекрасными.

Мы сидели в угловой комнате второго этажа. У окна темнел пулемет, винтовки мы держали между колен. Шел страстный спор о том, будет ли при коммунизме существовать любовь.

Большинство склонялось к мнению Моньки Шавера, что при коммунизме люди будут жить высокими общественными интересами и для такого мелкого чувства, как любовь одного мужчины к одной женщине и одной женщины к одному мужчине, там места не будет. Только Саша Лобанов, хмуро глядя перед собой, упорно повторял: «Не может быть, чтобы коммунизм — и без любви. Не может...» Но это, конечно, потому, что сам он был влюблен в Олю Маркову.

Вдруг тяжелая бархатная портьера откинулась. Ветер качнул люстру, и тысячи огней заплясали среди трещин пробитого пулей зеркала.

В двери стоял Леня Петровский. Шапка его была сдвинута на затылок, шинель расстегнута.

— Товарищи! — сказал Леня.— Нас вызывают в Чека. Немедленно... На всю ночь...

Монька вскочил, опрокинул стул, уронил винтовку.

— Эх, рассыпался горох по белой тарелке,— насмешливо сказал Федя Шадуров, затягивая ремень с подсумком.

Как и всегда, Федя был подчеркнуто спокоен. Впрочем, в его возрасте — ему уже стукнуло двадцать!— оно и понятно.

— Пошли, ребята!.. Леня!

Но Леня спал, неудобно прислонившись к пухлому гипсовому амуру. Правой рукой он сжимал кобуру с наганом, левая висела бессильной плетью.

— Ленька, проснись!

— Мама, минутку, только минуточку...

— Ишь ты, соски захотел... А ну, просыпайся, леший!

На лестнице мы построились цепочкой, как ходили обычно по городу: впереди Леня, замыкал Федя, я — посредине. Пулемет с двумя пулеметчиками остался в клубе, остальное наше оружие, включая поломанные револьверы-«бульдожки», было при нас.

— Только, чур, ни с кем не связываться,— предупредил Леня.

Поземка струйками несла снег, завихривалась водоворотами. Фонари не горели. Высоко в небе, между редкими зимними тучами, прыгала маленькая луна. А тут внизу, по Лиговке, по Невскому, черным по черному ползла и ворочалась густая бесформенная толпа.

Мы шли по кромке тротуара, и ненависть клокотала у нас в душе. Вся грязь большого города сползлась сюда — вот она, рядом с нами: спекулянты, царские офицеры, мародеры, проститутки, бандиты, переодетые юнкера.

До нас доносились выкрики, взлетавшие над гулом толпы, как брызги над пеной прибоя:

— Все на дым!..

— Эй, борода!..

— Каледин придет... Каледин покажет...

— Вечерняя газета «Биржевые ведомости»!

— Ни маслица, ни бублика, поздравьте нас с республикой!

— Журнал «Трепач»! Газета «Вечерний час»!

— Гляди на голенище, гляди, какое голенище...

— Серость... Темнота... Хамы...

— Пожалуйте царскими, керенок не берем...

— Газета «Славия»! Газета «Славия»!

Порой случайный луч света, отброшенный карманным фонариком или раскрытой дверью кинотеатра,

выхватывал из этой ползущей смутной тьмы отдельные кадры: долговязого офицера в кавалерийской шинели со споротыми погонами; барственную поступь господина из бывших; торгующую газетами дамочку в каракулевом манто; настороженную спину карманника; протянутый поперек Невского бьющийся на ветру кумачовый плакат: «Вся власть Учредительному собранию!»

— Расшевелились, гады,— сквозь зубы сказал Федя Шадуров.— Прямо как нечистая сила в ночь перед рождеством.

В эту ночь в Петроградскую Чрезвычайную комиссию вызвали около двухсот красногвардейцев из всех районов города. Собирались в огромной пустой комнате, где не было ничего, кроме стола и скатанных ковров, уложенных вдоль стен.

Ровно в одиннадцать, минута в минуту, вошел Дзержинский, весь как натянутая струна.

— Начинаем,— сказал он.— Времени у нас очень мало. Товарищи! Нам известно, что в Петрограде существует крупная контрреволюционная организация. Несколько раз нам удавалось напасть на ведущие к ней нити, но эти нити неизменно терялись в иностранных посольствах. Два дня назад к нам пришел солдат, фамилию которого я пока не назову, и сообщил, что некто, в прошлом монархист, а теперь правый эсер, член «Комитета георгиевских кавалеров», предложил ему захватить или убить товарища Ленина, пообещав за это двадцать тысяч рублей.

По заявлению солдата были произведены обыски и аресты. При обыске найдено письмо, раскрывающее организацию, задача которой — подготовить вооруженное монархическое восстание в Петрограде. Найдена записная книжка с адресами заговорщиков. Их основное ядро составляют офицеры, группирующиеся в организациях «Белый крест», «Военная лига», «Союз белого орла», «Лига личного примера». Они вербуют сообщников, создали запасы оружия, поддерживают связь с Доном. По их сигналу должен быть поднят мятеж, захвачен Смольный, убит товарищ Ленин, социалистическая революция утоплена в крови.

Товарищи! Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Если мы не отрубим голову контрреволюции, это будет стоить нам нашей собственной головы.

Сегодня ночью, товарищи, мы проводим ликвидацию контрреволюционного отребья и призвали вас на помощь...

Полчаса спустя мы уже мчались в сумасшедшем грузовике куда-то в конец Каменноостровского. Мимо, мимо летели дома, столбы, мосты, перекрестки. Сердце охвачено было каким-то лихим чувством, в котором перемешивались и радость и страх. Чуточку царапало воспоминание о том, как командир нашей группы, пожилой рабочий Кузьмичев, сказал: «Товарищ Дзержинский, ну куда же ты мне этих пацанов желторотых даешь?», и хотелось совершить необыкновенный подвиг, и мерещились таинственные подвалы и пещеры, которые сейчас раскроются перед нами.

Но раскрылась не пещера, а обыкновенная дверь с черного хода барского дома. Вошли. Людская. На полу вповалку спала мужская прислуга. Женская прислуга, также вповалку, спала на кроватях за вылинявшей ситцевой занавеской.

Моня и Федя заняли оба выхода — на лестницу и в комнату. «Именем пролетарской революции...» — сказал Кузьмичев, предъявляя ордер на обыск и арест гражданина бывшего графа Воронцова, а также на обыск и — по результатам — арест его жены, гражданки бывшей графини Воронцовой.

На лицах кругом нас проступил испуг. Седой усатый старик трясущимися руками натягивал камзол.

— Это называется старший дворецкий,— шепотом пояснила я, как самая образованная из всех наших насчет аристократических обычаев.

Леня нес зажженный фонарь. Мы шли по запутанным душным коридорам, цепляясь винтовками за замки и запоры, мимо барской кухни с кафельными стенами, мимо бесчисленных кладовых; прошли одну дверь, вторую, третью — и вдруг, словно в сказке, попали в иной мир.

Наши ноги утопали в чем-то мягком и глубоком, будто мох в старом хвойном лесу. Мы вдыхали воздух, напоенный ароматом. Через распахнутые двери мы видели высокие комнаты с окнами, затянутыми парчовыми занавесями, матовый блеск красного дерева, рамы потемневших старинных картин, зеркала, ковры.

Наконец мы подошли к спальне. В нее вела закрытая портьерой двойная дверь, перед которой, скорчившись в кресле спала камеристка. Она уже проснулась и встретила нас волчьим взглядом.

— Разбудите барыню и барина,— сказал дворецкий. Он произнес эти слова с таким страхом, словно речь шла о том, чтобы взорвать дом.

— И не подумаю!— закричала камеристка.— Хамы, жиды, мужичье, разбойники!

Кузьмичев потемнел от гнева.

— А ну, брысь отсюда,— сказал он.

Камеристка вцепилась в портьеры, как разъяренная кошка. Ее пришлось отрывать силой. Когда ее наконец увели, Кузьмичев попытался отворить дверь, но она была уже заперта изнутри.

Он застучал кулаком.

— Отворяйте немедленно. Отворяйте, слышишь? Иначе выломаю.

Молчание.

— Ну-ка, навались, ребята,— велел он нам.

Но дверь внезапно распахнулась. Перед нами появилась графиня Воронцова. Ее узкие серые глаза были налиты холодным презрением.

— Что вам угодно, господа?

— Пустите!— потребовал Кузьмичев, отталкивая ее и бросаясь в спальню.

Свет фонаря пробежал по возвышающейся, словно трон, широкой кровати, по небрежно раскиданным подушкам, трельяжам, хрустальным подвескам. Я шарила в темноте, ища выключатель, нашла, повернула. Свет, на счастье, горел. Но графа Воронцова здесь не было.

— Где муж?— грозно спросил Кузьмичев.

Графиня величественно усмехнулась.

— Он уехал.

— Так мы и поверили!..

Мы заглядывали под кровать, переворачивали тюфяки, ощупывали стены. Все зря.

— Обыщи ее,— приказал мне Кузьмичев.

— Меня?

Я подошла к графине. Ее лицо было перекошено такой злобой, что мне стало не по себе. Кузьмичев это заметил.

— Выполняй приказ,— сказал он.— Поторапливайся.

Я положила руки на плечи графини, и мы обе задрожали от ненависти и отвращения: она — ко мне, к моим шершавым обветренным рукам; я — к ней, к этому гибкому змеиному телу с шелковой кожей.

— Ищи,— повторил Кузьмичев.— Ищи!

Превозмогая себя, я проверяла каждую сборку пышных кружев. Вдруг я почувствовала, что графиня почему-то

прижимает к себе левый локоть. Я слегка потянула. Графиня сопротивлялась. Я дернула, насильно просунула руку и нащупала небольшую плотную трубочку.

— Дрянь,— зашипела графиня.— Ты делаешь мне больно.

Она пыталась оттолкнуть меня. Я ее не выпускала.

— Берегись!— крикнул Леня.

Леня, друг мой Леня! Четверть века спустя, попав в окружение в дни Великой Отечественной войны, ты, прославленный генерал Советской Армии, усадил на присланный за тобой самолет раненых бойцов, а сам остался на поле боя и погиб, убитый фашистами.

Так и тогда, при аресте Воронцовых, ты бросился ко мне и прикрыл меня своим телом. На какую-то долю секунды я увидела высунувшееся из прорези в обоях дуло револьвера. Раздался выстрел, пуля пробила твою шинель, но мы оба крепко держали графиню.

На этом операция, по существу, была закончена. В наших руках был граф Воронцов, выдавший себя выстрелом из тайника, и свернутые трубочкой адреса, явки, шифры, списки контрреволюционной организации. Оставив часть людей для производства тщательного обыска, мы повезли наших графов в Чека.



Вышли мы снова через людскую. Там горела керосиновая лампа, и, окруженный графской прислугой, Моня Шавер, сидя на столе, держал речь о задачах пролетариата в мировой революции.

Снова мимо нас замелькали дома, столбы, мосты, перекрестки. В Чека уже было полно народу. Комендант, щуря покрасневшие от бессонницы глаза, принял от нас арестованных.

Все! Мы свободны.

— Ну вот,— сказал Кузьмичев, прощаясь с нами.— Дожили, что буржуи ножки съежили.

Мы возвращались по опустевшему Невскому. Ветер по-прежнему трепал протянутый от здания к зданию кумачовый плакат, да на углу Литейного, около кинотеатра «Солей», копошились остатки толпы.

Время до утра мы решили провести в клубе. Кое-как вскипятили в камине чайник. Было так приятно потягивать из жестяной кружки кипяток, отдающий ржавчиной. Разговор вертелся, конечно, вокруг событий прошедшей ночи.

Как всегда у нас, разговор перешел в спор, на этот раз о том, почему стрелял граф Воронцов.

Монька сказал: «По классовой ненависти».

Леня сказал: «Чтобы спасти документы».

Я сказала: «Из-за любви к графине».

И тут мы снова вернулись к тому, с чего начали этот вечер: будет ли в коммунистическом обществе существовать любовь?

Но вопрос этот так и остался нерешенным: несколько минут спустя сторонники обеих точек зрения крепко заснули, прижавшись друг к другу, чтоб хоть немного согреться.

«СГУЩЕНИЕ НАУКИ»

У нас с мамой не было своей квартиры, и мы снимали комнату у вдовы чиновника министерства финансов, маленькой старушонки, никогда не расстававшейся с вышитой бисером сумочкой.

У нее был еще один жилец, служащий городской продовольственной управы. В 1905 году он примыкал не то к правому крылу какой-то левой партии, не то к левому крылу какой-то правой партии. Побывал в ссылке, считал себя «старым революционером», но меньше всего на свете походил на какого бы то ни было революционера — бывшего, настоящего или будущего.

Отношения с ним у нас установились враждебно-вежливые. Мы не разговаривали, даже не раскланивались. Но так как ни его, ни нас целыми днями не бывало дома, до поры до времени все обходилось.

После Октябрьской революции этот «старый революционер» принял участие в саботаже интеллигенции, перестал ходить на работу и целыми днями бурчал в своей комнате проклятия по адресу большевиков. Теперь он завел новую привычку: накупив кучу контрреволюционных газет, он отчеркивал красным и синим карандашами наиболее резкие выпады против советской власти и подсовывал эти газеты нам под дверь.

Сначала мы злились, но потом подумали, что это совсем неплохо: не покупая контрреволюционных газет и не оказывая им тем самым материальной поддержки, мы оказались в курсе деятельности контрреволюционной прессы, а самые интересные газеты относили в Смольный.

Однажды под вечер я сидела дома. Раздался звонок. Я открыла дверь. Это Саша Лобанов, слесарь с завода «Артур Клайд», зашел, чтобы позвать меня на заседание районного комитета Союза рабочей молодежи. Он пришел прямо с завода, в замасленном рабочем костюме.

Саша сильно замерз. Время у нас еще было, и я предложила ему выпить чаю. Он охотно согласился.

Оставив его в своей комнате, я ушла на кухню. Вернулась с горячим чайником. Увидела, что Саша стоит около книжного шкафа.

— Это все твои?— спросил он.

— Мои.

Я разделила пополам кусочек хлеба, мелко наколола сахар.

— Ты их все прочла?

— Ну что ты!

Большеголового, неуклюжего Сашу у нас прозвали «Сашка Мечтатель». В июльские дни он вместе с большой группой рабочих ворвался на заседание меньшевистского ЦИКа и потребовал слова. Когда растерянный Чхеидзе это слово ему дал, Саша поднялся на трибуну, держа в руках винтовку. Напрасно Чхеидзе уговаривал его оставить винтовку внизу, Саша так и произнес свою речь, не выпустив ее из рук.

Ему нужен был коммунизм — и больше ничего. «Мечтателем» мы прозвали его потому, что его мысли были постоянно заняты фантастическими проектами ускоренных способов построения коммунизма.

Вот так и сейчас. Не притронувшись к хлебу, Саша жадно отхлебнул несколько глотков горячего чая и сказал:

— Послушай, а нельзя сделать такое сгущение науки, чтобы все книги разом понять?

— Наверно, нельзя.

Саша огорчился:

— Вот так помрешь, а половину книг прочитать не успеешь.

В коридоре послышались осторожные шаги, и я увидела уголок газеты, влезающий под дверью,— очередную почту соседа.

— Что это?— спросил Саша.

— Да так, ерунда.

Я нагнулась и вытащила из щели газету «Вечерний час» с густо обведенной красным карандашом статьей хлесткого литератора Бор. Мирского.

«...Бунтовщик рабочий,— писал Бор. Мирский,— не сегодня-завтра в Академии наук устроит, пожалуй, слесарную мастерскую и разместит ассенизационный обоз в актовом зале университета. Он раздаст библиотеки на цигарки, перешьет полотна Рубенса в портки, а в химических лабораториях вместо поисков радия будет творить самогонку...»

Саша засмеялся и снова подошел к книжному шкафу.

— Если доживу до коммунизма, прочту...— сказал Саша.

Но он не дожил до коммунизма. Посланный летом 1918 года в Тамбовскую губернию с отрядом за хлебом для голодного Питера, он попал в руки озверевшего кулачья и был живым закопан в землю.

НАША ВЗЯЛА!

Уже с вечера 4 января 1918 года центральные улицы города повеселели: завтра должно было открыться Учредительное собрание. Большинство в нем принадлежало правым эсерам и меньшевикам. «Конец Совдепии»,— ликовали на Невском.

Наутро 5-го возбуждение в городе продолжало нарастать. «Сегодня гиены капитала и их наемники хотят вырвать власть из рук Советов!»— писала «Правда». Буржуазные газеты вышли с шапками, требовавшими передать всю власть Учредительному собранию.

На улицах, прилегающих к Таврическому дворцу, собирались кучки щеголеватых студентов и офицеров, пе-

реряженных в штатское платье. У многих из них в руках были свернутые знамена, изредка красные, большей частью белые. Только и слышалось: «Конец Совдепии! Конец большевикам!»

Но Смольный вопреки всему продолжал жить своей обычной жизнью. Со всех концов города к нему тянулись рабочие, солдаты, красногвардейцы. Как и всегда, было полным-полно забот о хлебе, оружии, детях, заработной плате для рабочих, дровах для школ, молоке для больниц.

А тут ко всему прибавилась Учредилка!

— Слушай, не возьмешь ли ты штук пять гостевых билетов?— спросил меня товарищ, работавший в Смольном.— Возьми-ка, а? Поведешь ребят из вашей рабочей молодежи. Событие, так сказать, историческое.

— Ладно, давай!

В назначенный час мы были в Таврическом дворце. Наши гостевые места находились на хорах. Весь зал, построенный амфитеатром, был перед нами как на ладони. Мы уселись слева от председательствующего, как раз над теми скамьями, которые должны были занять большевики.

Зал был еще пуст, заседали фракции. Но вот часам к трем появились правые эсеры. По ним было видно, что они уже чувствовали себя хозяевами: здесь, мол, за ними подавляющее большинство; там, на улице, подготовлена демонстрация, которая превратится в вооруженное восстание. Восставшие захватят Смольный, арестуют Совнарком, завладеют государственной властью.

Эсеры шумно заняли места на крайней правой. Правее них жалось только несколько кадетов. Слева от эсеров разместилась фракция меньшевиков. Потом уселись непрерывно переговаривающиеся левые эсеры. Последними вошли большевики. Спокойные, веселые, они заняли крайнюю левую часть зала.

Все охвачены нетерпеливым ожиданием. Сейчас грянет бой...

И вот он начался! На скамьях правых эсеров вскочил депутат Лордкипанидзе и резким гортанным голосом предложил от имени своей партии, чтобы Учредительное собрание открыл старейший из его членов. Слева зашумели, послышались свистки, справа и в центре раздались рукоплескания, и на трибуну — как это было подстроено — взобрался грузный седой правый эсер Швецов.

Шум усилился. «Долой! Самозванец!»— стуча ногами и барабаня по пюпитрам, закричали большевики (и мы на

хорах вместе с ними). Швецов взял колокольчик и начал звонить, призывая собрание к порядку. Но мы уже видели, что по ступенькам, ведущим к председательскому месту, поднимается Яков Михайлович Свердлов.

Он поднимался таким ровным, будничным шагом, как будто за его спиной не бесновалась тысячная толпа, готовая его растерзать. Подойдя к Швецову, Яков Михайлович движением левого плеча отодвинул его и спокойным голосом, разом перекрыв весь шум и крики, сказал:

— Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов поручил мне открыть Учредительное собрание.

Недаром Дмитрий Захарович Мануильский, шутливо перечисляя «семь большевистских чудес света», назвал в их числе голос Якова Михайловича Свердлова. Он действительно был чудом, этот могучий низкий голос, звучный, полновесный, лившийся над толпой, подобно звону большого медного колокола. И не меньшим чудом была несокрушимая воля его обладателя.

Напрасно бесились на правых скамьях, пытаясь принудить Свердлова уйти с трибуны. От имени Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, представляющих трудовое большинство народа, Яков Михайлович Свердлов предложил Учредительному собранию признать все декреты и постановления Совета Народных Комиссаров и принять декларацию, которая объявляла Россию республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, учреждаемой на основе свободного союза свободных наций.

Земля отбирается у помещиков и без выкупа передается крестьянам — говорила декларация. Банки передаются государству, на фабриках и заводах вводится рабочий контроль. Советское правительство разрывает тайные договоры и во что бы то ни стало добивается справедливого демократического мира между народами.

— Если Учредительное собрание правильно выражает интересы народа,— сказал Свердлов,— оно присоединится к этой декларации. Объявляю Учредительное собрание открытым и предлагаю выбрать председателя.

— Вся власть Советам!— закричали слева.— Да здравствует Советская республика!

Тут снова вскочил Лордкипанидзе и предложил избрать председателем Учредительного собрания лидера

правых эсеров Виктора Чернова, угрожая разрывом, если Чернов не будет избран.

От имени большевиков выступил Скворцов-Степанов.

— Граждане, сидящие направо!— сказал он.— Разрыв между нами уже давно совершился. Вы находитесь по одну сторону баррикады — с белогвардейцами и юнкерами, мы находимся по другую сторону — с солдатами, рабочими и крестьянами. Между нами все кончено.

На левых скамьях возгласы одобрения, справа вой, крики, топот. И, словно аккомпанируя этому шуму, с улицы послышались взрывы бомб и ружейные залпы. Это контрреволюционные демонстранты, бросая бомбы, пытались прорваться к Таврическому дворцу, но были рассеяны красногвардейцами.

Приступили к выборам председателя. Голосовали шарами. Яков Михайлович Свердлов объявил результаты голосования: большинство голосов получил Чернов.

— Прошу занять место,— сказал Свердлов.

Чернов вспорхнул на председательскую кафедру, обвел собрание своими косящими глазами и заговорил. Он говорил, говорил, говорил. Говорил час, говорил два, кончил говорить на третьем. Говорил обо всем на свете. Говорил о своей партии так, как будто бы не было презренного опыта ее пребывания у власти; говорил о большевиках так, словно за ними не шло большинство трудового народа. Он говорил о чем угодно, но только не о той декларации, высказаться о которой предложил Учредительному собранию верховный орган власти Советов.

Наконец поток черновского красноречия иссяк. Тогда большевики поставили вопрос в упор:

— Намерено ли Учредительное собрание принять предложенную ему декларацию или же нет? Признает ли Учредительное собрание советские декреты о земле, мире, рабочем контроле и прежде всего признает ли оно власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов или же нет? А поскольку Учредительное собрание отказывается от признания власти Советов, оно бросило этим вызов всей трудящейся России. Контрреволюционное большинство Учредительного собрания, избранное по устаревшим партийным спискам, выражает вчерашний день революции и пытается встать поперек дороги рабочему классу и крестьянству. Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов революции и народа, фракция большевиков заявляет, что она покидает это Учредительное собрание.

И снова свист, шум, крики, рукоплескания. Большевики поднялись со своих мест и направились к выходу.

Но что же делать нам здесь, на хорах? До сих пор мы в меру сил и умения усердно поддерживали большевиков при помощи шумовых эффектов. А сейчас? Уйти? А может, правильнее остаться и посмотреть, что будет дальше?

Однако, если мы не уйдем, не будет ли это истолковано как сочувствие черновцам?

Как же поступить?

Выход был найден: мы просто пересели на барьер, свесив ноги вниз. Этим мы достаточно ясно выражали свое презрение к происходящему и, следовательно, могли остаться.

А там, внизу, говорили, говорили, говорили. Один живой труп выходил за другим. Чернова сменил Церетели, Церетели — Тимофеев, Тимофеева — еще кто-то, и все они снова и снова говорили. Уже миновала полночь, час ночи, два часа ночи, три часа ночи, четыре часа ночи, а они все говорили и говорили.

В половине пятого позади Чернова появился высокий синеглазый матрос.

Он вышел вперед и сказал:

— Предлагаю всем присутствующим покинуть зал заседания, потому что караул устал.

— А кто вы такой? — спросил Чернов.

— Я начальник караула Таврического дворца,— сказал матрос.

Это был Железняков, впоследствии герой гражданской войны, павший смертью храбрых в бою против белогвардейцев. Тот самый «матрос-партизан Железняк», о котором поет песня.

Чернов вскипел:

— Все члены Учредительного собрания также устали,— заверещал он.— Но никакая усталость не может прервать нашу работу, на которую смотрит вся Россия! Учредительное собрание может разойтись только в том случае, если будет применена сила. Только через наши трупы...

Но тут начал медленно гаснуть свет. Сначала потухли боковые лампы, потом стала меркнуть центральная люстра. Зал погружался в темноту. Мы прислушивались к тому, что творилось внизу. Стук откидываемых пюпитров, шарканье ног, выкрики Чернова: «Мы обратимся

к цивилизованному миру!» Становится все темнее и темнее, и, словно с того света, из загробного мира, доносятся последние слова Чернова:

— Итак, на сегодня заседание Учредительного собрания объявляется закрытым.

Наконец-то эта длинная, тягучая ночь осталась позади. Бегом, наперегонки, мы скатились вниз по лестнице. Свежий морозный воздух ударил нам в лицо. Садик перед Таврическим дворцом был полон весело притопывавших матросов, которые старались размяться после долгого стояния в карауле.

Появился улыбающийся Гусев. Под всеобщий хохот и шутки он вытащил из портфеля огромный ключ с короной и вензелем князя Потемкина-Таврического и на два оборота запер дворец.

— Амба! — сказал молодой румяный матрос.— Наша взяла...

Седой от инея Георгий Благонравов, чрезвычайный комиссар Петрограда, зычным голосом отдавал приказания. Расставив часть матросов в караул вокруг дворца, он велел остальным идти на Неву разгружать дрова с барж.

А мы? Разойтись по домам и улечься спать? Нет, невозможно. Даешь дрова!

— Товарищи, пошли... Левой! Левой! Левой!

ДВОЙНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ...

Саша Лобанов несколько дней не появлялся в райкоме, потом пришел и огорошил нас неожиданным вопросом: что это такое «ресконтро»?

Ну, «контро» — это понятно. Контро — контра — контрреволюция. Но при чем тут «рес»? Республиканский? «Республиканская контрреволюция»? Явная чушь.

— Да нет, это не про то,— сказал Саша.— Это про другое. Про бухгалтерию.

И он рассказал, что у них на заводе администрация отказалась выдавать рабочим получку, мотивируя это тем, что не имеет денег. Директор завода Брудзинский говорит, что власть, мол, теперь ваша, ну так и идите в Смольный, к Ленину, пусть Ленин дает вам деньги. Но заводской комитет знает, что все это вранье, деньги у хозяина есть, только они распиханы каким-то неведомым образом, и завкому надо это дело распутать.

— Так вот,— сказал Саша.— Иван Степанович велел мне взять тут из вас кого пограмотеистее и привести к нему в помощь.

«Грамотеистых» нас было двое: я и Леня Петровский. Оба мы окончили по семь классов. Что ж, пойдем.

На улицах было безлюдно. Только у мясной лавки выстроилась озябшая очередь да десятка два буржуев под надзором красногвардейцев скалывали лед. Работали они плохо, мужчинам мешали длинные меховые шубы, а барыньки неуклюже поскальзывались в своих фетровых ботах на высоких каблуках.

Завод был расположен неподалеку от Обводного канала. Над воротами полукружьем золотых букв выведено: «Артур Клайд. Металлические изделия».

— К Ивану Степановичу,— сказал Саша, проводя нас через проходную.

Вахтер кивнул.

— Идите.

Так с первого шага мы убедились в силе имени Ивана Степановича. Пробираясь по заваленному металлическим ломом двору и поднимаясь по узкой железной лестнице, мы услышали это имя еще не раз: «Иван Степанович велел», «Спроси у Ивана Степановича».

И вот мы сидим в заводском комитете перед его председателем, этим самым Иваном Степановичем. Ему под тридцать, у него умные, насмешливые глаза, очень светлые на потемневшем от работы около металла лице. На столе лежит гора бухгалтерских книг, на серых корешках которых написано: «Счет № ...», «Счет № ...»

От Ивана Степановича мы узнали о том, о чем уже не раз слышали, но как-то пропускали мимо ушей: буржуазия и ее прихвостни всеми способами и уловками стараются выкачать денежные средства из банков и других кредитных учреждений. Этим они хотят подорвать Советскую власть в финансовом отношении. Пускаются на всякие подвохи: получат деньги как будто бы для выплаты заработной платы, а как настанет день получки, директор Брудзинский заявляет: «Денег нет». Меньшевики этому рады, мутят среди рабочих: вот-де до чего довели комиссары, была бы-де власть Учредительного собрания, тогда бы такого не было.

— Нам надо распутать это дело,— говорил Иван Степанович, движением умелых рабочих рук ловко показывая, как это надо сделать.— Надо разобраться в их бух-

галтерских фокусах, увидеть, куда подевалась каждая копейка, которая пришла к нам и которая ушла от нас. Вот тут мы и напоролись на это самое ресконтро,— Иван Степанович показал нам толстую бухгалтерскую книгу, лежащую поверх других.— В нем, в ресконтре этом, записана вся их бухгалтерия. Вы вот сядьте и найдите, куда девались семьсот тысяч, полученные в прошлом месяце директором из банка.

Мы сели к окну, положили «ресконтро» на подоконник и стали смотреть. Смотрели, смотрели — ничего не понимаем! Справа и слева вертикальной чертой сделаны графы: «Дебет», «Кредит», идут столбцы цифр.

— Ну, как? — спросил Иван Степанович.— Разобрались?

— Нет!

— Вот беда-то!.. С этим дебетом и кредитом механика, как у попа: один за здравие, другой за упокой; одни нам должны, а другим мы должны.

Иван Степанович несколько раз затянулся папиросой, потом сказал:

— Давайте сделаем так: вы сидите и считайте дебет одним столбцом, а кредит — другим. Мы тем временем соберем заводской комитет и позовем директора, а если уж вы ничего не найдете, тогда и будем думать.

Заводской комитет заседал тут же, в этой тесной комнатенке. В нем было восемь членов. Девятого должны были избрать служащие, но отказались.

— Ступай, Сашок, зови директора,— сказал Иван Степанович.

Директор Брудзинский, начинающий полнеть господин с выпуклыми глазами и пшеничными усами, закрученными на кончиках, заставил себя подождать.

— К вашим услугам, ясновельможные паны-товарищи,— сказал он, наконец входя.

— Были паны, да отпановались.

Подсчитывая у себя на подоконнике столбики дебетов и кредитов, мы краешком уха слушали то, что происходило на заседании.

— Я могу пояснить вам,— говорил Брудзинский.— Раньше вы спокойно жили за спиной фирмы «Артур Клайд». Администрация несла на себе заботы, доставала заказы, добывала сырье, продавала готовый фабрикат. Вы скажете, что эта хлопотливая деятельность была для нас, администрации, небезвыгодна. Допустим, что так. Но зато

вы, рабочие, не знали ни забот, ни хлопот. Все ваше дело было прийти на завод, отработать свои часы, а потом спокойненько идти до дому, а второго и семнадцатого пожаловать за получкой. Но вам эта спокойная жизнь не понравилась, вы пожелали сами быть «Артур Клайд». У вас есть на то, как это вы говорите, рабоче-крестьянское правительство. Так и просите денег не у «Артур Клайд», а у Ленина и у этого вашего правительства.

Тут все зашумели.

— Вы, гражданин Брудзинский, турусы не разводите, а отвечайте, куда девались семьсот тысяч, которые вы получили из банка на выплату заработной платы?

— Финансовая область — дело тонкое, оно требует умения, предусмотрительности...

— Деньги где? Семьсот тысяч?

— ...для этого дела существует двойная итальянская бухгалтерия.

— Где наши деньги?

— ...Каждый рубль, каждая копейка «Артур Клайд» занесены на бухгалтерские счета.

— Хватит водить нас за нос. Где семьсот тысяч?

— ...«Артур Клайд» — солидная фирма. Она всегда своевременно погашала обязательства перед кредиторами.

А мы с Леней считаем, считаем! Проклятое «ресконтро», ну, как нам в тебе разобраться?

Иван Степанович вопросительно посмотрел на нас, но понял по нашим лицам, что мы ничего не нашли.

— Хватит,— прервал он Брудзинского, пристукнув кулаком по столу.— Может, ваш «Артур Клайд» и честный к другим буржуям, а к нашему брату, рабочему, он бесчестный. Вы надеетесь на рабочую темноту да на то, что нас держали в потемках и не давали просвещения, ограничивая наше образование глупым заучиванием молитв. Вот вы и запутываете нас своей двойной итальянской бухгалтерией. Дальше так дело не пойдет. Вы все с ухмылкой поминаете Ленина, рабоче-крестьянское правительство. Да, гражданин Брудзинский, есть у нас Ленин, есть у нас рабоче-крестьянское правительство, и с ним мы и двойную, а ежели надо будет, так и тройную бухгалтерию одолеем. А вы выкладывайте ключи и печати. Кончился ваш «Артур Клайд»!

САМОЕ ГЛАВНОЕ...

Как-то, идя в Смольный по каким-то делам, мы встретили Федю Шадурова. Он сказал, что в связи с раскрытием контрреволюционных заговоров там стало очень строго с выдачей пропусков. Вот досада, нам так нужно пройти! Но Моня Шавер, как всегда, нашелся, благо у него была при себе винтовка: он велел мне и Лене Петровскому идти вперед, а сам, проходя мимо часового, сказал: «Веду арестованных» — и тот нас пропустил.

Мы сгорбились и тяжело волочили ноги, как и полагается арестованным. Но едва часовой остался за поворотом, бросились бежать, умирая от хохота по поводу удачной проделки, и чуть не налетели на человека, который шел нам навстречу.

— Осторожно, товарищ,— сказал знакомый голос.

— Ой, Владимир Ильич!

Он спросил нас о причинах столь бурного веселья. Сказать правду мы постеснялись и наплели какую-то историю, шитую белыми нитками. Владимир Ильич явно не поверил, но промолчал и позвал нас на минутку к себе.

Так неожиданно осуществилась наша мечта побывать у товарища Ленина и изложить ему некоторые наши идеи. Мы думали об этом давно, но мешало одно обстоятельство: дело в том, что наши ребята из Нарвско-Петергофского района ходили уже к Владимиру Ильичу и, входя в кабинет, на пороге произнесли заранее подготовленные слова: «Мир хижинам — война дворцам». Мы считали, что должны сказать что-то в этом же роде, например: «Вихри враждебные веют над нами...» или же: «Весь мир насилья мы разрушим...», но пока ни на чем не остановились.

Однако сейчас, сидя у Владимира Ильича, мы забыли об этих своих намерениях и жаждали поговорить с ним о том, что называлось тогда «текущим моментом».

Дело происходило в самый разгар переговоров с немцами по поводу заключения мира. Германские милитаристы вели себя нагло и каждый день предъявляли все новые ультимативные требования. Как ни тяжелы были эти требования, В. И. Ленин настаивал на том, что Советская Россия должна их как можно скорее принять, ибо, если она их не примет, сильнейшие поражения, которые ее ждут, заставят потом заключить еще более невыгодный и тяжелый мирный договор.

Робея, храбрясь и смущаясь, мы изложили Владимиру Ильичу те предложения, которые возникли у нас во время споров по международным вопросам.

Мы сказали, что не разделяем взглядов так называемых «левых коммунистов» и безусловно стоим за заключение мира любой ценой. Но при этом думаем, что раз германские империалисты явно провоцируют срыв мирных переговоров и хотят продолжать войну, то не считает ли Владимир Ильич, что имело бы смысл взять миллион человек и приказать, чтобы они прорыли подкоп под линией фронта прямо в тыл немцам? По этому подкопу в Германию проберутся наши самые отчаянно смелые люди и призовут германский народ к революции. А когда произойдет революция в Германии, вслед за нею вспыхнет революция во Франции, и тогда...

Нет, Владимир Ильич не считал, что имело бы смысл делать такой подкоп.

Быть может, он сомневается в том, имеются ли такие люди? Но мы хорошо знаем людей, которые...

Нет, Владимир Ильич не сомневался в существовании таких людей. Он знал, что такие люди есть.

Он сказал нам, что революции не заказываются. Революции происходят как следствие взрыва негодования народных масс. И нам надо думать не о подкопах, а о том, как помочь рабочему классу всех стран. Эту помощь советское правительство уже оказало, например, тем, что опубликовало тайные договоры. Теперь весь мир видит, что правители всех капиталистических стран — разбойники. Без всяких подкопов мы делом, поймите, *делом*, помогли трудящимся увидеть, каким обманом является проклятая империалистическая война...

Итак, наш план не принят!

— Я вижу,— сказал Владимир Ильич, вглядываясь в наши лица,— что ваша мысль уже работает над изобретением новых планов.

Его проницательность нас поразила.

— Прежде чем их выслушать, я хотел бы знать, кем вы собираетесь быть...

Владимиру Ильичу явно хотелось сказать: «когда вырастете», но он удержался.

Леня Петровский сказал, что он решил идти в Красную Армию и сделаться пролетарским полководцем.

Моня Шавер тоже намерен был вступить в ряды Красной Армии, но обязательно артиллеристом.

Я, оказывается, тоже избрала для себя военную карьеру.

По лицу Владимира Ильича было похоже, что намерения наши ему нравятся, но в то же время он в чем-то сомневался.

— А сколько каждому из вас лет? — спросил он.

Мы пробормотали что-то, из чего можно было расслышать только «...надцать».

— Ну, если бы вам было по девятнадцать, вы сказали бы об этом погромче,— засмеялся Владимир Ильич.— Будем считать, что по семнадцать.

(О, если б это было так!)

— Вам известен декрет о создании Красной Армии, вы знаете, что в нее будут принимать от восемнадцати лет,— продолжал Владимир Ильич.— Вы что-то огорчены? Уж не боитесь ли вы, что мировую революцию совершат без вас?

Владимир Ильич встал и принялся расхаживать по комнате.

— Мы не знаем, как сложатся события в самые же ближайшие месяцы,— очень серьезно сказал он.— Возможно, что нам придется брать в Красную Армию даже людей вашего возраста. Но как бы то ни было, для каждого из вас имеется много дела, только рукава засучивай! Буржуазия все портит, все саботирует, чтоб сорвать рабочую революцию. В каждой области жизни нам предстоит дать решительный бой. Рабочий класс должен стать подлинным хозяином страны, а самой подвижной, активной частью рабочего класса является рабочая молодежь. Если мы сумеем по-настоящему организовать силы рабочего класса, наше дело станет непобедимым. А разве мы делаем для этого все, что нужно? Вот как, к примеру, идет работа вашего Союза молодежи?

— Она идет ужасно хорошо,— решительно ответила я.

— Ужжасно хорошо! — передразнил Владимир Ильич.— А сколько за вами рабочей молодежи?

— Миллионы! — в тон мне сказал Моня Шавер.

И тут мы узнали, что это такое, когда тебе, как говорится, «попало по первое число».

Владимир Ильич без всякой пощады пушил нас за организационную расхлябанность, любовь к заседаниям, многословие, пустопорожнюю болтовню. Мы сидели под

градом его слов и видели все свои прорехи: невыполненные решения, не доведенные до конца дела, заводы, на которых не успели побывать, молодых рабочих, с которыми начали работу и бросили на полдороге.

— Революционер должен иметь горячее сердце — иначе он не революционер, и холодную трезво рассуждающую голову — иначе он дурак,— говорил Владимир Ильич.— Он обязан в равной мере обладать умением и умереть за революцию и нести самую скучную, самую повседневную, а потому самую трудную работу. Ибо самое главное для нас в том, чтобы всегда вести за собой миллионные массы трудового народа.

Взглянув на часы, Владимир Ильич сказал, что вынужден попрощаться с нами. Мы уже встали, чтоб уходить, когда он спросил, в чем же была причина того веселого настроения, в котором он нас встретил.

Мы повинились. Владимир Ильич был поражен.

— Как? — спросил он.— Неужели так и прошли? А как вы выйдете?

— Да так же!

— Нуте-ка пойдем, я погляжу.

Мы спустились к выходу, снова приняли понурый вид. Владимир Ильич из-за угла наблюдал за нами.

— Веду арестованных,— сказал Моня Шавер, проходя мимо часового.

Тот небрежно махнул рукой:

— Проходи!

Нас, конечно, интересовало, чем кончится эта история. Потом мы узнали, что в тот же день был введен новый порядок, по которому арестованных, доставленных в Смольный, больше не пропускали в здание, а стали принимать в комендатуре внизу, на первом этаже.

КОТЕЛОК

Меня послали в Петроградскую Чрезвычайную комиссию расшифровать письмо, изъятое при аресте видного белогвардейского офицера. Письмо было большое, сплошь зашифрованное. Моя помощь понадобилась потому, что оно было написано по-французски.

— Шифр детский, а возни много,— сказал секретарь.

Свободного места нигде не было, и меня усадили за небольшую тумбочку в кабинете Моисея Соломоновича Урицкого.

Урицкий сидел за своим столом и, видимо, писал статью. Он был до того поглощен работой, что незаметно для себя все время бормотал старую каторжную песню: «Две копейки, три копейки — пятачок».

Дверь отворилась. Вошел худой усталый солдат, державший в руках какую-то грязную тряпку.

— Товарищ Урицкий,— сказал солдат.

— Ну, что? — спросил Моисей Соломонович, не поднимая головы.

— Я тут брульянты принес.

— Какие бриллианты?

— Да мы на обыске взяли.

И, развернув свою тряпку, солдат показал завязанный на углу ее тяжелый узел, похожий на узел с крупной солью.

— Оставьте, товарищ,— сказал Урицкий.

— Мне портянка нужна, я ее с ноги снял.

Урицкий поднял голову, задумчиво оглядел комнату, увидел стоявший около меня закопченный солдатский котелок.

— Вот,— сказал он.— Высыпьте туда, благо хозяин за ним не приходит.

Солдат развязал узел, и оттуда брызнули ослепительные белые, голубые, желтые, зеленые, красные, лиловые огни. Тут были аметисты, рубины, изумруды, но больше всего бриллиантов. Держа тряпку совочком, солдат ссыпа́л их в котелок, и они, как горох, стучали по его дну. Урицкий стоя неотрывно смотрел,— но не на блеск холодных камней, а на заросшее щетиной лицо солдата.

— Так я пойду,— сказал солдат, пряча в карман портянку.

— Спасибо, товарищ.

Мы продолжали работать. Дописав очередную страницу, Моисей Соломонович отодвинул стул и принялся по-тюремному шагать наискось комнаты. Снова послышалось бормотание: «Две копейки, три копейки — пятачок».

Сосредоточенно думая, он нагнулся, подобрал валявшийся на полу окурок, поискал, куда бы его деть, и, не глядя, ткнул в котелок, прямо в кучу бриллиантов.

На следующий день бриллианты в этом самом котелке были сданы в государственный фонд, за счет которого потом, в 1921 году, закупался хлеб для голодающих Поволжья.

«ТОВАРИЩИ, К ОРУЖИЮ!»

Утром 24 февраля я сдала своей сменщице дежурство на пункте вербовки в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

Пункт помещался в наспех приспособленном особняке миллионера Коновалова, занятом районным штабом Красной гвардии. Вся резная золоченая мебель была сдвинута в задние комнаты, оставлены только столы и стулья, а по стенам, обитым штофными обоями, развешаны плакаты с выведенным красной тушью призывом: «Все в ряды Красной Армии!»

Хотя пункт работал круглосуточно, мы с трудом справлялись со своими обязанностями. Далеко за полночь у столов один за другим непрерывно проходили записывающиеся.

От них требовалось заявление, паспорт, у кого он есть, а главное — рекомендация фабзавкома, полкового комитета либо же общего собрания рабочих или солдат.

Читаю заявление — одно из многих:

«С полным сознанием важности своего поступка, с полной готовностью пожертвовать своей жизнью во имя беднейших крестьян и рабочих и с полной уверенностью в торжестве своих идей я имею счастье поступить в ряды Красной Рабочей и Крестьянской Армии.

Раньше, хоть и невольно, но мы все-таки шли умирать «за веру, царя и отечество».

Разве тогда Россия была нашим отечеством, когда мы не имели ни земли, ни заводов в своих руках?

Идя служить в свою Красную Рабочую и Крестьянскую Армию, мы будем слугами блага, справедливости и безопасности всего трудового населения не только России, но и всего мира.

Такое великое дело стóит жертв наших жизней. Можно пожертвовать собой в бою с разжиревшими и обнаглевшими контрреволюционерами, ни за что не желающими отдать свое награбленное добро тому, кого они ограбили. Солдат Григорий Лоскутов».

Люди приходили по-разному: кто с шутками, кто с серьезными лицами. Некоторые, оформив запись, обращались к присутствующим с небольшою речью. Приходило много мальчуганов, просившихся в разведку, приходили и женщины. Мы и тем и другим отказывали, они сердились, плакали, грозили жаловаться на нас.

Когда я вышла, город еще спал в морозном тумане. На перекрестках горели костры. Прохожих почти не было. Но даже в этот ранний час отряды красноармейцев посередине улиц обучались строю. Большинство совсем юноши, в шинелях, как будто сшитых на рост, в шапках, нахлобученных на самые уши; они падали в снег, вскакивали, делали перебежки.

В этот день было воскресенье, и в Мариинском театре впервые устраивали бесплатный утренний спектакль для детей бедного населения Петрограда. Ставили «Волшебную флейту» и «Фею кукол». Дети должны были приходить в театр отрядами в сопровождении работников районных Советов или Союза рабочей молодежи. Сопровождать отряд Выборгского района было поручено мне.

Подумав, идти ли домой, я решила отправиться прямо в детский клуб. Так я и знала! Хотя сбор ребят был назначен на одиннадцать часов, у дверей клуба уже маячило несколько маленьких фигурок, замотанных в мамкины шали.

Я открыла дверь и впустила ребят. Мне удалось все же немного соснуть в каморке у тети Даши, нашей сторожихи. Еще поспать бы, да нельзя!

— Ребята! Становитесь по два! Возьмитесь за руки!

Мы шли длинной извивающейся цепью. Нас обгоняли бегущие опрометью газетчики:

— «Красная газета»! Совет Народных Комиссаров принял германские условия мира! «Красная газета» не любит попа и кадета! Войска кайзера Вильгельма продолжают наступление! Газета красная, для буржуев опасная! «Красная газета»! «Красная газета»!

И вот мы в театре. Задолго до начала он был уже полон. Притихшие дети, с глазами, горящими жадным любопытством, чинно рассаживались в мягких бархатных креслах. Люстры горели вполнакала, театр не топили, все сидели в пальто и шапках. На подступах к Пскову шел

бой с рвущимся на Петроград врагом. И, несмотря на все это, здесь, в этом чудесном серебристо-голубом зале, полном пролетарских ребят, было празднично, быть может, как никогда.

Перед поднятием занавеса выступил Анатолий Васильевич Луначарский. Он был в гимнастерке, на плечи его была накинута солдатская шинель. Очень бледный, осунувшийся от долгих бессонных ночей, Анатолий Васильевич вдохновенно говорил о золотых нитях, связывающих искусство с коммунизмом, о детях — цветах и счастье нашей жизни.

Уже когда мы с ребятами шли по улице, возвращаясь со спектакля, какое-то неуловимое чувство подсказало мне, что за те часы, пока мы были в театре, что-то произошло. Но я слишком устала, да и некогда было думать: надо было развести ребят, сбегать домой передохнуть и снова идти на дежурство.

Вечером, по дороге на вербовочный пункт, это же неспокойное чувство охватило меня с новой силой. Неизвестно откуда, словно из-под земли, появились бородатые дворники в белых фартуках с начищенными медными бляхами, сметавшие снег и посыпавшие тротуары песочком. В бельэтажах горничные в наколках протирали зеркальные стекла. Буржуи, которые в последнее время жались в подъездах и подворотнях, вылезли наружу и прислушивались, в надежде услышать гул артиллерийской пальбы. Все они, не скрываясь, радостно ждали немцев.

— Ликует черный Петроград,— сказал, поравнявшись со мной, злой небритый матрос.

Работы было так много, что я не заметила, как прошел вечер. В первом часу ночи на пункт ввалилось сразу больше ста человек. Это были рабочие небольшого проволочно-гвоздильного завода, которые решили закрыть завод и всем коллективом вступить в ряды Красной Армии.

В декрете Совета Народных Комиссаров об организации Красной Армии от 15 января 1918 года, которым мы руководствовались, было сказано, что при вступлении в армию целыми частями требуется круговая порука всех и поименное голосование. Такая же круговая порука была, очевидно, нужна и при вступлении целым заводом.

Но как эту поруку следовало проводить? Недолго думая, мы решили, что все должны усесться — кто на стулья, а кто прямо на пол — и вслед за председателем заводского комитета повторить слова резолюции рабочих Путиловского завода:

«Заслушав сообщение о немедленном формировании социалистической армии для подавления контрреволюции, единогласно постановляем: или погибнуть, или победить в борьбе с контрреволюцией. Да здравствует Совет Народных комиссаров! Да здравствует российский пролетариат, крестьянство и революционная армия! Да здравствует всемирная революция! Да здравствует социализм!»

Торжественную тишину прервал телефонный звонок. Подвойский!

— Товарищи! Немцы перешли в наступление и двигаются на Петроград. Псков пал. Революция в опасности. Мы не можем точно знать намерения врага. Может быть, он ограничится только Псковом, но возможно, что продвижением немцев руководит русская и международная контрреволюция, решившая задавить красный Петроград. Надо всех поднять на защиту революции. Приказываю...

И в эту же минуту из глубины ночи поднялся могучий голос заводского гудка. Ему ответил другой, третий. Гудков становилось все больше. Никогда еще не был так повелителен, так грозен этот зов революции.

Дом районного штаба Красной гвардии, в котором помещался наш вербовочный пункт, уже пришел в движение. Слышен топот, железный стук раздаваемого оружия. Со всех концов района сбегаются поднявшиеся по зову гудков рабочие. Непрерывно звонят телефоны. Среди взрослых рабочих в кожаных куртках уже вертятся и бегают те самые мальчишки, которых мы не приняли в армию днем. Некоторые рабочие приходят целыми семьями, некоторые цехами и заводами. На заводах идут митинги. Везде, где только возможно, собирают лопаты и заступы для рытья окопов. Слышны звонки трамваев: по приказу Совета революционной обороны Петрограда трамваи должны ходить всю ночь.

Приехавший на мотоцикле из Смольного представитель штаба революционной обороны тут же на месте производил формирование отрядов и направлял одни из них в Смольный, другие — прямо на Балтийский вокзал.

Отряд за отрядом уходили в туманную мглу. На востоке небо начинало светлеть, но на западе, там, откуда наступали германско-кайзеровские войска, оно стало еще чернее.

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Заклятый наш враг у ворот!

ЛЕТНИЙ САД

Весь день 25 февраля валил густой снег. К вечеру небо прояснилось, взошла луна. Красногвардейцы отряда петроградского Союза рабочей молодежи с минуты на минуту ждали приказа о выступлении на фронт.

Отряд был расквартирован в Инженерном замке. Ни один звук не проникал сквозь его толстые стены. Электричество погасло. Лунный свет, пробиваясь сквозь высокие стрельчатые окна, падал на мальтийский крест, на шлемы, латы, доспехи, забрала.

Приказ о выступлении почему-то задерживался. Ребятам казалось, что о них забыли, что все кончится без них, и от злости они были готовы разнести на куски весь этот средневековый хлам.

Но наконец послышались шаги. Товарищ из штаба. Положение без перемен. Немецкие войска продолжают идти на Петроград. Совет Народных Комиссаров заседал беспрерывно всю ночь. Чрезвычайный штаб по революционной обороне города работал также всю ночь, принимая донесения о положении дел и организуя рабочие отряды.

Отряду Союза рабочей молодежи приказано в двенадцать часов ночи быть на Балтийском вокзале, откуда он будет брошен на Нарвский фронт. Сейчас основная часть отряда идет за пулеметами, остальным дается на два часа отпуск в город.

Сбегать домой? Стоит ли! Новые проводы, новые слезы. Если жизнь подарила два часа, лучше попрощаться еще раз с любимым Питером.

Шумно выбежали на улицу.

— Пошли к Исаакию!

— Нет,— сказала Женя Герр, подвижная девушка, которую за неугомонный нрав и золотые кудри прозвали Искоркой.— Пойдем в Летний сад!

Быстрым движением она слепила снежок, швырнула в кого-то, бросилась бежать. Вдогонку ей полетели ответные снежки. Взрывая клубы снежной пыли, с визгом, с хохотом ребята перелетели мостик, вбежали в сад — и все в них замерло.

Впервые за много месяцев, полных политических бурь, они увидели сад, деревья, ночное небо. Кругом лежал глубокий снег, чуть искрившийся в призрачном свете луны. Он занес дорожки, скамьи, статуи, накрытые деревянными чехлами. Снег и снег. И такая волшебная тишина, что щемит сердце.



Взявшись за руки, ребята осторожно, боясь спугнуть эту тишину, опустились на мягкий снег. Издалека доносился шум трамваев, вспышки электрических искр озаряли верхушки деревьев. Все молчали. Было печально и сладко думать, что эта красота останется, а тебя завтра, может, не будет в живых, и ты никогда, никогда больше ее не увидишь.

Время уходит. Скоро пора.

И тут кто-то запел. Песню подхватили, сначала тихо, потом громче и громче.

Они пели одну песню за другой, все, что знали и умели,— о лучинушке и баррикадах, о добром молодце и родимой Нарвской заставе, об Интернационале, с которым воспрянет род людской.

Этим мальчикам и девочкам было по шестнадцать — восемнадцать лет. Они рвались на фронт, охваченные страстным желанием любой ценой, пусть ценой своей

безвестной гибели, отстоять революционный Петроград и зажечь в немецких войсках восстание против тиранов.

На их долю выпало счастье принадлежать к тому поколению, которое не задумываясь шло на смерть во имя революции, а если смерть не была нужна, так же радостно и просто возвращалось в жизнь, готовое по первому зову партии снова пойти на бой.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

В начале марта Советская Россия, благодаря мудрой политике Ленина, вышла из войны. В Бресте был подписан мир с германскими милитаристами. А несколько дней спустя советское правительство переехало в Москву, куда была перенесена столица Российской Советской Республики.

И вот я, сложив на платформе Николаевского вокзала наш нехитрый багаж, поджидала маму, которая должна была приехать сюда из Смольного.

На вокзале было полно народу. Толчея непротолченная! Тут и там виднелись ящики с делами различных народных комиссариатов. На извозчиках, на грузовиках, на ломовых подводах подъезжали новые и новые люди. Кто тащил пишущую машинку, кто — перетянутую бечевкой связку книг. Своих вещей почти ни у кого не было. Так, ручной чемоданишко, а то и просто портфель со сменой белья и куском мыла.

В Москву! В Москву!

Лишь только отошел поезд с делегатами Четвертого съезда Советов, сразу же подали новый состав. Он был собран как попало из желтых, синих, зеленых вагонов с выбитыми кое-где стеклами, заделанными фанерой. Весь день пригревало первое мартовское солнце, и с железных крыш свисали ржавые, кривые сосульки.

С этим составом в Москву уезжали работники Высшего Совета Народного Хозяйства, часть сотрудников Центрального Исполнительного Комитета, контора «Правды», редакция «Известий» и всякий другой партийный и советский народ.

— Эй, погляди! — на бегу крикнул мне молодой румяный матрос.— И эти туда же! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!

Я обернулась и увидела тех, на кого он обратил мое внимание.

Один из них был высокий человек в поношенном драповом пальто и в пенсне с черным шнурочком. Это был второстепенный меньшевистский деятель, очень рьяный и словоохотливый, прославившийся своей способностью держать речи под свист и топот всего зала.

Второй был одет в поддевку и смазные сапоги, какие в Петербурге носили только содержатели извозчичьих дворов да правые эсеры. Этого я тоже не раз встречала в кулуарах Таврического дворца.

Таща чемоданы, они под неприязненными взглядами окружающих бочком-бочком пробирались к поезду.

Наконец показалась мама. Она с трудом несла большой сверток. Волосы у нее растрепались, шляпка сбилась набок.

— Ой, не сердись, матрешка,— сказала она, увидав мое лицо.— Я никак не могла. И потом, понимаешь, мне надо было собрать эти документы, и я не успела из-за этого получить продукты.

— Ладно,— сказала я.— Пойдем скорее. Ведь этак мы опоздаем.

Давно уже пора было садиться. Пока мы добрались до своего вагона, был уже дан второй звонок. Только мы успели вскочить, как поезд тронулся. С уходившей от нас платформы донеслись звуки «Интернационала». Его подхватил весь поезд.

Острая боль пронзила душу. Питер, мы уезжаем, но мы с тобой, всегда с тобой!

Устав от впечатлений прошедшего дня, я забралась на верхнюю полку и сразу заснула.

Когда я проснулась, в вагоне было жарко, тихо, темно. Над дверью, за стеклом, оплывал свечной огарок. Внизу краснели звездочки горящих папирос. Шел такой необычный в те дни, тихий, неторопливый разговор.

— Удивительная это вещь,— говорил незнакомый мне глуховатый голос.— Много ли, кажется, я в Питере-то видал? Как попал мальчонкой на Путиловский, так через Неву чуть ли не впервой переехал, когда нас из участка в «Кресты» везли. Был я потом в Италии, на Капри. Такое все вокруг меня красивое, голубое да розовое. Стоят дамочки в шляпках и восхищаются, лопочут: «Шарман!

Шарман!» А мне этот шарман поперек горла стоит. Тянет меня в Питер, да и только. И представляется он мне всех милее и светлее. Вот таким, каким его увидел Пушкин: «И ясны спящие громады пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла!»

— Мы совсем вроде Радищева,— сказал кто-то.— Путешествие из Петербурга в Москву.

Я слушала сквозь дрему. Поезд шел медленно, вагон покачивало, на станциях подбегали смазчики, стучали по осям, в окне возникали и исчезали расплывчатые оранжевые огни.

— Любопытная, конечно, штука получилась,— заговорил низкий голос.— И в нашей истории и в русской литературе Петербург всегда противопоставлялся Москве, как Запад — Востоку, Европа — Азии. Одни видели в Петербурге что-то наносное, деталь фасада, окно в Европу, «международную обшмыгу», как говаривал Достоевский. Для других он был воплощением прогрессивного пути исторического развития. Москва же противопоставлялась ему то как истинная Русь, то как средоточие российского толстосумства и азиатчины в самом дурном понимании этого слова. И вот революции, с ее великим интернациональным духом, суждено снять это старое противопоставление двух русских столиц и в то же время, перенеся столицу в Москву, окончательно утвердить пролетарскую диктатуру как всероссийскую и общенациональную власть.

— Ну, тут уж я с вами не согласен,— ответил голос с верхней полки.— Эдак вы до Хомякова и Киреевского договоритесь. Дело ясное и простое: Петроград физически и пространственно оторван от остальной страны. С расстройством транспорта и разрухой эта оторванность фактически отрезала Петроград от глубинных масс России. Москва — другое дело. Москва лежит в центре Великороссии, от нее и к Волге, и к Дону, и к Уралу ближе, и связывают с ними не какие-нибудь две нитки железных дорог. Она естественно предназначена к тому, чтобы быть столицей. А философия тут ни при чем. Вопрос практический, товарищ философ.

— Хотел бы я знать, с каких это пор вопросы практические для нас, большевиков, являются не философскими и не политическими?— возразил на это «философ».— Не можете же вы утверждать, что перенос столицы в Москву не вносит ничего нового в ход исторического развития

нашей страны и нашей революции? Превращая Москву в столицу России, русская революция тем самым превращает ее в центр притяжения всех сил международной революции...

Я заснула, не дослушав спора. На этот раз меня разбудил шум у дверей. Высокий солдат, окутанный белым морозным паром, просил, чтоб его подвезли несколько перегонов.

Его усадили ни нижнюю лавку, стали осторожно расспрашивать. Потягивая цигарку, он медленно, задумчиво рассказывал:

— Твердо мы стояли, дезертиров из нашего полка почти никого не было. Ну, а как дошло дело до мира, собрал полковой комитет митинг и мы постановили, что правильно товарищ Ленин предлагает, воевать мы больше не можем. Силы наши недостаточны. Приходится нам подписывать с похолодевшим сердцем этот мир.

Накинув пальто, я вышла на площадку. Было зябко, мороз пощипывал щеки. Звезды уже погасли, всходило солнце. По розоватому рыхлому снегу, то взлетая на косогоры, то исчезая в синих падях, мчалась темная тень поезда.

Замедлив ход, поезд подошел к небольшой станции. Около шлагбаума, поддерживая под уздцы пугливую, шарахающуюся лошаденку, стоял дед в сером зипуне, перетянутом веревкой, в лаптях и онучах.

— Поезд за поездом в Москву прут,— сказал он.— Ровно тараканы. Не пойму, с чего это?

— С чего, папаша? — переспросил прохаживавшийся около вагонов красноармеец с самодельной красной звездочкой на околыше.— Пословицу слышали: «Петербург — голова, Москва — сердце»? Так вот, большевики вперед, в самое сердце России пошли!

СЕРДЦЕ РОССИИ

Мы ехали в Москву, а приехали в Ма-а-скву!

Едва успели мы ступить на платформу вокзала, как нас тут же окружил певучий, «акающий» московский говор:

— Па-а-жалуйте вещички,— говорил носильщик.

— Па-а-прашу вас пра-а-йти,— приглашал дежурный.

— Напра-а-ва, на-а-лева,— отвечали на наши вопросы.

И совсем уже удивительно стало, когда мы услышали названия гостиниц, в которых должны были разместиться приезжие питерцы: «Боярский двор», «Лоскутная», «Славянский базар», «Княжий двор», «Охотнорядское подворье».

Москва ослепила нас солнцем, оттепелью, голубым небом. Сильно таяло, пахло весной, ярко блестели лужи, дребезжащая извозчичья пролетка разбрызгивала из-под колес коричневую снежную жижу.

Все было так интересно, так непохоже на Питер! Непрерывно покрикивая, извозчик вез нас по узким кривым улицам мимо убогих домишек и нарядных особняков, мимо покрытых причудливой лепкой Красных ворот, мимо прижавшихся друг к другу в горловине Мясницкой двух вегетарианских столовых со странными названиями: «Убедись» и «Примирись».

Со всех сторон грохотали и оглушительно звенели трамваи. Трамвайные пути кольцом лежали на круглой Лубянской площади, разбегались чуть ли не по всем семи выходящим на нее улицам, спускались вдоль зубчатой Китайгородской стены, устремлялись к Моховой, сворачивали на Большую Дмитровку, выныривали из Неглинной, чтоб, обогнув Малый театр и подойдя к подножию Большого, снова свернуть в сторону и направиться к Кремлю.

— Что это за дом? — спросили мы у извозчика о нынешнем Доме союзов.

— Благородная собрания,— ответил он. И, показывая на следы пуль, пестревшие на колоннах, добавил:— А эту воспу их благородиям красные гвардейцы нащелкали.

На первых порах нам с мамой дали небольшой номер в гостинице «Националь». Она была реквизирована незадолго до этого. Над торговыми помещениями еще висели старые вывески магазинов Лапина, Перлова, Крестовникова и «Нью-Йорк Сити Банк», но у входа уже появилась деревянная дощечка, на которой было написано: «Первый дом Советов».

— Сегодня отдыхайте,— сказал товарищ, распоряжавшийся приемкой новоприбывших.

Но нам не терпелось. Наскоро приведя себя в порядок, мы решили пойти посмотреть город.

И вот мы оказались в самом центре дворянско-купеческой Москвы. Прямо напротив «Националя» посреди дороги стояла какая-то часовня. Слева — Благородное собрание, скрытое от нас раскоряченной церковью Параскевы Пятницы. По обе стороны Охотного ряда тянулись низкие дома, сплошь занятые лавками и складами. Пахло рыбой, прокисшей капустой, гнилью. Охотнорядские молодцы в синих суконных поддевках, перетянутых малиновыми кушаками, похаживали, похваливая свой товар.

По тесной, горбатой Тверской мы поднялись на Скобелевскую (ныне Советская) площадь, где наискось от бывшего генерал-губернаторского дома, ставшего домом Московского Совета, находилась гостиница «Дрезден» — штаб-квартира московских партийных организаций. Но там мы никого не застали: в этот час шло заседание Московского Совета, на котором впервые по приезде в Москву выступал Владимир Ильич Ленин.

— Ничего не попишешь,— сказала мама.— Пойдем-ка пообедаем.

Мы снова поплутали по незнакомым улицам. Денег у нас было мало, идти в ресторан мы не решились. Наконец на нашем пути оказалась очередная вегетарианская столовая. На этот раз она называлась: «Я никого не ем».

— А вот я кого-нибудь съела бы, и с преболышим удовольствием,— сказала мама, когда мы выходили, пообедав «лангетом из капусты» и «тефтелями из репы».

Мы долго еще бродили по улицам, прислушиваясь к разговорам, всматриваясь в сновавших мимо нас людей.

Господин в шубе с бобровым воротником, седой, с бородкой, которую тогда называли «а ля Буланже». Он брезгливо ступает ногами в резиновых ботах по грязному тротуару, покрытому окурками и подсолнечной шелухой. Когда мимо пронесся ощетинившийся грузовик с красногвардейцами, цедит: «Хамовозы!»

Дама в каракулевом саке, сверкая зубами, рассказывает своей спутнице: «Даже Николай Петрович вчера за вечерним чаем, несмотря на присутствие старой княгини, в отчаянии воскликнул, что это все немыслимо, невозможно. Подумать только, он живет теперь совсем как какой-нибудь Ивашка, его младший дворник!»

Около памятника Скобелеву летучий митинг. Оратор выкрикивает фистулой: «Предатели! Продали Россию!» Маленький старичок качает головой: «Вот язык-то! Чисто железный. Как он себе зубы-то не выколотит?» Молодой парень, по виду рабочий, говорит: «Теперь не будет ни богатых, ни бедных. Земля, банки, заводы — все отошло народу».—«Это ты верно,— поддерживает его заросший щетиной солдат.— Темен, темен народ, а теперь уж у нас взятого не отберешь. Понял народ, как на его спине буржуи отыгрываются».

Вечерело. В домах начали зажигаться огни. Как это бывает в чужом, незнакомом городе, нам стало чуточку грустно и одиноко.

Но у входа в «Националь» нас поджидал Виктор Павлович Ногин.

— Куда же вы запропастились? — говорил он.— Немедленно едем к Смидовичам, вас там ждут.

Смидовичи — большая дружная семья с бесчисленными братьями и сестрами, родными и двоюродными. К этой семье принадлежало много выдающихся людей: замечательные большевики Софья Николаевна и Петр Гермогенович Смидовичи, писатель Вересаев.

Одну ветвь семьи составляли светлые блондины, другую — жгучие брюнеты. Поэтому Смидовичи делились на «белых» и «черных». Но уже тогда, в восемнадцатом году, многие «черные» побелели, стали седыми.

В переполненном трамвае мы добрались до какого-то переулка неподалеку от Плющихи. Приземистый деревянный домик с вымытыми до молочной белизны некрашеными полами. Столовая. Под потолком висит на медных цепях большая лампа с голубым фарфоровым резервуаром и отверстием в абажуре — электрическая, переделанная из керосиновой. Стоит громадный кипящий самовар. Хозяева с особым радушием встречают гостей и угощают чаем с серыми пышками. Над дверью почти непрерывно звонит колокольчик: это приходят все новые и новые гости.

Все очень возбуждены; Москва переживает сегодня необыкновенный день — годовщина Февральской революции, в Москву переехало правительство, на заседании Московского Совета выступал Владимир Ильич. Почти

все присутствующие пришли с заседания Совета и находились под впечатлением пережитого.

«Вы слышали, как Ильич-то сказал?» — восклицали они, торопливо жуя серые булки и обжигаясь горячим чаем. «А как слушали-то его!» — «Сначала он волновался, заметили?» — «Удивительный ум и удивительная способность выделить основное, решающее».— «А вы обратили внимание, что он в слове «буржуазия» ударение на *а* ставит?»—«Он говорит еще «социаль-демократ», это так в девяностых годах произносили, у него и осталось».— «Я с самого Второго съезда Советов его не видел. Похудел он с того времени. Видно, здорово устал. А все равно сидит в нем эта ленинская, особенная, несгибаемая сила!» — «Да, это верно. Сегодня рядом со мной был один рабочий; впервые, конечно, Ильича слушал и этак умно сказал: «Пружинящий человек. Революционный».

У двери снова зазвонил колокольчик. Это пришел Михаил Степанович Ольминский — большой, седой, красивый, как и всегда полный озорным кипением.

Остановившись около порога, он размахивал газетой, восторженно крича:

— Газета «Известия»! Только что вышла! Первый номер в Москве! Статья Ленина «Главная задача наших дней»! Да какая статья! Статьища! Программа!

...Сейчас каждый, кто изучал произведения Ленина, знает эту статью. Ее эпиграфом являются слова великого русского поэта-демократа:

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная —
Матушка-Русь!

Ленин обдумывал эту статью в поезде, во время переезда из Петербурга в Москву. Паровоз протяжно гудел, за окнами белели снежные поля.

Там, среди этих полей, лежала Россия; по степным раздольям гулял ветер; теснились избы, крытые соломой; дети плакали, прося хлеба; на заводах смертным инеем покрывались станки; еле ползали поезда, облепленные дезертирами и мешочниками; Дон горел в огне контрреволюционного мятежа; с юга и запада надвигались немцы; в особняках иностранных посольств разрабатывались заговоры против революции.

Но в это же время бойцы первых красноармейских частей, выкатив на пригорок орудия, окапывались на

случай внезапного нападения врага; в деревнях шел дележ помещичьих земель; фабрично-заводские комитеты брали предприятия в свои руки; при свете коптилок голодные рабочие и работницы, обучающиеся в школах ликвидации неграмотности, повторяли слова, написанные мелом на черной грифельной доске: «Мы не бары. Мы не рабы».

Все силы старого мира пели России отходную, а Ленин выдвигал перед партией, рабочим классом, народом великую задачу: «...добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной»!

МОСКВА,
1918



БЕЛАЯ СИРЕНЬ

Весна восемнадцатого года выдалась ранняя, дружная. Уже к началу апреля стаял снег и просохла земля. Весь месяц горячо грело солнце, вокруг свежих могил у Кремлевской стены поднялась густой щеткой крепкая изумрудная трава, а над первомайскими плакатами, украсившими город, прогремела первая гроза.

В мае буйно, как никогда, цвела в Москве сирень. То ли год выпал такой, то ли никто ее не подрезал и поэтому она так разрослась, но лиловые, голубовато-серые и белые цветы тяжелыми гроздьями усыпали кусты в сквере на Театральной площади и на московских бульварах. Сирень продавали и выменивали. Худые оборванные дети моляще протягивали прохожим охапки влажных, свежесрезанных ветвей, прося за них пол-осьмушки хлеба или горсточку пшена.

Как-то ранним майским утром я шла на работу. Ночью был дождь, лужи блестели тысячей солнц. На углу стояла девочка с корзинкой цветов. В ее поникшей фигурке было столько отчаяния, что я не выдержала и отдала ей за букет белой сирени последний кусок хлеба.

Работала я тогда у Якова Михайловича Свердлова, в Кремле. Президиум Центрального Исполнительного Комитета занимал три небольшие комнаты во втором этаже Здания судебных установлений. Налево находился кабинет Свердлова, направо — кабинет секретаря ВЦИКа Варлаама Александровича Аванесова. В средней, проходной комнате сидели я и курьер Гриша. Мебель составляли канцелярские столы и стулья с высокими спинками. На стенах темнели четырехугольники — память от снятых царских портретов.

Вместо чернильных приборов стояли обыкновенные стеклянные чернильницы. Только у Якова Михайловича имелись неведомо откуда взявшиеся массивное пресс-папье и фарфоровая ваза с видом Шильонского замка. В эту вазу я и решила поставить цветы.

Когда я вошла, Яков Михайлович был уже у себя и разговаривал по телефону «верхнего коммутатора», коммутатора Совнаркома.

— Да, Владимир Ильич,— говорил он.— Я сейчас из Наркомпрода...— Не заглядывая в записную книжку, он называл в пудах и фунтах цифры поступления хлебных грузов.— В Питере надо выдать, там уже два дня не выдавали... В Москве завтра выдавать не будем, а послезавтра наскребем как-нибудь по восьмой фунта... С Костромой беда, просто беда. Семена́ уже давно доели, сейчас едят жмых и березовую кору...

Тем временем я налила в вазу воды и поставила в нее сирень. Яков Михайлович мельком взглянул на цветы и, продолжая телефонный разговор, неожиданно сказал:

— Сирень цветет, Владимир Ильич. Отличнейшая сирень. Но что стоило этому старому богу устроить наоборот: чтоб сирень цвела в августе, а рожь поспевала бы в мае!

КАША «С НИЧЕМ»

Курьер Гриша понюхал цветы.

— Знаешь, чего бы я сейчас поел? — сказал он.— Картошки с постным маслом! Чтобы масла налить в плошечку, насыпать туда соли, а картошку макать.

Я выглянула в окно. Тень от пушки перед входом в арсенал падала влево,— значит, до обеда еще далеко. По вымощенному брусчаткой двору, важно переступая длинными голенастыми ногами, шел человек в блестевшем на солнце расшитом золотом мундире. Даже издалека угадывалось надменное холодное выражение его лица. Это германский посол граф фон Мирбах пожаловал в Кремль, чтобы заявить об очередных претензиях кайзеровской Германии к Советской России.

То и дело звонили телефоны, сменялись посетители, приносили пакеты. Наконец в кабинете Аванесова на старинных часах с медным маятником раздался гулкий одинокий удар: час дня, обед!

Столовая помещалась тут же, в Здании судебных установлений, в темной комнате рядом с кухней. Чтобы попасть туда, надо было пройти бесчисленное количество коридоров, переходов, лестниц. На обед было всегда одно и то же: селедочный суп с сухими овощами и пшенная каша, по поводу которой велся вечный филологический спор: как следует говорить — каша «с ничем» каша «без всего» или же каша «без ничего»?

Зато уж посуда была на редкость разнообразна: и миски, и тарелки, и котелки, и глина, и фаянс, и жесть, и фарфор, и даже серебро. Бывало, хлебаешь суп из глиняной миски серебряной ложкой, но случалось и деревянной ложкой уписывать кашу из тончайшей тарелки чуть ли не севрского фарфора.

Обедали в этой столовой все: и народные комиссары, и работники Совнаркома и ВЦИКа, и посетители Кремля.

Здесь, за некрашеным деревянным столом, часто можно было услышать иностранную речь: сюда приходили и товарищи, пробравшиеся в Советскую Россию из-за рубежа, и бывшие военнопленные, ставшие большевиками, и политические эмигранты — венгры Бела Кун и Тибор Самуэли, швейцарец Платтен, французы Жанна Лябурб и Жак Садуль, американец Роберт Майнор, немец Эберлейн, китайский товарищ, который называл себя Сашей.

Почти каждый день приходил сюда обедать народный комиссар продовольствия Александр Дмитриевич Цюрупа. Получив обед, он бережно ставил тарелки на стол и съедал все до последней крошки, даже если суп был совсем жидким, а пшенная каша горчила. Потом он несколько минут сидел, положив на колени желтые костлявые руки, видимо не имея сил подняться.

Он говорил тихим, глуховатым голосом и производил впечатление мягкого, уступчивого человека. Но какой непреклонной волей звучал этот голос, когда под вой и улюлюканье правых эсеров и меньшевиков, требовавших объявления свободной торговли и повышения цен на хлеб, Цюрупа заявлял, что Советская власть никогда не откажется в угоду кулакам от хлебной монополии.

Яков Михайлович в столовой не обедал: у Свердловых были маленькие дети, поэтому обед брали на дом. Брала на дом обед и семья Ульяновых. Но сам Владимир Ильич нередко съедал свой обед в столовой. Обычно он приходил с кем-нибудь из товарищей — то ли чтобы

подкормить этого товарища, то ли чтобы выкроить несколько лишних минут для разговора с ним. Иногда он здесь же, в столовой, отодвинув тарелку, набрасывал записку или телеграмму. Так было, например, когда он пришел вместе со старым путиловцем Ивановым и написал обращение к петроградским рабочим:

«...Товарищи-рабочие! Помните, что положение революции критическое. Помните, что спасти революцию можете *только вы;* больше некому.

...дело революции, спасенье революции в ваших руках.

Время не терпит: за непомерно тяжелым маем придут еще более тяжелые июнь и июль, а может быть, еще и часть августа».

Но как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело, здесь, в столовой, люди всегда шутили и смеялись. Разговор обычно становился общим, и порой, когда в него вмешивались обедавшие тут же посетители, он принимал самый неожиданный оборот.

Так, в тот самый раз, когда Владимир Ильич пришел в столовую вместе с путиловцем Ивановым и стал говорить о необходимости вовлечения в партию рабочих и крестьян-бедняков, обедавший напротив него остроглазый рыжебородый крестьянин вдруг сказал:

— Нет, товарищ Ленин, так нельзя. Никак невозможно, чтобы человек в одной партии состоял.

— Почему невозможно? — удивился Владимир Ильич.

— Да потому, что у каждого в нутре несколько партий сидит.

— Как так?

— Очень даже просто. Вот, к примеру, я. Скажи мне: «Ступай воевать с немцем», я скажу: «Не пойду»,— и выходит, что я большевик. А скажи мне: «Давай хлеб», я скажу: «Не дам»,— и вот получается, что я эсер. А еще что спроси — может, во мне и меньшевика отыщешь.

Надо было послушать, как хохотал Владимир Ильич!

Этот разговор имел своеобразное продолжение.

...Месяца три спустя, после покушения на Владимира Ильича, со всех концов страны потоком шли письма, телеграммы, резолюции собраний и деревенских сходов, в которых выражались пожелания выздоровления Владимиру Ильичу и чувство ненависти к тем, кто поднял на него руку. В числе прочих была резолюция сельского схода где-то в Пермской или Вятской губернии. Вместе с ней был прислан горшочек топленого масла.

«...Шлем душевное приветствие товарищу Ленину,— говорилось в резолюции.— Пусть не думают хищные звери капитала, что руками наемных убийц они задушат рабоче-крестьянскую революцию. Предательский выстрел в товарища Ленина не смутил наших рядов, наоборот, зажег их местью. Мы, крестьяне, заявляем во всеуслышание: «Не показывайтесь к нам, контрреволюционные силы, а если покажетесь и поднимете черную контрреволюционную голову, то помните, что для вас нами уже приготовлена могила». Шлем горячий привет Красной Советской Армии и заявляем, что мы вырвем хлеб у кулаков, накормим армию и ваши семейства, а для правильного проведения всех декретов организуем ячейку коммунистов-большевиков. Выздоравливайте, дорогой товарищ Ленин, вождь всемирной революции, и кушайте кашу не с ничем, а с маслом, чтобы скорее поправиться на счастье всемирного пролетариата. Да здравствует беспощадная классовая война! Да здравствует Советская власть!»

КАРТОННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

В двадцатых числах мая в ВЧК поступило заявление от рабочего завода «Каучук» Нифонова, которого в порядке уплотнения буржуазии вселили в дом № 1 по Молочному переулку. Нифонов сообщил, что находящуюся в этом доме частную лечебницу посещают какие-то подозрительные господа, которые «походят не на больных, а на офицеров — ваше высокоблагородие».

В эти дни одна молодая московская девушка попросила своего знакомого — командира латышского полка, охранявшего Кремль, передать товарищу Дзержинскому, что в ближайшие дни в Москве ожидается контрреволюционное восстание. Она узнала об этом от своей сестры, которая работала в госпитале Покровской общины, а сестра — от влюбленного в нее юнкера, находившегося на излечении в этом госпитале. Юнкер был очень взволнован, говорил, что «вся Москва зальется кровью», и умолял ее уехать на месяц в деревню, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

За юнкером было установлено тщательное наблюдение. Оно показало, что юнкер часто ходит в Малый Левшинский переулок, дом № 3, квартира № 9, и что в этой

квартире постоянно собирается много народу. Решено было произвести арест. Прибыв на место, оперативная группа обнаружила в квартире тринадцать человек — бывших офицеров лейб-гвардейских полков. На первых допросах арестованные отказывались давать показания, изворачивались, врали. Удалось установить лишь то, что они принадлежали к контрреволюционной организации, носящей название «Союз защиты родины и свободы».

Во время дальнейших арестов где-то подобрали клочки записки. Сейчас эти клочки были разложены на столе перед Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, и он вместе с Лацисом пытался восстановить ее текст. Позвали и меня — я знала языки и наловчилась в расшифровке иностранных документов.

Записка была написана вперемежку по-французски и по-английски. Многих клочков не хватало, на некоторых сохранились лишь обрывки фраз или отдельные слова, смысл которых понять было невозможно: «треугольник», «бархат», «О. К.», «Ас». Особенно часто попадался этот «Ас». Шла ли речь о каком-то тузе или же это было началом фамилии?

Но основное содержание записки удалось расшифровать. Тщательно прикладывая друг к другу разорванные клочки, установили, что это была информация о московском контрреволюционном подполье, предназначенная, видимо, для Дона. Автор ее сообщал, что в Москве действуют две контрреволюционные организации. Одна (к которой принадлежал он сам) опиралась на широкий блок политических партий — от кадетов до меньшевиков — и ориентировалась на державы Антанты: Англию, Францию, Соединенные Штаты. Вторая, считая надежду на высадку в России союзнического десанта пустой фантазией, установила контакт с германским послом графом Мирбахом. По расчетам этой контрреволюционной группы, немцы должны были в первой половине июня оккупировать Москву. Эта перспектива улыбалась автору записки. Отказ от использования немцев он называл «неумным чистоплюйством» и рассуждал так: пусть немцы займут Москву и свалят большевиков, а тогда они — сторонники Антанты — объявят немцам войну и откроют фронт на Волге.

Когда это место было расшифровано, Дзержинский передернулся.

— Ух и гады же! Иуда щенок против них...

Он с отвращением отодвинул клочки записки, провел рукой по лицу и сказал, обращаясь к Лацису:

— Положение, Мартын Янович, крайне опасное. Давай немедленно...

Надо же было случиться такому невероятному совпадению! Возвращаясь из ВЧК, я встретила на Театральной площади свою одноклассницу по гимназии Ангелину Деренталь, с которой не виделась года три. Она мне очень обрадовалась, сказала, что ее мать умерла и она с сестрой Ариадной переехала в Москву к своему знаменитому брату Жене. Этот Женя в правительстве Керенского был товарищем какого-то там министра, а сейчас вернулся к адвокатуре, занимается делами.

Ангелина потащила меня к себе. Сегодня, мол, четверг, у знаменитого брата Жени журфикс. Я про себя разозлилась: «Журфиксы, сволочи, устраивают!» А потом подумала: «Дай пойду!»

Дверь нам открыла горничная. Из столовой доносились голоса. Ангелина представила меня: «Господа это моя гимназическая подруга».

У них был чай с печеньем и разговор о трагедии русской интеллигенции. Лохматый старик с бородой под Михайловского, высоко держа стакан недопитого чая, твердил, что да, он виноват! Он, старый русский социалист, кается публично: да, есть и его доля вины в том, что интеллигенция русская переоценивала, обожествляла русский народ, считала себя в неоплатном долгу перед ним. И все же, хотя народ русский оказался темен, груб, жесток, он, старый интеллигент...

Тут все загалдели, заверещали: «Не надо было убивать Распутина», «Не надо было убивать Столыпина», «Не надо было освобождать крестьян», «Повесить бы каждого третьего мужика на осине, вот и будет порядок».

Ариадна вдруг взорвалась:

— Если б вы знали, господа, до чего мне все это надоело! Кажется, свернулась бы ежиком и проспала сто лет, чтобы проснуться, а кругом — ни большевиков, ни меньшевиков. Пусть хотя троглодиты какие-нибудь, все лучше!

Она подошла к роялю, открыла крышку, но играть не стала, а резко провела по клавишам кулаком.

Сидевший рядом со мной знаменитый брат Женя молчал, всматриваясь в присутствующих холодным оценивающим взглядом. Потом он достал серебряный портсигар, раскрыл его, чтобы достать папиросу, и я увидела засунутый за резинку картонный треугольник с отчетливо выписанными буквами «О. К.» — теми самыми буквами, которые не раз упоминались в записке из контрреволюционного подполья.

Так вот какими делами занимался, оказывается, этот знаменитый брат!

«ГОРА» И «ЖИРОНДА»

У Якова Михайловича сидел Иван Иванович Скворцов-Степанов.

Образованнейший марксист, человек обширных и разносторонних познаний, он даже сейчас, отрывая время от сна, работал над книгой о Марате.

— Когда-нибудь будущие историки,— говорил он,— будут вот так же изучать нашу эпоху. Перечитывая протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, они наверняка подумают о Национальном конвенте Великой французской революции. Они увидят перед собою классический материал для сопоставления и противопоставления двух типов революций — революции буржуазной и революции пролетарской. Сколько глубокого и интересного раскроется для них хотя бы при сравнении жирондистов и монтаньяров Французской революции с меньшевистско-правоэсеровской «Жирондой», левоэсеровским «Болотом» и большевистской «Горой» наших дней! Взглянув даже на чисто внешнюю сторону, на вал заседаний Национального конвента и Центрального Исполнительного Комитета, они поймут, как прав был Гюго, когда говорил, что каждая идея нуждается во внешнем выражении, каждому принципу нужна соответствующая ему зримая оболочка...

В романе «Девяносто третий год» Виктор Гюго дал красочное описание тех атрибутов, которыми заполнил зал своих заседаний в Тюильрийском дворце французский Национальный конвент: там были и огромные трехцветные знамена, опиравшиеся на нечто вроде жертвенника с надписью «Закон»; и начертанный на доске текст «Деклараций прав»; и громадный пук ликторских

прутьев вышиной с колонну; и колоссальные статуи, обращенные лицом к депутатам: Ликург — по правую руку председателя, Солон — по левую, Платон — над скамьями Горы.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, который был и учредительным, и законодательным собранием, и конвентом Великой пролетарской революции, избрал для своих заседаний первое попавшееся помещение, удобное своим расположением в центре Москвы, свободное и никому не нужное. Это помещение оказалось залом ресторана «Метрополь». Пусть будет так! Только чтобы скорее было готово. Выкинуть столики! Расставить стулья! На помосте, где размещался оркестр, поставить большой стол президиума. И откуда-нибудь привезти кафедру для оратора.

Здесь не было ни статуй, ни трибун, ни лож. И «Гора» и «Жиронда» русской революции сидели в ряд, на одинаковых стульях, кое-где раздвинутых, образуя проходы, кое-где сдвинутых вплотную друг к другу. Большевики занимали места слева от председателя, левые эсеры сидели в центре, меньшевики и правые эсеры расположились в правой части зала.

Заседания происходили один или два раза в неделю. Начинались они обычно в девять-десять часов вечера и заканчивались около полуночи. Председательствовал всегда Свердлов.

Перед пленарными заседаниями ВЦИКа тут же рядом, в бывшем кафе «Метрополь», собиралась большевистская фракция.

На фракции всегда бывало шумно и весело. Вопросы решались быстро, хотя и не без горячих прений. Голосовали основные положения доклада или резолюции, которые предполагалось внести во ВЦИК, намечали ораторов, Дмитрий Захарович Мануильский потешал всех, с изумительным мастерством изображая Карла Каутского, который, с таким видом, будто жует во сне мочалку, доказывал, что Октябрьская революция совершилась «не по Марксу», а посему большевики отлучаются от святой церкви II Интернационала и подлежат изгнанию в ад, где вместо поджаривания на сковороде к ним должно быть применено еще более мучительное для них наказание — чтение вслух произведений самого Каутского, Виктора Адлера и Эдуарда Бернштейна!

Когда заседание фракции заканчивалось, все гурьбой шли в зал. Свердлов занимал председательское место. Владимир Ильич, если не был докладчиком, присаживался где-нибудь сбоку, на приступочках, одним глазом читая бумаги, другим посматривая на выступающего оратора.

Свердлов объявлял заседание ВЦИКа открытым и зачитывал предлагаемую повестку дня. Сразу, точно подброшенный пружиной, вскакивал Мартов и хрипло кричал, что протестует против включения в повестку дня тех вопросов, которые включены, и невключения тех вопросов, которые не включены. Лидер правых эсеров Коган-Бернштейн с места разражался речью о диктатуре и демократии. Левые эсеры огрызались на правых эсеров и меньшевиков, но отказывались поддерживать большевиков. Суханов, именовавший себя «меньшевиком-интернационалистом», вытянув ноги и откинувшись на спинку стула, бросал язвительные реплики. Большевики скандировали: «К делу! К делу!»

Наконец повестка дня принималась, слово предоставлялось докладчику — Ленину, Цюрупе, Свердлову, замнаркомфину Гуковскому. Зал продолжал клокотать. Доклад прерывали выкрики с мест. Порой перепалка превращалась в устную дуэль между большевистским докладчиком и меньшевистско-эсеровской оппозицией.

Но вот приступали к прениям. На кафедру взбегал Мартов.

— Гражданин Ленин,— начинал он,— выступал здесь как Дон-Кихот, как человек, который думает, что самый факт завоевания политической власти достаточен для насаждения социализма... Но ни один немецкий социалист не мыслил и не воображал... Даже английская рабочая партия, которая... Если бы дело происходило в такой передовой стране, как Соединенные Штаты... У нас же масса, которая взяла в руки власть, состоит из пролетариата, для которого социальные условия еще не созрели, чтобы он осуществлял ее в смысле социалистической диктатуры...

Потом, одергивая китель военного врача, на кафедру всходил толстый, приземистый Дан.

— В нашем, слава богу, непарламенте...— насмешливо начинал он.

Затем слово получил Суханов. Кривя длинное желтое лицо, он говорил с монотонной злобой:

— Если рассуждать о сегодняшних задачах, то это может быть сформулировано в одном лозунге, и если сейчас

этот лозунг не поддерживает вся Россия, то завтра вся страна поддержит его. Этот лозунг гласит: «Долой красногвардейское самодержавие и да здравствует демократический строй!»

По залу прокатывался шум. Большевики вскакивали со своих мест, требовали призвать оратора к порядку. Суханов что-то кричал тонким резким голосом. Свердлов звонил, высоко подняв колокольчик, и объявлял:

— Слово предоставляется товарищу Ленину!

Владимир Ильич быстро поднимался на кафедру, вытаскивал карманные часы, клал перед собой и, разложив заметки, сделанные на небольших листочках, начинал говорить.

РАБОТА ПОШЛА

Полгода назад Владимир Ильич закончил послесловие к своей книге «Государство и революция» словами: «приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

Сейчас он целиком отдался «проделыванию» этого «приятного и полезного» опыта. В каждом его слове, в каждом движении чувствовалась бьющая через край энергия человека, полного счастьем своей трудной, напряженной жизни.

На одном из заседаний к нему подсел товарищ с Урала и рассказал, как рабочие старинного завода неподалеку от Кыштыма выкатили хозяйского управляющего на тачке, выбрали своего директора. Придя в директорский кабинет, новый рабочий директор, прежде чем сесть в кресло, расстелил на нем чистое полотенце и пояснил: «Кресло-то теперь народное».

Владимир Ильич выслушал этот рассказ и с наслаждением сказал:

— Великолепнейшая это штука — свергать буржуазию!

Владимиру Ильичу тогда только что исполнилось сорок восемь лет. Он был крепкий, плотный, подвижный. Жесты и интонации его были стремительны и энергичны. Движения — точны, быстры, пластичны. Когда он, стоя на ораторской трибуне, порывисто наклонялся вперед и закладывал руки за спину или же рассекал ими воздух, в нем чувствовался опытный конькобежец, пловец. Для человека

его поколения, у которого спорт был не в чести, присущая Владимиру Ильичу любовь к физическому движению была проявлением особых свойств характера.

Каждый, кто встречался с ним, чувствовал исходящую от него необыкновенную силу.

Как-то, ранней весной восемнадцатого года, вскоре после переезда советского правительства в Москву, к Владимиру Ильичу пришла делегация рабочих МОГЭСа. Вернувшись к себе, делегаты созвали общее собрание рабочих, чтоб доложить о своем разговоре с Лениным. Из толпы крикнули: «А какой он, Ленин-то?»

Глава делегации подумал, потом убежденно ответил:

— Да так, я прикидываю, на мильён вольт потянет.

Надо вспомнить тогдашнюю Россию с малосильными электростанциями, в которых еле теплилась жизнь, чтоб понять, что это такое — «потянуть на мильён вольт»!

Он был человеком огромной мысли, но эта мысль никогда не была у него сухой, холодной, безжизненной, развивающейся сама по себе; нет, она была полна чувства, страсти, действенности, огненного темперамента. Это была бесстрашная мысль борца, мысль революционера. И этой мысли, которая постоянно им владела, было подчинено в нем все.

Однажды — это было, наверно, в середине июня — Владимир Ильич с Надеждой Константиновной поехали на субботний вечер на дачу, неподалеку от Тарасовки, и захватили с собой меня. После ужина пошли гулять. За нами увязались крестьянские ребятишки с лохматым неуклюжим щенком.

Владимир Ильич затеял игру, будто бы этот щенок — огромная злая собака, способная свалить человека одним прикосновением лапы. Он убегал, щенок лаял, хватал его. Владимир Ильич падал на траву, и ребятишки, визжа, валились на него. Казалось, он забыл обо всем на свете, кроме этой веселой возни.

Так мы добрались до опушки леса. Там стоял обугленный дуб, разбитый молнией.

Владимир Ильич взглянул на дуб — и мгновенно весь преобразился. Сжав кулаки, словно желая добить спорящего с ним противника, он сказал:

— Нет, у нас так не будет. Мы сумеем избежать обычного хода революции, как в тысяча семьсот девяносто четвертом и тысяча восемьсот сорок девятом годах, и победим буржуазию!

У него вообще были часты неожиданные повороты мысли и отдаленные ассоциации. Стенографистки мучились, расшифровывая стенограммы его речей, а он еще больше мучился, выправляя всю ту ерунду, которую они, бывало, нагромоздят.

Поражало его умение вести разговор одновременно с несколькими собеседниками. Он сразу засыпал всех быстрыми, короткими вопросами, требуя ясных и точных ответов, и тотчас ставил новые вопросы:

— Вы приняли меры? Какие? Когда? День и час?

Или:

— Проверили ли вы? Сколько? Кому передано? Кто за это отвечает?

Его речь, особенно когда он брался за самые коренные вопросы, за решение таких задач, которые другим казались невозможными и неосуществимыми, или же когда он был разгневан, была выразительна до предела:

— Нажмите свирепее... Изо всех сил... Энергично... Сверхэнергично... С ультрабешеной энергией...

— Немедленно и безусловно... Никаких проволочек... Решительные меры... Беспощадные меры... Самые драконовские меры...

— Это хаос цифр... Груда цифр, груда непереваренного сырья... Сырые цифры вами владеют, а не наоборот...

— Дело девятое, и смешно даже один час над ним думать! Рутинерство... Лжеученость... Мертвечина...

— Верх безобразия... Архинегодно... Ультравранье...

— Делового ничевошеньки!.. Пустяки!.. Пустяки!.. Сонные тетери... Засолили вы дело... Разгильдяйство, а не руководство.

— Не марксизм это, а левоглупизм... Интеллигентская истерика... Кисейная барышня... Ein Helleridiot!.. Прозрачный идиот!

Если он смеялся, то смеялся, но если уж гневался, то гневался! Тут пощады не было никому.

Такой беспощадный, яростный гнев вызывали в нем обычно не действия классовых врагов: к ним в его душе

горел ровный огонь постоянной ненависти. Взрывы гнева чаще всего бывали у него порождены случаями бездушного бюрократизма и невнимания к народным нуждам и к делу революции со стороны некоторых советских работников.

Стоило ему узнать о подобных фактах, как в адрес виновных летела телеграмма:

«Комитет 42 организаций голодающих рабочих Петрограда и Москвы жалуется на Вашу нераспорядительность. Требую максимальной энергии с Вашей стороны, неформального отношения к делу и всесторонней помощи голодающим рабочим. За неуспешность вынужден буду арестовать весь состав Ваших учреждений и предать суду. Отдал срочное распоряжение об увеличении паровозов и вагонов. Вы должны немедленно погрузить имеющиеся налицо два поезда по 30 вагонов. Телеграфируйте исполнение.

Хлеб от крестьян Вы обязаны принимать днем и ночью. Если подтвердится, что Вы после 4 часов не принимали хлеба, заставляли крестьян ждать до утра, то Вы будете расстреляны.

Председатель Совнаркома *Ленин*».

Доходило ли когда-либо до расстрела — не знаю, а до арестов не раз.

Об одном таком случае я слышала от Степана Степановича Данилова — на редкость милого человека, которого все старые товарищи по партии любовно звали «Стакан Стакановичем».

В девятнадцатом году Данилов возглавлял Комиссию по борьбе с дезертирством. Борьба велась, так сказать, «на два фронта»: с одной стороны, против дезертирства из армии рядового красноармейского состава, а с другой — против попыток некоторых «ответственных работников» уклониться от мобилизации под покровом своей «незаменимости». Самые вопиющие случаи подобного рода доходили иногда до Совета Обороны, председателем которого был Ленин.

И вот «Стакан Стаканович» как-то рассказал про историю, происшедшую с начальником Мобилизационного отдела Народного комиссариата путей сообщения. Этот начальник решил «спасти» от фронта одного своего сотрудника и состряпал для него бумагу, что, ежели тот будет мобилизован, работа развалится.

— Я поглядел — вижу, что это липа,— говорил Данилов злым голосом.— Ладно, думаю, передам-ка я всю эту штуку в Совет Обороны. Дошла моя очередь. Докладываю, что так, мол, и так. Владимир Ильич аж побелел от бешенства, но и бровью не повел. Говорит: «Предлагаю следующее постановление: «Заслушав сообщение товарища Данилова о неправильном возбуждении ходатайства об отсрочке такому-то, поручить ВЧК арестовывать начальника мобилизационного отдела НКПС имярек в течение ближайших пяти воскресений».

Он внимательно выслушивал каждого, кто к нему приходил, а потом часто вспоминал людей, побывавших у него на приеме, восхищался их глубокой народной мудростью.

— ...Прямо я заслушался его, когда он рассказывал, как выступал на сходе: «Довольно, говорит, молиться о спасении от глада, меча и огня, а давайте реквизировать у кулаков хлеб, делать черепицу для крыш и записываться в Красную Армию!»

Услышав ловкое, ухватистое русское слово, он повторял его, как бы перекатывая перед собою и рассматривая со всех сторон, и вдруг припоминал это слово в разговоре с товарищами:

— ...Тут он мне говорит: «Раньше шел я на завод спину гнуть, а теперь хожу распрямлять спину».

— «У нас, говорит, новый талант народу открылся, талант победности».

— ...И басит он эдак на «о»: «Пошел я это в Главтоп, Волготоп, Центротоп. Топ да топ, а с топливом хлоп».

— ...Рассказывает: «Некоторые кулачишки ждут падения Советской власти. Но не дождаться им, не увидеть этого, как не увидит никогда свинья своих ушей!»

Очень любил народ. Не какой-то народ с большой буквы, не выдуманный, прилизанный, приглаженный, а настоящий, живой народ, работающий, страдающий, порой великий, порой слабый, тот народ, который состоит из миллионов простых людей, творящих историю человечества.

Как-то вечером, вероятно в июне, я оказалась на площади перед Московским Советом. Там недавно снесли памятник Скобелеву и на том месте, где должен был быть

установлен обелиск Свободы, пока что соорудили дощатый помост. Немолодой рабочий держал речь, которую внимательно слушала окружающая его толпа.

— Кулак родил спекулянта,— говорил он.— Спекулянт родил голод, голод родил разруху. Стало быть, надо рубить корень, а за ним слетят и верхушки.

— Вот именно,— услышала я знакомый голос.— Руби корень!

Я обернулась. Владимир Ильич в своем потертом пальто и кепке слился с толпой.

С ним была и Надежда Константиновна. Владимир Ильич сказал ей:

— Как точно и образно сформулировал он самый гвоздь вопроса. Вот у кого надо учиться нашим агитаторам и докладчикам.

Лютой ненавистью ненавидел он выспренний, забитый иностранными словами язык, которым грешили иные наши газетчики и ораторы, называл этот язык «тухлым», «безмозглым», «оболваненным». Выступая перед народной аудиторией, всегда искал точные образы, которые помогли бы понять и усвоить его мысль. Часто находил эти образы в повседневной жизни трудового народа — то размышлял вслух о том, как поступить в случае, когда на одну пару сапог в семье имеется шесть пар ног и приходится отдать эти сапоги тому работнику, который кормит своим трудом всех остальных; то говорил о соседях, затеявших строить дом: у одного избыток леса, но нет гвоздей, у другого нет досок, а гвоздей полный короб. Что им делать? Как поступить? И как нам надо поступить, если у нас похожее положение в том-то и том-то?

Он завидовал людям, которые могли ездить по всей стране. Охотно, с радостью выступал на широких массовых собраниях, будь то митинги или же объединенные заседания ВЦИКа совместно с Московским Советом, фабзавкомами, профсоюзами и прочими рабочими организациями, которые устраивали по разу, по два в месяц в Большом театре.

Выступая на таких собраниях, он обычно недолго удерживался на ораторской трибуне, ибо чувствовал себя на ней отгороженным от аудитории. Он выходил вперед, заложив руки в карманы, шагал по сцене, подходил к краю

рампы, говорил прямо в зал, как бы обращаясь к каждому из присутствовавших в отдельности, советуясь с ним, убеждая его, беседуя с ним, как с товарищем, с другом, взывая к самым высоким, самым благородным его чувствам, формулируя задачи, стоящие перед партией и народом.

— Темой, о которой мне приходится говорить сегодня, является величайший кризис... И об этом кризисе, о голоде, который надвинулся на нас, мне надо сказать сообразно поставленной перед нами задаче в связи с общим положением.

Он говорил о причинах голода, о том, как на почве голода вспыхивают, с одной стороны, восстания и бунты измученных голодом людей, а с другой — бежит огоньком с одного конца России на другой полоса контрреволюционных восстаний, питаемых деньгами англо-французских империалистов и усилиями правых эсеров и меньшевиков.

— Каковы пути борьбы с голодом? — спрашивал Ленин. И с предельной убежденностью в своей правоте отвечал: — Объединение рабочих, организация рабочих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов,— их мы зовем на помощь... им мы говорим: в крестовый поход за хлебом, крестовый поход против спекулянтов, против кулаков...

Каждое движение Ленина было сейчас проникнуто волей, энергией, целеустремленностью. И весь зал, кроме небольшой кучки в углу справа, жил вместе с ним — его чувствами, его напряженной мыслью.

Но вот Ленин переходил к меньшевикам и правым эсерам. В нем сразу пробуждался ярый полемист. Он беспощадно обрушивался на них как на предателей революции; говорил об их трусости, мелкодушии, пресмыкательстве перед буржуазией; показывал, что они пропитаны миазмами разлагающегося трупа буржуазного общества. Речь его дышала гневом, презрением, ненавистью, убийственным сарказмом.

— Пусть каркают «социалистические» хлюпики,— восклицал он,— пусть злобствует и бешенствует буржуазия. Только люди, закрывающие себе глаза, чтобы не видеть, и затыкающие уши, чтобы не слышать, могут не замечать того, что во всем мире для старого капиталистического общества, беременного социализмом, начались родовые схватки... Мы имеем право гордиться и считать

себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до голода и одичания и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни были проявления его предсмертного неистовства...

В этот час, когда Советская республика переживала один из самых тяжелых периодов в своей истории, Ленин обращался к трудящимся с исполненными всепобеждающего оптимизма словами:

— Товарищи, работа пошла и работа идет... За работу все вместе. Мы победим голод и отвоюем социализм.

СВЯТЫЕ ДАРЫ

Ночь. По земле стелется топкая пелена тумана. Но в ночном небе нет покоя. Горизонт озаряют голубые вспышки. То ли это зарницы, то ли отблески далекой стрельбы.

Сегодня, 29 мая, все члены московской партийной организации мобилизованы. В районных комитетах партии их разбили на отряды. Нашему отряду поручено патрулировать Воздвиженку и Арбат — от Кремля до Смоленского рынка.

Часа в два ночи мы увидели пересекавшего Арбат со стороны Молчановки священника в рясе. Перед ним шел мальчик в церковном облачении.

Мы окликнули священника. Он остановился. Когда мы подошли, он словоохотливо объяснил, что идет со святыми дарами к умирающему.

Не знаю чем, но он возбудил подозрение нашего командира. Хотя было светло, как бывает светло майской ночью в Москве, командир внезапно зажег электрический фонарик, направил свет в лицо священника и дернул его за бороду. Борода отвалилась. Мнимый священник отпрянул в сторону, пытаясь бежать, но был схвачен. Мы повели его на Лубянку.

В комендатуре было полно народу. Все время подъезжали машины, привозя арестованных. В эту ночь был ликвидирован контрреволюционный «Союз защиты родины и свободы».

Его главный штаб находился на Остоженке, в Молочном переулке. Заговорщики создали разветвленную

организацию, разбитую на строго законспирированные пятерки. Каждый член организации знал еще четверых — больше никого. Встречи происходили на подпольных квартирах, паролем служил вырезанный из визитной карточки треугольник с буквами «О. К.».

— Очень уж у них конспиративная техника отшлифована,— говорил Феликс Эдмундович Дзержинский, рассказывая о ходе следствия по заговору.— На офицеришек не похоже... Тут чувствуется другая рука.

И действительно, на допросах арестованные показали, что во главе заговора стоял кто-то очень крупный и тщательно законспирированный, известный рядовым заговорщикам только под кличкой «Туз». Те, кто его видел, рассказывали, что он выше среднего роста, брюнет, с коротко подстриженными усиками, лицо темное; разговаривая, смотрит поверх собеседника; ходит по-волчьи, опустив голову и прислушиваясь.

По этому описанию нетрудно было узнать Бориса Савинкова.

«ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...»

Четырнадцатого июня на прием к Якову Михайловичу Свердлову пришла худенькая синеглазая женщина в клетчатой панамке. Она сказала мне, что фамилия ее Коган, она приехала из Самары от Валериана Куйбышева и просит, чтобы Яков Михайлович немедленно ее принял.

Свердлов принял ее сразу. Они долго беседовали. Потом я слышала, как он разговаривал по «верхнему коммутатору» с Лениным. Потом он позвал к себе Аванесова. Потом поручил мне оповестить всех членов ВЦИКа о том, что вечером созывается экстренное заседание.

На большевистской фракции слово было предоставлено Евгении Соломоновне Коган. В полной тишине она рассказала о подробностях белочешского переворота в Самаре, о предательской роли, которую сыграли во время и после переворота эсеры и меньшевики.

Заседание ВЦИКа началось в десять часов вечера. Электричество горело плохо, и его слабый свет смешивался со смутным вечерним светом, пробивавшимся сквозь пыльный стеклянный потолок. На столе председательствующего стояла зажженная керосиновая лампа, она освещала лицо Ленина и скорчившуюся в первом ряду стульев

длинную, худую фигуру Мартова. Остальная часть зала тонула в полумраке, как бы подчеркивая этим, что два человека, на которых падает свет, являются главными героями той исторической драмы, которой суждено было сейчас разыграться.

Свердлов взял председательский колокольчик, выпрямился и, глядя в зал, сказал:

— Президиум предлагает включить в повестку дня этого заседания ВЦИКа вопрос о выступлениях против Советской власти партий, входящих в Советы.

Мартов взвился:

— А я предлагаю пополнить порядок дня вопросом о массовых арестах московских рабочих, произведенных в течение вчерашнего дня.

Понимал ли он, что для него и его партии это последнее заседание Центрального Исполнительного Комитета, на котором они присутствуют?

Наверно, да! Опытный политический деятель, он не мог не чувствовать, что история подошла к новому рубежу, за которым меньшевикам невозможно оставаться в органах пролетарской диктатуры. Они уже находились по другую сторону баррикады. Оружие критики давно превратилось в критику оружием.

Пролетарская революция не могла дольше терпеть в Советах тех, кто в Самаре, Уфе, Челябинске, Омске, Ново-Николаевске, Владивостоке совершал контрреволюционные перевороты под флагом Учредительного собрания; тех, кто в промышленных центрах организовывал подтасованные «рабочие конференции», призывавшие к забастовкам и саботажу; кто вступал для борьбы против Советской власти в союз с белогвардейцами, японцами, немцами, англичанами, французами. Нельзя было дольше мириться с тем, чтобы в стенах Советов контрреволюция допрашивала революцию, обливала ее грязью, чернила каждый ее шаг, открыто звала к свержению диктатуры пролетариата.

Призывая бушующее собрание к порядку, Свердлов поставил на голосование вопрос: «Кто за то, чтобы исключить из Советов контрреволюционные партии правых эсеров и меньшевиков?»

Большевики встали и высоко подняли руки. Левые эсеры, как и положено «болоту», частью воздержались, частью проголосовали против. Правые эсеры и меньшевики выли, стучали ногами, хватали стулья и угрожающе ими размахивали.

— Решение принято подавляющим большинством голосов,— сказал Свердлов.— Прошу членов контрреволюционных партий, исключенных из Советов, покинуть зал заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Меньшевики и эсеры вскочили со своих мест, выкрикивая проклятия «диктаторам», «бонапартистам», «узурпаторам», «захватчикам». Мартов, хрипя и задыхаясь, схватил пальто, пытаясь надеть, но его дрожащие руки не могли попасть в рукава.

Ленин, очень бледный, стоя смотрел на Мартова. Что думал он в эту минуту? Вспоминал ли о том, как два с небольшим десятилетия назад они вместе с Мартовым — друзьями, соратниками, товарищами в борьбе — вступали на революционный путь? Видел ли он перед собой Мартова эпохи старой «Искры» — талантливого публициста и оратора? Или же перед его глазами встал другой летний вечер, за четырнадцать лет до этого, когда на II съезде партии, при обсуждении проекта Устава, между ним и Мартовым всплыло такое незначительное на первый взгляд, но такое принципиально непримиримое, как показал опыт истории, разногласие: кто является членом партии — подлинный ли пролетарский революционер, отдающий делу партии свою жизнь, или же какой-нибудь профессор или адвокат, который раз в несколько месяцев вытаскивает из жилетного кармана пару трешниц и тайком, через вторые и третьи руки, передает их в кассу партии, чтобы другие устраивали революцию. И вот прошло почти полтора десятилетия — и оказалось, что одна из формулировок Устава была отправным пунктом для пути к революции, а другая — к контрреволюции.

Мартов продолжал мучительно бороться со своим злосчастным пальто. В эту минуту он был трагичен. Одному из левых эсеров он показался смешным. Откинувшись на спинку стула, этот левый эсер хохотал, тыча пальцем в воздухе и указывая на Мартова. Мартов обернулся к нему разъяренным зверем.

— Вы напрасно веселитесь, молодой человек,— прохрипел он.— Не пройдет и трех месяцев, как вы последуете за нами!

Он злобно встряхнул проклятое пальто, перекинул его через руку и, шатаясь, пошел к выходу. Ленин, все такой

же бледный, провожал его долгим взглядом. Мартов, ухватившись рукой за косяк, отворил дверь и вышел.

Каким фейерверком высокопарных фраз отметила бы свою победу над политическими противниками буржуазная революция!

— Товарищи,— сказал Яков Михайлович Свердлов, деловито встряхнув колокольчиком.— Продолжаем наше заседание. Следующий вопрос порядка дня...

ПОМНИ!

В начале лета восемнадцатого года были открыты Первые московские курсы всеобщего военного обучения. Они занимали роскошный барский особняк в Телеграфном переулке, неподалеку от Чистых прудов. Раньше в этом особняке находился штаб анархистской группы «Ураган смерти». В апреле во время разоружения анархистов особняк был окружен, после двухчасовой перестрелки «Ураган» сдался и был выдворен, а особняк передан курсам.

Он хранил на себе следы всех последовательно сменявших друг друга хозяев.

От старого владельца остались картины, великолепный шредеровский рояль и стенные дубовые панели с резными изображениями дичи и битых зайцев.

Анархисты, кроме грязи, оставили после себя приставленный к роялю длинный ящик с молоточками и ножными педалями, называющийся «пианола». В эту пианолу полагалось вставить валик, а потом, как на велосипеде, работать ножными педалями. Молоточки стучали по клавишам, и раздавались отвратительные рубленые звуки матчиша или польки-бабочки.

Новые, теперешние хозяева заявили о себе грудами оружия, вырезанным из газеты портретом Маркса и алым знаменем с надписью: «Защита Советской республики с оружием в руках — священный долг каждого рабочего и крестьянина». Под роялем были сложены винтовки; на деревянных утиных носах висели набитые патронами пулеметные ленты; у ног изображенной на картине во весь рост дамы в черном бархатном платье задирался хобот пулемета «максим», именуемого в просторечии «максимкой». Эх, максимка, максимка! Сколько крови он нам перепортил, как нелегко было запомнить все его «задержки» и сразу, «в момент», их устранять.

Обучение происходило, как выразились бы теперь «без отрыва от производства». Занятия — ежевечерние.

— Становись! Направо равняйсь! На первый-второй рассчитайсь! Ряды сдвой! На ремень! Правое плечо вперед! Шагом марш! Левой! Левой!

Раз уж ты решился стать солдатом Рабоче-Крестьянской Красной Армии, ты, как говорит, посмеиваясь, начальник строевой части курсов Иван Федорович Кудряшов, «должон все уметь». За месяц занятий полагалось овладеть пехотным строем, винтовкой, пулеметами различных систем, метанием гранат, подрывным делом.

Строевые занятия иногда проводились во дворе, но чаще всего на Чистопрудном бульваре. Местом сосредоточения воображаемого противника было здание Московского почтамта. Оттуда, то справа, то слева, то сзади, со стороны кинотеатра «Колизей», появлялась невидимая кавалерия, и надо было в одно мгновение рассыпаться в цепь и отразить врага.

Дважды в неделю — строем, с винтовками — ходили на стрельбища: по средам — в Александровское военное училище, по субботам — на Ходынку. Идя на Ходынку, брали шанцевый инструмент. Шли с песнями, держа равнение, лихо печатая шаг. Девизом была любимая поговорка Кудряшова: «Если даже ты идешь один, все равно ты обязан идти в ногу!»

Но вся эта восхитительная, полная прелести жизнь была доступна лишь счастливцам — «лицам, достигшим восемнадцати лет». А как жить не достигшим?

— Просто сил никаких,— говорили мы между собой.— Через каких-нибудь восемь месяцев тебе должно исполниться семнадцать лет, а всякий, кому не лень, встречает тебя одним и тем же вопросом: «Пятнадцать только лет, не более того?»

(Эту строку из эпиграммы Василия Львовича Пушкина припомнил в одной из своих работ Владимир Ильич, и она была поэтому в большом ходу в партийных кругах.)

Если бы не Иван Федорович Кудряшов, не видать бы нам тогда Военных курсов! Только он и выручил.

Познакомились мы с Иваном Федоровичем случайно. Как-то я стояла в очереди за хлебом. Народу было много, шел самый обычный разговор сплетниц: «Вы слыхали?» —

«Слыхала».— «А это вы слыхали?» — «Не слыхала, а вот это слыхала... Большевики, конечно, все деньги забрали и удрали на резиновых шинах в Америку, хлеб в Кремле для них просто «тьфу», жрут ломтями свиное сало, а населению вместо говядины будут выдавать по карточкам конину и всех женщин — хочешь не хочешь — социализируют!»

Позади меня стоял высокий подтянутый человек в солдатской форме. Он все время молчал, но, когда дошло до социализации женщин, сказал:

— Насчет социализации факт, конечно, печальный, потому что вдруг мне какая-нибудь из вас, беззубых, в принудительном порядке достанется. А вот насчет конины я ничего плохого не вижу. Мясо это отличное, к нему только нужен подход: положишь ее, конину, в котелок, нальешь воды и только скажешь: «но» — тут и закипело! Тогда знай покрикивай «тпру», чтобы не убежало.

Бабы поняли насмешку и начали на него кричать. Я его поддержала. Вот так и вышло, что, получив хлеб, мы пошли из булочной вместе, по дороге разговорились, и он сказал мне, чтобы я привела наших ребят из Союза рабочей молодежи на собрание в Районный штаб всеобщего военного обучения.

Мы, конечно, пошли. Собрание было посвящено проекту основных правил внутреннего устава красноармейца:

первое — солдат Красной Армии есть слуга Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, которая дала трудовому народу землю и волю и которую он обязан защищать от внешнего и внутреннего врага до последней капли крови;

второе — солдат Красной Армии должен хранить в чистоте оружие и обмундирование и беспрекословно исполнять все приказания начальников;

третье — солдат Красной Армии должен снискать со стороны товарищей и от всех граждан безграничную любовь и уважение, быть образцом вежливости, уступать место женщине, быть постоянным защитником детей и слабых. Товарищей он должен выручать из беды, удерживать от дурных поступков и быть готовым умереть за каждого;

четвертое — солдат Красной Армии должен высоко ценить честность, прямоту, неподкупность, храбрость и растить их в себе;

пятое — солдат Красной Армии не должен покидать свою часть без разрешения, а в свободное время обязан заниматься политикой.

После доклада об уставе был сильный спор. Больше всего говорили о том, что слишком уж тут напирают на дисциплину и подчинение начальству, так можно и старые порядки восстановить. К тому же правильно ли будет, если красноармеец, утомленный борьбой за Советскую власть, уступит в трамвае место буржуйке, она будет прохлаждаться, а он стоять на ногах?

А мы стали спрашивать: почему же в Красную Армию принимают только с восемнадцати лет? Выходит, если тебе шестнадцать или семнадцать лет, то ты не способен быть честным и неподкупным, что ты трус и шкурник. Мы считаем это обидным для рабочей молодежи, которая без ограничения возраста желает вступить в ряды Красной Армии.

Кудряшов ответил, что старого режима нам бояться нечего, что нам сейчас надо бояться разболтанности, которая приводит ко многим печальным последствиям. А насчет молодежи сказал, что он, как начальник строевой части, согласен принять на курсы молодых товарищей, если только они достойно себя зарекомендуют.

— Разбить врага, победить его — это вещь совсем не легкая,— говорил Кудряшов.— Нужно учиться разбивать врага. И мы охотно примем на Военные курсы всякого рабочего и крестьянина, кто желает этому учиться. Лучший залог свободы — винтовка в руках рабочего!

И вот каждый вечер, в те часы, когда Свердлов работал в Совнаркоме и я была свободна, я шла на Военные курсы. Придешь, наденешь гимнастерку, получишь винтовку и становишься в строй. Иван Федорович дает команду, без конца терпеливо поправляет:

— Товарищ Серегин, не торопитесь, слушайте внимательно!.. Ряды сдвой!.. Отставить! Товарищ Новикова, не ловите мух!.. Взвод, стройся вправо!.. Товарищ Миронов, не поправляйте фуражку!..

— Товарищ командир, она у него на нос сползла!

Строевые занятия сменялись изучением винтовки и пулемета. В девять вечера горнист играл «зорю», весь состав курсов выстраивался во дворе, и начальник штаба Борис Таль принимал рапорт.

А после отбоя, если вечер у тебя был свободным, можно было остаться на курсах — спеть любимые песни, побарабанить на пианоле и проговорить хоть до утра. Чего только здесь не было пересказано, о чем только не было переспорено, стихи каких только поэтов не прочитаны!

Однажды Борис Таль пришел с большим, плечистым человеком в сатиновой блузе. Бывают люди, которых можно сделать из каши или вылепить из теста. Такого, как этот, можно было только вытесать из мрамора.

Он протянул каждому огромную теплую руку и глубоким низким голосом сказал:

— Маяковский. Поэт.

Это имя тогда было настолько незнакомо, что кто-то хмыкнул, приняв его за псевдоним.

— Ничего, подходяще. Неплохо было бы и Каланчевский.

Маяковский дружелюбно огрызнулся и сразу заполнил собой, своим большим сильным телом и низким могучим голосом весь дом.

Не выпуская из зубов папиросы, он обошел комнаты, потрогал кожух «максима», подбросил на руке «лимонку», небрежно взглянул на яркое панно работы Александра Бенуа, остановился около написанной во всю стену прямо на обоях памятки:

ПОМНИ!
ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ НА ВОЙНЕ — ПОТЕРЯ ТВОЕЙ КРОВИ!
МАЛО ОТБИТЬ УДАР, НАДО УДАРИТЬ САМОМУ!
МАЛО ОТРАЗИТЬ ВРАГА, НАДО ЕГО УНИЧТОЖИТЬ!
ОТСТУПАЯ, ГУБИШЬ СЕБЯ, НАСТУПАЯ — СПАСАЕШЬ!
ПОМНИ!

СЕДЬМОЙ КРУГ

Совет Народных Комиссаров и общегосударственные учреждения, которые в просторечии тогда именовали «центральной властью», размещались в Кремле, в домах Советов и в нескольких гостиницах.

Домов Советов было три. Первый — гостиница «Националь», Второй — гостиница «Метрополь», Третий — бывшая духовная семинария на Садово-Каретной. Самым большим из них был Второй дом Советов — «Метрополь».

На стенах «Метрополя» виднелись следы пуль — память о недавних октябрьских боях. Особенно много было

их в той части здания, которая прилегает к Китайгородской стене. Весной и летом 1918 года тут помещался Народный комиссариат по иностранным делам.

Как-то ночью меня разбудили. Нужно было срочно перепечатать какой-то французский текст. Это было, вероятно, в середине мая.

Меня провели в комнату, в которой сидели два человека: матрос Маркин и нарком Чичерин.

Маркин был крупный, темноволосый, с большими руками, большими ногами. В октябрьские дни он с отрядом матросов занял здание министерства иностранных дел в Петрограде и остался охранять его. Когда советское правительство заявило, что оно приступит к опубликованию тайных договоров царского и Временного правительств, выяснилось, что прежние чиновники министерства иностранных дел разбежались. Они нарочно перепутали и частично уничтожили дела, а ключи от потайных шкафов захватили с собой.

Однако Маркин разыскал комнату, в толстые каменные стены которой были вделаны тщательно замаскированные сейфы, сумел их вскрыть и извлек хранившиеся там тайные договоры и секретную переписку министров, царедворцев и венценосцев. Рядовой матрос, малообразованный, но обладающий хорошим революционным чутьем, он понял, какое значение имеет публикация этих документов. Маркин нашел переводчиков и, не отходя от них ни на шаг, чтобы они не разворовали документы, следил за их работой. Когда переводы были закончены, он уселся за чтение документов, сам систематизировал их по годам, по государствам, по отдельным вопросам — и в тяжелейших условиях тех лет за считанные недели осуществил публикацию нескольких томов документов.

Летом восемнадцатого года Маркин отправился на Восточный фронт, принял участие в создании Волжской военной флотилии, а осенью погиб в бою с белочехами.

Чичерин внешне был его полной противоположностью. Близорукий, бледный, тонкий в кости, он носил старомодный длинный сюртук и, несмотря на теплую погоду, заматывал шею длинным шерстяным шарфом.

Впервые я увидела Чичерина на Четвертом Чрезвычайном съезде Советов, созванном для ратификации Брестского мирного договора. Съезд заседал в Колонном зале Дома союзов. Среди белых мраморных колонн темнели крестьянские зипуны, солдатские шинели, рабочие

куртки, матросские бушлаты. После доклада Ленина и выступлений противников заключения мира слово было предоставлено Чичерину. Он должен был огласить текст договора. В полной тишине он сдавленным голосом зачитал пункт за пунктом этот тягчайший документ.

Потом приступили к поименному голосованию. Аванесов называл фамилию и имя делегата. Откуда-то из густого махорочного дыма слышалось: «За!», «Против!». Очень долго шли Ивановы. Когда был вызван Иванов Иван Иванович из деревни Ивановки Иваново-Вознесенской губернии, Мартов бросил презрительную реплику: «Волостной сход!»

Примерно на букве «О» позади сцены произошло какое-то движение. Аванесов обернулся. «Продолжайте, продолжайте»,— сказал Свердлов. Потом мы узнали, что за его спиной от замыкания проводов начался пожар.

Уже к середине голосования стало ясно, что большинство съезда — за мир. Брестский договор был ратифицирован. И теперь на долю Чичерина выпала тяжелейшая миссия: он должен был вручить договор торжествующим победителям, а затем на протяжении долгих месяцев встречаться с ними, выслушивать их наглые претензии, не давать повода для провокаций.

Он делал все это с абсолютным самообладанием, ровно, тихо, незаметно. Глядя со стороны, можно было подумать, что это дается ему без труда и насилия над собой.

Когда я вошла в кабинет Чичерина, он показывал Маркину какую-то книгу. Подойдя, я увидела, что это «Божественная Комедия».

Видимо, заканчивая разговор, Чичерин сказал Маркину:

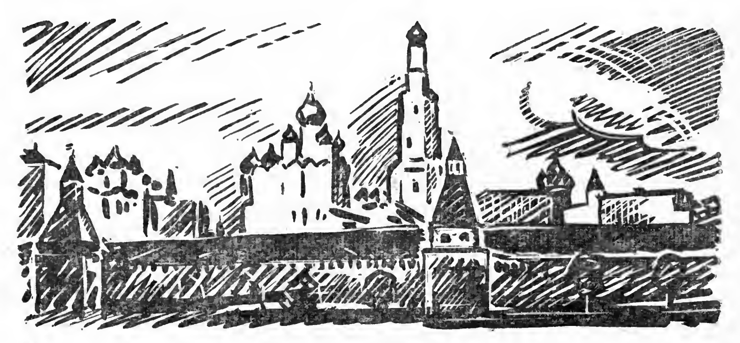
— Седьмой круг ада предназначен для тиранов, которые жаждали золота и крови. Если бы Данте писал «Божественную Комедию» сегодня, он наверняка поместил бы в седьмой круг прусских юнкеров с их закрученными вверх усами...

КОМНАТА № 287

Через несколько дней после того, как исключили из Советов правых эсеров и меньшевиков, рабочие комнаты Президиума ВЦИКа были перенесены во Второй дом Советов. Причиной тому послужил случай, который про-

изошел с одним сибирским крестьянином, приехавшим в Москву к Свердлову.

Чтобы пройти в Кремль, надо было получить у Троицких ворот пропуск. До звонков и запросов тогда еще не додумались, и выдача пропусков зависела от дежурного, сидевшего в будке. Народ в Кремль проходил самый разный — от секретарей губкомов и командующих армиями до богомолок, жаждавших приложиться к иконам в кремлевских соборах.



Пропуска сначала выдавались легко, но после раскрытия заговора «Союза защиты родины и свободы» и белочешского мятежа стало построже. В эти-то дни и появился у нас тот самый крестьянин.

Все в нем было крестьянское, сибирское: и высокая, ладная стать, и борода лопатой, и серый армяк, и то привычное движение, которым он, сняв шапку, остановился у порога и поднял глаза к переднему углу, ища божницу.

— Вам что, товарищ? — спросила я.

— Мы к Свердлову, Якову Михайлычу.

— По какому делу?

— Про то мы только им скажем.

Я предложила ему присесть, подождать, пока Яков Михайлович освободится. Он сел на кончик стула и молча ждал, посматривая по сторонам.

— Заходите,— сказала я, когда подошла его очередь. Он заволновался.

— Там Яков Михайлыч сами лично будут?

— Разумеется.

Вдруг он сел на пол и стал стягивать свои пыльные разношенные сапоги, подбитые толстыми подметками. Я смотрела, ничего не понимая.

Пошарив в кармане, он достал нож, вспорол голенище и вытащил из-под подкладки сложенную чуть ли не вшестнадцатеро карту. Из другого сапога он таким же манером достал какие-то документы и прошел в кабинет.

Через несколько минут дверь кабинета распахнулась. Оттуда стремительно вышел Свердлов, ведя за руку босого, несколько растерянного сибиряка, державшего под мышкой распоротые сапоги.

— Я наверх,— бросил Яков Михайлович на ходу.

Это значило, что он идет к Ленину.

Уже потом я узнала, что необычный посетитель пришел к Свердлову прямиком из Сибири. На буферах, на подножках и крышах вагонов, пробираясь ползком через линии белых и красных фронтов, он привез в Москву первую весть от товарищей из сибирского подполья. На спрятанной в его сапоге карте были известными ему знаками нанесены сведения о войсках противника и о пунктах расположения зарождающихся партизанских отрядов.

— Отдашь эту карту в руки самому Якову Михайловичу Свердлову,— сказал, напутствуя его, Иван Адольфович Теодорович, который весной уехал в Сибирь отгружать хлеб для рабочих центров, был отрезан белочешским восстанием и сделался одним из организаторов партизанского движения в Сибири.

Три недели без малого Егор Трофимович Черных добирался до Москвы, не спал, не ел. И вот, когда все, казалось, было уже преодолено и он находился у самой цели, в будке перед Троицкими воротами на просьбу дать пропуск ему ответили: «Нельзя!»

На второй день он пропуск все же получил. Но трудно передать, как рассержен был Яков Михайлович, как разгневался Владимир Ильич, узнав про мытарства Черных. И тут же они решили: приемная председателя ВЦИКа должна быть немедленно вынесена из Кремля в город, в самый центр.

Свердлов сам поехал во Второй дом Советов и выбрал для приемной угловой номер на втором этаже, выходивший окнами на площадь, которая впоследствии была названа его именем.

Напрасно работники охраны предупреждали об опасности такого решения, принятого чуть ли не на другой день после убийства Володарского. Свердлов был непреклонен.

— Вопрос решен,— отвечал он, отметая все возражения.— Нужны два стола. В коридоре непременно поставьте скамьи. Портьеры и прочую дрянь сдерите к черту. И чтоб готово было не к пятнице, не к четвергу, а завтра же. Да, да, завтра к девяти утра.

В этот же день из номера убрали аляповатую мебель, поставили два стола и несколько стульев, а в тупичке коридора была устроена комната для посетителей. У входа в гостиницу, рядом с вертящейся стеклянной дверью, повесили фанерную доску с надписью красными чернильными буквами: «Приемная председателя ВЦИК. Комната № 237». И народ со своими заботами, тревогами, надеждами, сомнениями, радостями, горем, отчаянием и мечтами волной хлынул сюда, в эту комнату, в который изо дня в день вел прием Яков Михайлович Свердлов.

«СЛУШАЮ ВАС, ТОВАРИЩ!»

Когда в комнате № 237 расставляли мебель, стол Свердлова поставили параллельно окну, так что свет падал на лицо посетителя, а лицо Свердлова оставалось в тени.

Увидев это, он рассердился:

— Разве может человек доверчиво разговаривать, когда вы его так усаживаете? — И сам переставил стол боком к окну.

Прийти на прием мог каждый. Сначала Свердлов вел прием один; потом в соседней комнате — 237а — стал принимать секретарь ВЦИКа Варлаам Александрович Аванесов. У него тут же стояла узкая железная койка, покрытая клетчатым пледом, и он не уходил отсюда по нескольку суток. Поспит ночью часа два-три и снова ссутулится над столом.

Неуклонное правило, установленное Свердловым, гласило: «Ни один рабочий, ни один крестьянин не должен уйти с приема, не получив исчерпывающего решения по своему делу».

— А как быть с представителями прочих классов? — спросила я.

Этих приходило немало — и все как на подбор: дамы с накладными шиньонами, исхудалые господа, волочащие подагрическую ножку, юркие ходатаи по делам.

— Гоните их в шею, только вежливо. Идите, мол, туда-то и туда-то, там вы получите ответ. Но, чур, точно объясняйте, куда и как пройти.

Чаще всего вопросы, с которыми к нему обращались, он разрешал тут же. Но если дело было такое, что Свердлов не мог решить его сам, он звонил нужному работнику или же курьер Гриша отводил к этому работнику посетителя.

Войдет человек, Свердлов покажет на кресло около стола и скажет: «Слушаю вас, товарищ!»

Каждого человека, который хоть раз у него побывал, Яков Михайлович запоминал навсегда, запоминал всего — с его характером, способностями, биографией, сильными и слабыми сторонами. О каждом сколько-нибудь значительном работнике партии он мог сказать: «Вот этот — хороший организатор, в пятом году работал в Туле, потом в Москве, сидел в Орловском каторжном централе, ссылку отбывал в Якутии. А этот как организатор слабоват, зато агитатор отличный...»

Как-то на прием пришел чуть сгорбленный человек с сильной проседью в густых темных волосах. Яков Михайлович в эту минуту разговаривал по телефону. Положив трубку, он сказал:

— Ну, слушаю тебя, Богдан!

Посетитель с недоумением посмотрел на Свердлова:

— Откуда вы меня знаете? — Потом, вглядевшись, вскрикнул: — Товарищ Андрей? Ты?

Оказалось, что он когда-то работал с Яковом Михайловичем на Урале, знал его под партийным именем «Андрей» и даже не подозревал, что этот «Андрей» и есть Свердлов. А Яков Михайлович знал и помнил о «Богдане» все — и где тот за эти годы работал, и где сел, и каким этапом шел, и где работает сейчас.

Но еще удивительнее было то, что за несколько месяцев, которые можно было пересчитать на пальцах одной руки, он успел узнать и запомнить всю Россию, со всеми ее уездами и порой даже волостями; какие где Советы, чье в них большинство — большевиков или же левых эсеров, как они работают, что происходило на съездах Советов, как идет дело с организацией комитетов деревенской бедноты.

Он обладал огромным чутьем в определении характеров людей и их способностей.

Вот пришел к нему высокий, узкоплечий паренек лет восемнадцати, с большими красными руками, торчащими из слишком коротких рукавов гимнастерки. У него разметавшиеся, волнистые волосы и широко раскрытые глаза мечтателя. Он и был мечтателем.

— Я, товарищ Свердлов, ночей не спал. Я, товарищ Свердлов, все думал и думал. И я, товарищ Свердлов, придумал: удивительно просто можно покончить с буржуазией.

Что же он придумал? Разом отменить все деньги! Вместо денег выдавать каждому трудящемуся билетики, за которые тот получит нужные ему продукты и прочие предметы.

А что будет с буржуями? Им придет разом конец! Раньше буржуй на деньги покупал, а теперь — шиш! Что буржую останется? Либо работать, либо уехать из Советской России. Пусть едет, а хочет свои деньги увезти — пусть везет хоть вагонами. Нам деньги ни к чему.

То же и с крестьянами. Сейчас крестьянину нужны деньги. А тогда, ежели понадобились ему сапоги, или железо, или еще что, он будет сдавать хлеб, молоко, а за это получит трудовые билетики. Так не станет денег, не станет и спекуляции!

Яков Михайлович, гася улыбку, объяснил пареньку всю нелепость его плана.

— Подумайте, к примеру, о том, что у кулака продуктов много, а у бедняка мало. Кулак наменяет кучу билетиков, а бедняк — ничего! Вот и останется все постарому...

Потом расспросил паренька о нем самом. Оказался он тверским рабочим.

— На мануфактуре работаю, в красильном. Партийность моя — коммунист. Вступил добровольцем в Красную Армию. И как сказали нам, что надо отряд выставить, ехать драться с белогвардейцами, я и вызвался ехать на буржуазию.

К Свердлову он прибежал с вокзала, вечером их отряд отправляли на Самару против белочехов.

— Давайте условимся так,— сказал Яков Михайлович.— Когда разобьете белых, приезжайте в Москву и приходите ко мне. Я вас направлю в Социалистическую

академию общественных наук. Там вы познакомитесь с учением Маркса.

— Это, товарищ Свердлов, Карл Маркс, который с бородой на портретах?

— Он самый. Значит, жду вас, товарищ!

Когда он ушел, Свердлов, как он это часто делал, позвонил по «верхнему коммутатору».

— Владимир Ильич, у меня сейчас чудесный паренек был...

Сразу угадывая в посетителе друга, товарища, большевика, Яков Михайлович так же, с одного взгляда, распознавал врага.

Однажды пришел к нему мужик в рваных лаптях, ветхой посконной рубахе, глубоко нахлобученном картузе, согнувшийся, пришибленный. Я расчувствовалась и пропустила его, ни о чем не спрашивая.

— Мы, гражданин товарищ Свердлов, люди темные, руганью вскормлены, зуботычиной повиты, у порога выращены...

— Короче, короче,— сказал Свердлов.

С удивлением я почувствовала в его голосе необычную сухость. Я посмотрела на посетителя и только тут заметила, что из поношенного воротника рубахи вылезает могучий загривок.

— Мы вот этими, корявыми, хлебец добывали, земельку пóтом полили, ох и полили! А теперь в деревню к нам понаехали всякие, называются путиловские, созывают сход, руками машут, орут, кричат, чтоб земельку нашу отобрать да разметать по голытьбе, по нерадивым, а они-то на своих лошаденках и не спашут как должно. А хлеб, кричат, ссыпай в общий мешок, у кого сколько лишку, и на любое дело, с каким к ним ни придешь, орут: «Давай хлеб!» Да разве мы про них хлеб сеяли?..

— Значит, вы хлеб не про них сеяли?

— Не про них, гражданин Свердлов, не про них.

— Ну, а мы власть не про вас. Ступайте!

Но зато как он умел расшевелить думы и чувства тех, «про кого» создавалась Советская власть!

Бывало, придут к нему крестьяне по обычному житейскому делу — с жалобой или просьбой. Яков Михайлович слово за слово втягивает их в разговор. Крестьяне отвечают сначала несмело, потом все охотнее, и вскоре уже разгорается оживленная беседа.

— Главное — хлеб,— говорит один из них.— Урожай у нас сам-три или сам-два, а то бывает и так, что земля вернет семена и наградит тебя за весь твой труд соломой. До покрова-то еще ешь хлеб с солью да водицу с голью, а как снег ляжет — ты уж дожил до клюки, ни хлеба, ни муки.

Но это — только начало разговора. Посидят они еще с Яковом Михайловичем, поговорят, покурят, и уже слышишь рассуждение другого собеседника, в котором и по манерам, и по речам угадывается бывалый солдат-фронтовик.

— Народу у нас, конечно, большая сила, только надо ее правильно на приступ поднять. Помещиков мы из гнезд повыковыряли, кулаков прищучили, теперь жизнь наша вон она где, в наших руках. Нам бы этими руками работать, а мы час работаем, а пять часов мимо портков взад-вперед махаем. А почему? Да из-за лоскутов наших земельных.

Тут в разговор вступает третий собеседник.

— Беда с этими лоскутами,— соглашается он.— Вот взять меня. У меня девять лоскутов, и все в разных местах. Прямо не поля, а ремни с полынными краями. Мечешься с ними, словно баба с титечными ребятами. Встанешь затемно, да пока доедешь на своей карюхе до поля, да запряжешь лошадь, да вспашешь,— глядишь, день-то и прошел. Назавтра обратно то же самое. Вот так и мотаешься с поля на поле. Уже земля давно просохла, а ты все пашешь и сеешь в пыль, а потом собираешь одну полынь с меж.

И вот уже слышишь, как первый крестьянин сам, своим умом, только умело направляемый советом Якова Михайловича, приходит к новой мысли:

— Разве нам, беднякам, под силу завести свое хозяйство? Я думаю так, что нашей бедноте следует соединиться воедино в артель, отобрать у кулаков и хлебничков плуги, косилки, веялки, и забрать в имениях все, что стоит без последствия. Нечего нам ждать чьего-то права. Ломота в пояснице давно уж позывает нас взять это право в свои руки.

Но бывало и так, что Яков Михайлович, подняв трубку «верхнего», говорил, весь кипя от гнева:

— Вы послушайте только, Владимир Ильич, какую бумажонку, мне сейчас показали! *«Учкаж* передаем теле-

грамму *Учкиз* № 1951 поступают без указания в конце своего исходящего что создает тормоз работе озаботьтесь прекращении такого рода упущений № 365 *Довбом* изложенное дать точному исполнению 16415 Окркомиссар *Владимиров* член округа *Веселовский* с подлинным верно пом управляющего *Корсунский* Упр конторы *Щетинин* с копией верно секретарь *Глазунов* 238/12».

Нередко товарищи удивлялись, что Яков Михайлович тратит по несколько часов в день на прием посетителей. Их тревожила также опасность, которой он себя подвергал. Но Свердлов и слышать не хотел таких разговоров. Он был нужен людям, которые к нему приходили, но эти люди не в меньшей степени были нужны ему.

И влетело же мне, когда я записала просьбу не заставших его рабочих Тамбовского порохового завода в таких примерно выражениях: «Они просят указания, которое нужно для разрешения вопроса, который они выдвигают...»

— Да как вы могли такое нагородить? — спрашивал Яков Михайлович.— Ведь это показывает, что вы совсем не слышали того, что они вам говорили. Мы людей, которые приходят сюда к нам, к слугам Советской власти, обязаны слушать, вслушиваясь в каждое слово, в каждый звук. А вы: «Исходя... которого... который...» Ведь тут перед вами душа народа раскрывается. Слушайте и запоминайте! Такого вам никогда больше не увидеть и не услышать!

И я старалась слушать и запоминать...

ПРИЕМНАЯ СВЕРДЛОВА

— Барышня, нам к председателю бы...

— Товарищ гражданочка, гражданин Свердлов принимает?

— Мадемуазель, у меня неотложная необходимость быть принятым лично председателем Центрального Исполнительного Комитета.

— Мне к товарищу Свердлову. Дело очень срочное. Уж вы помогите, товарищ!

Кого только здесь не было! С какими только вопро-

сами сюда не приходили! Чего не наслушаешься и не насмотришься за день!

Иной раз прямо смех и горе.

Вот пришел старичок в картузе с козырьком, обшитым материей. Он задумал получить от Свердлова какую-то загадочную «отпускную бумагу».

— Какую же вам бумагу?

— Уж какую надо.

— Да к чему она вам?

— Значит, нужно.

— Для чего же?

— А для того, что требовается.

— А что вам требуется?

— Да вот бумага.

— Какая же бумага?

— Уж какая надо...

И опять — висело мочало, начинай сначала!

Вот пришла англичанка с тощей шеей, перехваченной крахмальным воротничком.

Пришла, встала посреди коридора, произнесла, глотая слова, длинную, невнятную английскую фразу и уставилась на нас глазами уснувшего судака.

Сколько мы ни бились, мобилизуя свой нехитрый запас английских слов, так и не удалось нам понять, чего она хотела. Пришлось вызвать товарища из Народного комиссариата по иностранным делам.

Яков Михайлович потом уверял, смеясь, что именно с нее Чехов писал свою «Дочь Альбиона».

Основную часть посетителей составляли крестьяне. Их сразу можно было узнать и по одежде, и по котомкам, и по говору, и по тому, что они никогда не проходили сразу в комнату, а сначала долго топтались у порога.

В первое время больше всего жалоб и просьб было связано с разделом помещичьих имений.

То придут ходоки из какой-нибудь деревни и жалуются на жителей соседнего села. Те захватили себе всю землю и амбарный хлеб местного помещика и заявляют, что помещик, мол, наш, а значит, имение наше, и земля наша, и хлеб наш.

То приходят с жалобой, что засевшие в сельсовете кулаки отказываются давать земельный надел женщинам. У баб, мол, мозги куриные, а рты широкие — что жрать, что реветь. «Будем делить на баб, что станет

делать с землей бабенка? Ни тебе косу править, ни тебе телегу обрядить-починить, ни тебе толком рассудить не может».

То просят дать управу на кулаков, которые ведут дележ помещичьего имущества так, что одному достается сенокосилка, а другому — дырявый мешок; кому бычок, а кому — изорванная хомутина.

Однако очень быстро на передний план выдвинулся вопрос о голоде, вопрос о хлебе, припрятанном кулаками.

— Им, мироедам, все на выгоду, все на прибыль,— говорили ходоки, посланные деревенской беднотой.— Попу похороны помогают, гробовщику — мор, а кулаку — голод.

Каких только прозвищ не давали кулакам: и «живоглоты», и «хлебнички», и «крутоземельники». А то просто короткую кличку: «Клещ»!

С каждым днем все отчетливее проступала испепеляющая ненависть к кулачеству.

Положив на колени натруженные руки, глядя упорным, угрюмым взглядом, крестьяне говорили:

— Дольше, товарищ председатель Свердлов, терпеть невозможно. Забор мы повалили, а столбы еще целы. Или они нас, или мы их, но мириться нам никак нельзя...

Как-то пришли двое крестьян в заношенных «до нету» пиджаках. С ними мальчик — синеглазый, белоголовый, босой, замурзанный. На нем рубашонка вся из кусочков, перешитая из ярко-васильковой женской атласной кофты.

— Насчет сироты мы, товарищ Свердлов.

Они подталкивают вперед мальчика, а тот таращит глаза на лампу со стеклянным абажуром.

Яков Михайлович внимательно слушает их рассказ. Рассказ длинный. О деревне Болотине, в которой, как они говорят, все благосостояние бедноты состояло из сплошного «как-нибудь»: без угла изба, без ноги стол, без петель дверь. О том, что бедняки были настолько запуганы, что не решались являться на сходы, а если и являлись, то стояли в сторонке и покорно соглашались с решениями крикунов-богатеев.

И вот в деревню вернулся с румынского фронта, вырвавшись из солдатского хомута, Никита Горбунов. Поселился в развалюшке на краю деревни и стал призывать бедноту, чтобы она обрезала крылья у кулаков.

Собрал сход, предложил организовать комитет бедноты и был избран его председателем.

Теперь беднота взяла всю власть в свои руки. Работа закипела. Весь состав комбеда выступил с отрядом по реквизиции хлеба. Во главе отряда стоял Горбунов. Проводились обыски. Описанный хлеб реквизировался и свозился в общий амбар. Часть хлеба отгружали в город, часть раздавали бедноте.

Кулаки, видя, что они «пришиты к делу», давай кидаться во все стороны, как волки в западне. Они угрожали Горбунову. Кричали на сходе: «Мудришь, брат! Пополам распоролся. Смотри, пожалеешь, да поздно будет!» На это Горбунов отвечал: если, мол, они скажут, что сегодня в двенадцать часов ночи придут и будут всех комбедовцев вешать, то он все равно отсюда не уйдет и будет защищать интересы бедняков, а не кулаков.

И вот поздней ночью кулаки Илья Обаимов и Федор Великанов подошли к избенке, где спал со своей семьей Никита Горбунов, выбили доску у входной двери, откинули таким образом крючок и проникли в дом. Были они в масках, сшитых из мешков, с топорами в руках и с большим зажженным фонарем. Они зарубили Никиту, его жену и четверых детей. Только самый младший, завернувшись в овчину, скатился под кровать, притаился там и заснул. Рано утром мальчишка выбрался из-под овчины, взял с собой котенка и с плачем пошел на улицу. Там он стал продавать котенка за три копеечки. Люди удивились, чего это мальчишка продает котенка. Тут он и рассказал, что тятеньку с маменькой зарубили... Пошли к ним домой, увидели убитых, а потом нашли убийц. Убийц заставили перед сходом рассказать подробности и потом расстреляли.

— А малого, товарищ Свердлов, девать некуда, потому что все голодные. Вот мы и решили отвезти его в Москву, просить центральную советскую власть позаботиться о нем. Рубашонка-то на нем из материной кофты. Подвенечная, из приданого, лежала в сундуке. Вся остальная одежда в крови, порублена на убитых.

Если крестьяне неизменно величали себя «ходоками», то рабочие говорили «мы делегаты...» или «мы представители...» Они тоже толковали об отсутствии хлеба, но чаще всего эти разговоры были связаны с организацией

продовольственных отрядов. И в прихожей для посетителей, и в разговоре со Свердловым они держались уверенно, свободно, как равные, а не как просители.

Вот пришли коммунисты текстильщики из Иваново-Вознесенской губернии. Яков Михайлович сразу узнал их по говору.

— А, ивановские! Проходите, садитесь!

Внешне они напоминают крестьян. Во всех их повадках так и чувствуется русская деревня. Но стоит им заговорить — и тотчас понимаешь, что перед тобой рабочие.

Они очень озабочены положением на своей фабрике. Две недели назад один из служащих в пьяном виде проболтался насчет каких-то выплат бывшим хозяевам. Фабричная контрольная комиссия решила проверить кассовые книги. В них обнаружились жульнические записи на несколько сот тысяч рублей. Обратились в совнархоз, чтобы прислали ревизора, и тот распутал целый клубок наглого хищничества и систематического выкачивания средств из предприятия прежними владельцами.

— Всего этого, может, и не было бы,— говорили делегаты,— но председателем фабричного комитета сидит некий Вдовкин, который идет на поводу у хозяйского правления и говорит рабочим, что вот, мол, куда же вам работать, когда вы ходите голодные. Распустили народ так, что смотреть тоска. Многие рабочие лодырничают, стараются как-нибудь отмахать смену, прийти попозже, уйти пораньше. А члены фабричного комитета, вместо того чтобы следить за порядком, ходят по фабрике, как журавли по болоту, и ни бельмеса не видят и не понимают, а если и видят и понимают, то указать рабочим на недостатки не желают.

А тут еще шныряют темные личности из меньшевиков. Они подзуживают рабочих требовать уплаты по полному расчету за май месяц, а из всего месяца фабрика работала только двенадцать дней. На собрании подняли крик: рабочие, мол, не виноваты, что фабрика остановилась. Но удовлетворить эти требования не представляется никакой возможности — в кассе денег нет, их разворовали хозяйские прислужники.

Мы так думаем, товарищ Свердлов, про наших правленцев да про Вдовкина, что этих собак давно пора привязать покороче да посадить в кутузку. А на фабрике завести такие порядки: кто хочет лодырничать, тех карать согласно революционному закону.

...Вот другой рабочий-представитель, которого фабричный комитет направил в центр за сырьем.

— Я, как рабочий, хочу высказать вам, товарищ Свердлов, насчет этой проклятой челобитчины и оттяжек и отписок.

Ходили мы с нашим делом уже два месяца. Наконец нам говорят: «обратитесь в «упеке». Пошли мы в это самое «упеке». А они вместо работы поскакали разыскивать номер входящий, номер исходящий, отношение, разрешение, черт его знает за каким номером. Полетели депеши. Наконец товарищ Сивков выразился, что он согласен дать разрешение.

Пошли мы к секретарю, чтобы он это разрешение выписал. Но тот заявил: «Мне, знаете ли, некогда. Обратитесь в отдел». Но я должен заметить, что товарищ в это время совершенно ничего не делал и стоял у своего стола, куря папироску. Приходим в отдел, тут та же история: сидит человек, покуривает трубочку, по типу его нельзя назвать товарищем, а скорее господином; он либо из мелких буржуев, либо интеллигент, стоящий на платформе буржуазной власти. Мы обратились к нему. Он говорит: «Подождите». Ждем... Около нас с разными просьбами собралось много граждан, волнуются, почему их задерживают. И так, не дождавшись разрешения, мы ушли. Тут дело ясное: господин старого времени. А товарищ Сивков? Ведь это человек из нашей трудовой среды, испытавший на себе тяжесть прежней жизни. И вот теперь, когда его посадили наверх, то есть на почетное место, он вдруг облек себя в личину прежнего времени.

Зачем же мы видим такое в наших советских учреждениях? Может, для всяких буржуазных господ волокита — это их суть и задача, но при чем здесь население, на которое летят шишки? Позор товарищу Сивкову, из-за него эта чиновничья шваль бьет нашего брата рабочего.

...Группа рабочих с Путиловского завода. Сразу видишь питерцев. Привезли в дар Совнаркому вагон сельскохозяйственных орудий.

Передавая Свердлову документы на груз, один из них говорит:

— Как делегаты рабочих, мы приветствуем, товарищ Свердлов, в вашем лице дорогое нам рабоче-крестьянское правительство. Нами доставлен в Москву вагон кос и серпов, изготовленных рабочими нашего завода для

товарообмена с крестьянством. Делали мы их из отходов, работали сверхурочно. При вагоне имеется резолюция общего собрания рабочих, в которой указывается, что наша промышленность в итоге четырехлетней войны совершенно рушится и мы должны спасти ее и поднять своими крепкими руками, для чего довести до максимума производительность труда на началах пролетарской самодисциплины.

Рабочие нашего завода просят вас, товарищ Свердлов, передать пламенный революционный привет товарищу Ленину и международному пролетариату и надеются, что уже скоро представится возможность выйти из империалистического кольца и нанести поражение западноевропейским империалистическим хищникам, проложив путь к революции в Западной Европе. Да здравствует мировая революция!

И снова деревенские сермяги, лапти, онучи. Но на этот раз пришли не просто крестьяне, а члены комитета бедноты. Чувствуется, что это уже новые люди. Даже манера держаться, даже осанка у них иная.

Яков Михайлович просит поподробнее рассказать о комитете бедноты.

— Голодающая беднота нашей волости,— говорят они,— сначала боялась. Но потом бедняки, видя хлеб у соседей-богатеев, поняли, что только с комитетом голодной бедноты можно вырвать припрятанный хлеб.

В комбед выбрали руководителей из более сознательных и решили, что бедняки должны действовать во всех случаях дружно, не стесняясь правды. В товариществе будем уважительны и всячески помогать друг другу. Одним словом, как братья одной матери.

Беднота сплотилась в отряд, который отправился для учета хлеба у зажиточных. Оставляли им на пропитание по сорок фунтов на душу, остальную муку отбирали и сдавали в общий котел для раздачи голодающим и отправки в город. В иных кулацких семьях отбирали по девяносто и по сто пудов. Потом комитет бедноты стал вызывать кулаков. Им объявляли: «Вы по скольку драли с бедняков за муку? По триста рублей за пуд? Гони, брат, три тысячи рублей на общие нужды».

Вот так, пощипав кулаков контрибуцией, комитет бедноты собрал девятнадцать тысяч рублей и хочет

приобрести на эти деньги три плуга железных, хороших, да коней, чтоб уборку хлебов и вспашку произвести артелью.

Кулаки видят, что бедняки поднялись против них, и беспокойно озираются: «А что, ежели, хотя не может быть этого, но а ежели все-таки в самом деле большевики окончательно возьмут верх?»

Трусят они теперь, всего боятся, как мыши. Стоит только кому на заре из ружья по тетеревам выстрелить или если мальчонка какой, шаля, ударит по забору палкой, кулаки пугаются, кричат:

— Беднота идет наше последнее добро отнимать!

А то обрадуются:

— Не немец ли?

Тогда выбегают из домов, снимают шапки, на кресты церковные молятся и приговаривают:

— Господи милостивец, пошли Федора Васильевича на избавление от бедноты.

Они прозвали Федором Васильевичем германского императора Вильгельма и служат за него в церквах молебны.

Им хоть немца, хоть француза, хоть американца — только бы свалить Советскую власть. Да напрасны их надежды. Нас дерьмом не запугаешь!

МОСКОВСКИЕ ПОЖАРЫ

Особенно запомнился мне день 28 июня, пятница. В этот день у Свердлова был обычный прием. Я стояла в коридоре и спрашивала посетителей — кто, откуда, по какому делу. Вдруг со стороны лестницы послышался шум, и из-за угла показалась толпа человек в тридцать — сорок.

Впереди шли женщины — злые, растрепанные, горластые. Все, как одна, в сбившихся на затылок серых бумажных платках, рукава черных кофт засучены, юбки подоткнуты, кулаки сжаты. Они шагали, глядя вперед немигающими глазами, лица их горели темным огнем.

Мужчины держались позади. Они молчали, хмуро насупившись. Это тяжелое молчание было, пожалуй, похуже женского крика.

— Свердлова нам! — кричали женщины.

Посетители испуганно прижались к стенам. Я инстинктивно загородила собой дверь.

— Пусти, девка,— сказала та, что шла впереди всех. Суровая, грозная, словно пришедшая сюда с Красной

площади в день стрелецкого бунта, она движением сильной руки отшвырнула меня в сторону и распахнула двери кабинета.

Бог его знает, как обернулось бы дело, если бы Яков Михайлович хоть на секунду растерялся или встретил бы эту разъяренную толпу враждебным окриком. Но на то он и был настоящим пролетарским революционером — умным, мужественным, любившим и понимавшим народ,— чтобы в такую необычайнейшую минуту найти самые нужные и верные слова.

Он встал и сказал:

— Я Свердлов! Если я вам нужен, заходите.

— И зайдем! — крикнула та высокая, грозная, что шла впереди всех.

Комната оказалась мала. Задние напирали, толкались.

Все с тем же спокойствием Свердлов принялся наводить порядок: одних он усаживал, другим предлагал подвинуться в сторону, третьих приглашал пройти вперед. Он даже принялся переставлять стол к окну, чтобы освободить еще немного места. Кое-кто стал ему помогать.

И толпа, еще минуту назад враждебная, толпа, которая ожидала, что она увидит перед собой стену, и готова была прошибить эту стену грудью, кроша и ломая все вокруг,— эта толпа уже стала иной. Еще не дружественной, но уже не враждебной, не бессмысленно беспощадной.

— Так в чем же дело, товарищи? — спросил Свердлов.— Я слушаю вас. Говорите.

— Ясно в чем,— сказала та, что стояла впереди всех.— В голоде!

Положение в Москве тогда было такое, что хуже некуда. За весь июнь выдали на человека по рабочим карточкам меньше пяти фунтов черного кислого хлеба, перемешанного с соломой и отрубями, а по остальным карточками и того меньше. Последние четыре дня хлеба вообще не давали.

Раньше рабочим все-таки удавалось съездить в деревню и привезти немного муки или печеного хлеба. Теперь комитеты бедноты запрещали неорганизованную закупку. Купить хлеб можно было только из-под полы, у кулака, за непосильную цену. Но даже если и купишь его, привезти все равно было невозможно: поезда приходилось брать приступом, да к тому же на дорогах стояли заградительные отряды. И выходило так, что все бедствия голода обрушивались на рабочих и бедноту.

Вот тут-то меньшевики почувствовали себя в своей стихии! Кто лучше их умел доказывать, что победа революции невозможна? У кого имелся такой арсенал всяческих доводов, обосновывающих утопизм социалистического преобразования России? Кто располагал такими прожженными политическими ораторами, которые уже полтора десятилетия тренировались по части сеяния паники и неверия в революцию?

Понимая, что победить Советскую власть в открытом бою невозможно, они пытались взорвать Советы изнутри и создали орган, который должен был, свалив Советы, восстановить диктатуру буржуазии.

Таким органом были липовые «бюро рабочих уполномоченных», созданные меньшевиками в Петрограде, Москве, Туле, Нижнем Новгороде и других городах в противовес Советам рабочих и крестьянских депутатов.

На 4 июля, день, когда должен был открыться Пятый Всероссийский съезд Советов, меньшевики назначили дутый «Всероссийский съезд рабочих уполномоченных».

Исключенные члены Советов и мнимые «делегаты рабочих» шныряли по фабрикам и заводам, нашептывая только одно слово — «хлеб» — и призывая к забастовкам.

26 июня такой «рабочий делегат» явился на фабрику Жако. Он назвался Петром Афанасьевым, токарем с завода Бромлей. Афанасьев говорил, что рабочие, мол, голодают, а комиссары жрут от пуза. Пускай дают хлеба, а не дадут — бросай работу!

Ему удалось протащить на собрании резолюцию.

«Мы, все рабочие фабрики Жако, заявляем, что без хлеба работу производить не будем. За эти дни требуем, чтобы нам заплатили, а когда придет хлеб, тогда будем работать».

Это было, конечно, не совсем то, чего хотелось «делегату рабочих», но для первого шага достаточно.

Ранним утром 28 июня этот «делегат» снова явился на фабрику. Пройти внутрь ему не удалось, так как в проходной его арестовали. Об этом узнали меньшевистские центры. На фабрику приехала чуть ли не вся меньшевистская верхушка, меньшевики устроили митинг и предложили послать во ВЦИК и ВЧК — к Свердлову и Дзержинскому — делегацию, которая потребовала бы освобождения Афанасьева. Расчет был ясный: натравить рабочих на советские органы, а там, когда огонек будет пущен, раздуть его.

И вот спровоцированные рабочие сидели перед Яковом Михайловичем Свердловым. Что они передумали, что перечувствовали, пока под любопытствующими взглядами прохожих шагали от Спасской заставы по камням мостовой? Надеялись на удачу? Готовились к отпору? Страшились тюрьмы? Так ли, иначе ли, но уж во всяком случае меньше всего они ждали, что будут спокойно приняты дружелюбным человеком, который приветливо скажет им: «В чем дело, товарищи? Я слушаю вас. Говорите».

Но когда они заговорили, гнев, который их привел, снова вырвался наружу. Голод. Хлеба нет. Детишки мрут. Поехал в деревню, достал малую толику муки для ребят — заградиловка все отняла. Большевики нахваливались, что когда свалят «временных», так будут тучи блинные да дожди пирожные, а на деле вышло так, что и камня на зуб положить нету.

Подняв на Свердлова горящие глаза, та, что стояла впереди, негромко сказала:

— Коль берешь на себя тягу, так сперва примерь, в подъем ли...

Особенно разгорелись страсти, когда разговор дошел до ареста Афанасьева. Как же так? Пришел человек — свой, рабочий человек, понимающий, раскрыл глаза людям, посоветовал, обещался помочь, и этого вот человека схватили, как при Николашке, и посадили в острог! Где ж тут свобода?

Сейчас на фабрике собрались бастующие рабочие и послали сюда делегатов требовать, чтобы Афанасьев был немедленно освобожден и привезен к ним.

— Хорошо,— сказал Свердлов.

Он поднял телефонную трубку и очень громко, так, чтобы все слышали, сказал:

— Дайте Дзержинского... Феликс Эдмундович, я прошу вас сейчас же прийти ко мне.

Пока ждали Дзержинского, снова наступила небольшая развязка. Всем хотелось пить. Мы вместе с одной из фабричных женщин принесли ведро воды и кружки.

Дзержинский пришел быстро. Он сразу все понял.

— Товарищ Дзержинский! — сказал Свердлов.— Это делегация фабрики Жако. Рабочие просят немедленно освободить и доставить к ним арестованного Афанасьева. Прошу вас отдать об этом распоряжение. А я вместе с делегацией поеду на фабрику.

— Слушаюсь, товарищ Свердлов.

Тут же по телефону Дзержинский велел освободить Афанасьева и подать к «Метрополю» две грузовые машины.

Подпрыгивая на выбоинах и оставляя за собой хвост желтой пыли, грузовики проехали Воронцово поле, Таганку, Спасскую заставу. Вот показались ворота фабрики.

— Приехали... Слезай!

Фабричный двор был запружен народом. Все устали от жары и ожидания, но никто не уходил. Толпа молча расступилась перед Свердловым, потом так же молча сомкнулась.

Едва Свердлов подошел к импровизированной трибуне, сделанной из бочек, перекрытых досками, к воротам подъехала легковая машина.

— Афанасьев! Афанасьев приехал! — зашумела толпа.

Афанасьев был арестован в момент, когда меньшевики вкупе с другими партиями создали разветвленный контрреволюционный заговор. В тюрьму он ушел с убеждением, что сидеть ему недолго: со дня на день произойдет антисоветский переворот. Уже была назначена всеобщая политическая забастовка в Москве, Петрограде, во всех крупнейших промышленных центрах и на железных дорогах. Расчет строился на том, что в хаосе всеобщей забастовки «Всероссийский съезд рабочих уполномоченных», поддержанный интервентами, захватит власть.

Когда перед Афанасьевым раскрыли двери тюремной камеры, усадили его в легковую машину и привезли на фабрику Жако, он решил, что контрреволюционный переворот уже свершился и что в его лице сейчас будут приветствовать партию победителей, сваливших диктатуру пролетариата.

И тут его понесло! Он закатил речь, в которой выражал удовлетворение «победой демократии», «концом Совдепии», «началом новой эры». Он благодарил «дорогих союзников» за помощь и заверял, что Россия покончит с «брестским позором» и возобновит войну против Германии.

Было удивительно наблюдать, как на глазах менялись лица слушавших Афанасьева рабочих.

Сначала они смотрели на него со светлым доброжелательством: ведь он за них пострадал и вот благодаря им он вернулся из тюрьмы. Потом на их лица легла тень недоумения. По мере того как Афанасьев расписывал свои восторги, эта тень становилась все темнее. Два дня

назад, призывая их прекратить работу, Афанасьев клялся, что эта забастовка из-за хлеба, а не против Советской власти. А сейчас, стоя на том же самом месте, он упивался мнимой гибелью большевиков и возобновлением войны с Германией.

По толпе прошел грозный ропот.

— Пора!— весело сказал Свердлов.

Легко вскочив на бочку, он прошел по прогнувшейся под ним доске и встал рядом с Афанасьевым. Тот умолк, широко раскрыв рот, и принял ту самую классическую позу, в которой потом наши «синеблузники» тысячи раз изображали меньшевика, ошеломленного победой пролетарской революции.

— Ну вот, товарищи! — сказал Свердлов.— Господин меньшевик показал нам, какой свободы хочет его партия. Это — свобода позвать союзный капитал, свобода старым хозяевам возвратить себе фабрики и заводы, свобода помещику взять обратно землю, свобода кулаку драть по пятьсот рублей за пуд муки, свобода Краснову и Скоропадскому вздергивать на виселицы рабочих. Вы видите, что меньшевики рассыпáлись перед вами мелким бисером, прикидывались этакими невинными карасями, но, положи им палец в рот, они откусят его по-щучьи, до последнего сустава...

— Слышано!— крикнул голос из задних рядов.— Ты бы лучше хлеба привез.

— Не мешай,— ответила ему толпа.

Свердлов объяснял, почему нужна хлебная монополия, почему нельзя допустить свободу торговли. Слова его уже встречались одобрительными репликами: «Правильно! У одного мешками запасы, а у другого вовсе ничего!», «С такой свободной торговлишки буржуазы карманы набьют, а беднота вовсе оголодится!»

Свердлов призвал к организации, к сплочению сил рабочего класса, к записи в продовольственные отряды и в Красную Армию.

И когда он спросил, кто за хлебную монополию, поднялся лес рук.

Такой же лес рук поднялся, когда молоденький рабочий, щуплый, слабенький, вспрыгнул на бочку и звонким срывающимся голосом предложил завтра всем рабочим явиться на работу, а всякого неявившегося осудить, как сознательно выступающего против рабочего класса и играющего на руку контрреволюции.

Об Афанасьеве все забыли и даже не заметили, как его увели туда, откуда привели.

На этом и закончилось собрание. Обступив Свердлова, люди медленно двигались к воротам.

Вдруг откуда ни возьмись появился рыжий вихрастый мальчишка, настоящий Степка-Растрепка из детской книжки.

— Товарищи! — закричал он. — К нам на Симоновку Ленин приехал! Айда скорее!

Бегом, наперегонки, все кинулись за ним. Бежать пришлось не близко.

Был тогда такой обычай: каждую пятницу Московский комитет партии проводил по рабочим районам и по фабрикам и заводам открытые митинги, на которых выступали виднейшие большевистские ораторы. Темы для митингов выбирали самые острые, волновавшие широкие народные массы. В пятницу 28 июня такой темой была «Гражданская война».



В длинной столовой завода АМО[1] набилось больше двух тысяч рабочих из Симоновой слободы. Слово было предоставлено товарищу Ленину. Когда отгремели первые приветственные рукоплескания и Ленин начал говорить, по толпе будто пробежала волна. Гребень этой волны поднялся сперва неподалеку от трибуны, так в третьем-четвертом ряду, и побежал, побежал к задним рядам. Толпа поднялась, стала выше. Это один ряд за другим

[1] На его базе вырос нынешний завод им. Лихачева.

привставал на цыпочки, чтобы лучше видеть и слышать Владимира Ильича.

Ленин в этот день, видимо, много говорил, голос у него был утомленный, но стояла такая тишина, что его было слышно в самых дальних рядах. Он говорил, что сегодня тяжело, но завтра будет еще тяжелее; что впереди война, кровавая война, и хотя война вообще противна стремлениям партии коммунистов, но партия зовет рабочих на эту войну, ибо это война священная, война гражданская, война рабочего класса против его угнетателей.

...Я стояла возле той женщины, которая сегодня днем, всего несколько часов тому назад, впереди делегации бастующих рабочих фабрики Жако ворвалась в кабинет Свердлова. Тогда лицо ее дышало гневом. Потом, во время речи меньшевика Афанасьева, я видела это лицо другим — сердитым, недоумевающим.

И вот теперь, слушая Ленина, я поглядывала на нее. Она скинула свой платок, и я увидела русскую красавицу с глубокими серыми глазами и широким разлетом темных бровей.

То ли от усталости, то ли от волнения, она была сейчас очень бледна. Внимательно, в страстном напряжении слушала она Ленина. Как вспыхнуло это прекрасное лицо, когда Ленин сказал:

— Народ устал, и его, конечно, можно толкнуть на какое-либо безумие... ибо народ в своей массе темен.

Сколько раз я уже слушала Ленина, сколько раз за последние недели он говорил и о надвигающемся голоде, и о необходимости поднять деревенскую бедноту, чтобы взять хлеб у кулаков, и всегда он находил новые слова, новые образы, самые близкие, самые доступные тем людям, к которым он обращался в данную минуту.

И хотя эти люди слышали от него, что их ждут впереди новые трудности, новая борьба, новые жертвы, что за победу им придется отдать все,— может быть, даже жизнь,— чувство огромного светлого счастья наполняло их души. Все становилось нестрашным, нетрудным, лишь бы победила революция! И с какой потрясающей силой звучал в такие минуты «Интернационал»!

Утром 2 июля окончательно определился провал той всеобщей забастовки, которую пытались устроить меньшевики. В кабинете Свердлова каждые несколько минут

звонил телефон: ему сообщали, что рабочие повсюду вышли на работу. Кое-где, правда, помитинговали — и все!

В начале одиннадцатого снова зазвонил телефон. Далекий, невнятный голос что-то кричал. Можно было разобрать лишь слово «пожар!».

Я бегом побежала на крышу «Метрополя». Небо было в легких белых облаках. Только в той стороне, где находится Симонова слобода, оно казалось сероватым. И вдруг на этом сером фоне взметнулся вверх огромный столб дыма и пламени и донесся глухой взрыв. Белые кудрявые облака окрасились снизу огненно-красным, а потом утонули в дымной мгле.

Когда я спустилась вниз, было уже известно, что горят товарные склады, пакгаузы и железнодорожные постройки на станции Симоново. Уже взорвалось несколько баллонов с кислотами и эфирными веществами, угрожала опасность взрыва находящихся поблизости симоновских пороховых погребов. Туда были брошены все московские пожарные части.

Яков Михайлович спокойно отдавал распоряжения. На помощь пожарным послали красноармейцев.

Вошел мотоциклист. Яков Михайлович посмотрел на меня.

— Давайте-ка поезжайте на фабрику Жако. Вы дорогу знаете. Узнайте, как там дела.

Уже у Таганки мы почувствовали в воздухе запах гари. Население Воронцовской высыпало из домишек на улицу. Люди с тревогой всматривались в серо-багровое небо. Снова послышались взрывы. Нас обдавало горячим сухим ветром.

Над фабрикой Жако клубились облака пара, сквозь которые смутно виднелись человеческие фигуры. Шум от самого пожара был такой, что казалось, будто большая пожарная помпа работает беззвучно. Пожар был рядом, совсем рядом.

Мы вошли во двор. Рабочие фабрики, встав в цепь, из рук в руки передавали на крышу ведра с водой.

Произошел какой-то перебой. Знакомый мне сильный женский голос закричал:

— Эй, живей вы там! А то, будто меньшевики, сопли растягиваете!

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

Пожар в Симонове бушевал весь день. Порой пламя удавалось примять, но через несколько минут оно вспыхивало с новой силой. Изнемогавших от нечеловеческих усилий пожарных оттаскивали в сторону, обливали водой, и они снова бросались в огонь.

К вечеру огонь утих. На огромном пожарище дымились обломки железа и груды тлеющего дерева. Временами по ним пробегали синие язычки пламени.

Наутро город был затянут душной пеленой дыма. По угрюмому небу плыло тяжелое багряное солнце, тоже похожее на отблеск пожара.

Третьего июля по карточкам выдали на пять талонов по восьмой фунта хлеба. В очереди около булочной шел разговор, что, мол, большевикам не сегодня-завтра конец. Доказательств этому было много: во-первых, белая кошка окотилась черным кобелем, говорившим человеческим голосом и проявившим обширную политическую осведомленность. Во-вторых, было точно известно, что Совет Народных Комиссаров удрал в Казань и увез с собой пятьсот швейных машин и три вагона золота. В-третьих, по тем же точным сведениям, Петроград был без боя сдан немцам. В-четвертых... В-десятых...

Уже начали съезжаться делегаты Пятого съезда Советов. Регистрация делегатов-большевиков производилась в «Метрополе», а левых эсеров — в бывшем помещении духовной семинарии на Садово-Каретной, переименованном в Третий дом Советов.

Когда Варлаам Александрович Аванесов как секретарь ВЦИКа приехал туда, на Садово-Каретную, чтобы договориться о мелких организационных вопросах, при его появлении все замолчали. Выходя, он столкнулся в дверях с Марией Спиридоновой, лидером партии левых эсеров. Она посмотрела на него в упор и прошла мимо, не ответив на поклон.

Я в этот день работала в «Метрополе», внизу, в общем зале, на приеме и регистрации делегатов съезда. Около полудня я поднялась наверх. У Свердлова сидели делегат из Иваново-Вознесенска Фрунзе и царицынец Яков Ерман. Разговор шел о том, что левые эсеры рассчитывают получить на съезде большинство и, соединившись с «левыми коммунистами», совместно выступить, чтобы

опрокинуть правительство Совета Народных Комиссаров и объявить войну Германии.

Работы весь день было очень много, делегаты прибывали один за другим. Часам к пяти было зарегистрировано уже около семисот большевиков. Сколько прибыло левых эсеров, мы не знали. Кто говорил, что около тысячи, кто — около трехсот.

Яков Михайлович зашел, попросил показать списки, сказал, что идет на заседание ЦК. Он вернулся довольно быстро, велел нам сдвинуть столы, потому что через полчаса должно было начаться заседание большевистской фракции съезда.

На этот раз фракция заседала в большом зале, где обычно происходили пленарные заседания ВЦИКа.

Давно ли отсюда ушел изгнанный Мартов? Что будет сегодня? Какую позицию займут «левые коммунисты»? Со времени Бреста они существовали как оформившееся фракционное течение, со своими центрами и органами печати. Неужели они окончательно порвут с партией и соединятся с левыми эсерами?

На фракции съезда Советов с докладом выступил Ленин.

Он говорил долго, часа два с половиной. Говорил о том, что идти в настоящий момент в открытую борьбу с германским империализмом — значит ухудшить положение мировой революции. Война между империалистическими хищниками становится безысходной. В этой безысходности лежит залог того, что наша социалистическая революция имеет серьезное основание продержаться до момента, когда вспыхнет революция в других странах. Наша задача — удержать советскую власть, что мы и делаем, отступая и лавируя. Необходимо использовать передышку для накопления сил, для организации хозяйственного строительства на новых началах. В этом мы ответственны не только перед нашими братьями, но и перед рабочими всего мира.

Когда Владимир Ильич сошел с кафедры, взоры всех присутствующих обратились на лидеров «левых коммунистов». С места поднялся Валериан Осинский. Он был краток. Доклад Ленина, сказал он, не вызывает серьезных возражений.

Резолюция, внесенная Лениным, была принята единогласно.

Владимир Ильич уехал в Кремль. Свердлов с частью делегатов поднялся наверх, в комнату № 237.

Было уже около полуночи. Только что пронеслась гроза. Я открыла окно. В комнату повеяло прохладой.

На столе зазвонил телефон. Свердлов поднял трубку. Дзержинский сообщал ему, что изо всех районов поступают сведения о какой-то новой провокации. В различных частях Москвы, по преимуществу на рабочих окраинах, разъезжающие на автомобилях неизвестные лица производят обыски и отбирают у населения пиджаки, пальто, платья и другую одежду.

Свердлов тут же набросал текст телефонограммы, в которой от имени ВЦИКа и ВЧК предписывалось задерживать налетчиков.

Сидя у окна, я передавала телефонограмму по районам. Черное ночное небо озарялось вспышками зарниц.

В комнате шел шумный и оживленный разговор. Народу было много; кто сидел на диване, а кто на разостланных на полу газетах. Притащили ведро кипятку. Астраханцы вытащили из мешка копченого осетра. Хлеб тоже нашелся, но маловато. Поэтому рыбу резали толстыми ломтями, а хлеб тоненькими. Хозяйничала румяная веселая Клавдия Ивановна Кирсанова.

Вспоминали нарымскую ссылку, Шлиссельбург, амурскую каторгу — «Колесуху». Все это были большевики-подпольщики, о которых обычно шутили, что на воле они только квартируют, а живут в тюрьмах и ссылках. Но выражение «старый большевик» тогда еще не вошло в обиход: кадры партии были настолько молоды, что слово «старый» было к ним неприложимо. Достаточно припомнить, что средний возраст делегатов VI съезда партии составлял 29 лет, а самому старшему из делегатов было 47. Когда о ком-либо хотели сказать, что он с самого раскола партии примкнул к Ленину и не отступал ни на один день от ленинского пути, о нем говорили: «Это — твердокаменный большевик». Такие вот твердокаменные большевики и сидели в этой комнате.

Зарницы вспыхивали все чаще. Послышалась отдаленная стрельба. Это красноармейские патрули обезоруживали налетчиков.

Яков Ерман подошел к окну, высунулся, жадно вдохнул свежий воздух.

— Эх,— сказал он,— люблю воробьиные ночи!

Такому, как Ерман, да не любить воробьиные ночи! Во время Демократического совещания, когда Керенский выкрикивал со сцены Александринского театра проклятия по адресу «взбунтовавшихся рабов», его речь прервал необыкновенно сильный голос, уступавший разве только голосу Свердлова:

— Подлец!

Поднялся шум, Керенский, уже не желтый, а зеленый, визгливо кричал:

— Кто осмелился это сказать?

В ложе первого яруса встал коренастый бритоголовый человек и невозмутимо ответил:

— Царицынский делегат Ерман.

Это был широкоплечий здоровяк. Ему бы жить и жить лет до ста. Но через две недели после Пятого съезда Советов он был убит на царицынской пристани хулиганской контрреволюционной бандой.

Около двух часов ночи пришел работник Третьего дома Советов, большевик Норинский. Он сказал, что, по его подсчетам, число делегатов съезда — левых эсеров колеблется между тремя- и четырьмястами. У них все время заседает фракция, выступают один за другим члены ЦК партии. Все они сильно возбуждены и, видимо, что-то замышляют.

С улицы снова послышалась стрельба.

В четвертом часу появился начальник охраны Большого театра, где должен был заседать съезд Советов. Он сообщил, что под сценой обнаружена адская машина.

Яков Михайлович пошел вместе с ним в театр. Он вернулся через полчаса, сказал, что адская машина разряжена, и спросил, видел ли кто из присутствующих в постановке Большого театра «Евгения Онегина».

Дело в том, что во время заседаний на сцене Большого театра обычно устанавливали декорации какого-нибудь спектакля. Для завтрашнего заседания, как это узнал сейчас Свердлов, были установлены декорации, изображавшие гроты и развалины замка. Работники театра объяснили, что это декорации сцены «Пиф-паф» из оперы «Гугеноты», которые, по их мнению, больше всего подходят для данного случая. Яков Михайлович велел убрать всю эту средневековую чертовщину, а когда его спросили, что́ же поставить, выбрал из всего предложенного декорацию первого акта «Онегина».

Это всех развеселило. Тут же кто-то изобразил, как Спиридонова с Камковым исполнят дуэт: «Слыхали ль вы, слыхали ль вы, как боль-боль-боль-большевики...»

Был уже пятый час утра, небо стало синеть. Несколько зарниц в последний раз озарило горизонт. Воробьиная ночь кончалась.

— Пойдем, однако, поспим,— сказал Яков Михайлович; он любил уснащать свою речь сибирскими оборотами и словечками.— Наутро бой!

МЯТЕЖ

Весь Пятый съезд Советов я провела в том углу сцены, откуда появляется хор поселян помещицы Лариной. Моей обязанностью было принимать срочные пакеты, которые могли быть доставлены, и передавать их в президиум адресатам.

Стоять было утомительно. Побродив за кулисами, я разыскала какую-то козеточку. Наверно, ту, сидя на которой старушка Ларина варила вишневое варенье.

Я поставила ее у самого задника, размалеванного желтым и голубым, изображавшего, как это поясняла надпись на обратной стороне, «неоглядную даль». Над головой моей висели коленкоровые ветви плакучего дерева. Когда в зале раздавались аплодисменты или шум, ветви качались и на меня сыпалась пыль. Качались они часто.

С моего места видна была дипломатическая ложа, где сидел германский посол граф фон Мирбах — высокий, прямой, сухой, с видом человека, попавшего в зверинец, но слишком хорошо воспитанного, чтобы обнаружить свое презрение даже перед обезьянами.

До меня доносился звук голосов. Вот Свердлов открывает съезд. Вот заверещал переливами английского рожка высокий тенорок. Это левый эсер требует разрыва Брестского договора. Вот слышен сдержанный голос Данишевского, представителя пролетариата Латвии. Он говорит, что как это ни тяжело, но латышский рабочий класс понимает, что никакого иного выхода, кроме подписания мира, у русской революции не было.

В зале буря. Левые эсеры почти все время стоят и то кричат, то аплодируют своим ораторам. На трибуне Мария Спиридонова. Она трясет в воздухе маленьким кулачком, слышны только ее выкрики и рев зала.

Вопреки своим ожиданиям, левые эсеры оказались в абсолютном меньшинстве: у них менее третьей части голосов. Свою количественную слабость они пытаются перекрыть силой глоток. Дирижируют Камков, Карелин, подхватывают стоящие за их спинами наэлектризованные мужички, кричащие большевикам:

— Придите к нам за хлебом, мы с вами посчитаемся! От нас хлеба не получите! Просите хлеба у Мирбаха!

Из рядов большевиков насмешливо отвечают:

— А вы ступайте воевать! Кричите, что хотите войны, так воюйте с чехословаками! С беднотой вам легче бороться!

Давно ли — всего полгода назад! — партия левых эсеров на заседании Учредительного собрания занимала места в левой части зала. В Центральном Исполнительном Комитете она сидела уже в центре. Здесь, на Пятом съезде Советов, она разместилась на крайней правой, неуклонно двигаясь за теми, кто прошел уже этот путь и оказался по ту сторону баррикады. Дойдя до крайней правой, она приблизилась вплотную к черте, после которой оставалось сделать всего один шаг, чтобы оказаться в стане контрреволюции.

Она этот шаг сделала.

На второй день съезда с докладом Совета Народных Комиссаров выступил Ленин. К этому моменту левые эсеры подготовили обструкцию. Они топали, визжали, прерывали Ленина выкриками: «Керенский!», «Мирбах!».

Но сила ленинской мысли, ленинского обаяния была так велика, что левоэсеровский запал выдохся. Выкрики левых эсеров становились все более редкими, шум ослабевал; в некоторых местах речь Ленина покрывалась аплодисментами не только большевиков, но и части левых эсеров.

В прениях левоэсеровские вожди постарались вновь взвинтить страсти. Борис Камков, выступивший первым, назвал съезды крестьянской бедноты съездами деревенских лодырей. Побагровев от крика, он заявил:

— Мы не только ваши продовольственные отряды, но и ваши комитеты бедноты выбросим вон за шиворот.

Тем временем левые эсеры подготовили удар, при помощи которого они задумали поставить революцию перед свершившимся фактом и против воли народа втравить страну в войну с Германией.

Этим ударом было убийство Мирбаха.

Обстоятельства этого убийства известны: сфабриковав с помощью работавшего в ВЧК левого эсера Александровича фальшивые документы за подложной подписью Дзержинского, левые эсеры Блюмкин и Андреев явились в германское посольство, вызвали Мирбаха и бросили бомбу, которой Мирбах был убит. Сами они успели скрыться.

Убийство Мирбаха явилось сигналом к мятежу. Расквартированный у Покровских казарм отряд Попова арестовал Дзержинского, приехавшего в штаб отряда, чтобы задержать Блюмкина и Андреева. Мятежники захватили телеграф. По всей России были переданы телеграммы ЦК левых эсеров, предписывавшие не подчиняться приказам правительства Ленина. В руках мятежников оказался район Покровки (улица Чернышевского), Чистых прудов, Мясницких (Кировских) и Красных ворот.

Совет Народных Комиссаров разослал написанную В. И. Лениным телефонограмму во все районы, предлагая произвести мобилизацию партийных работников и призывая массы подавить мятеж, которым могут воспользоваться белогвардейцы. Вся пролетарская Москва была поднята на ноги.

Тем временем левоэсеровская фракция Пятого съезда Советов во главе с Марией Спиридоновой направилась в Большой театр, очевидно ожидая снаружи сигнала, чтоб здесь, в стенах зала заседаний съезда, поднять восстание и тут же, на месте, захватить Ленина и советское правительство.

Для меня все происходившие вокруг исторические события воплощались в раскачиваниях плакучего коленкора и непрерывном потоке пакетов. Пакеты были небольшие, в наспех заклеенных конвертах, а то и вовсе без конвертов. В одних сообщалось о подробностях убийства Мирбаха; в других — об аресте Дзержинского, члена коллегии ВЧК Лациса и председателя Московского Совета Смидовича; в третьих находились донесения о сосредоточении частей Красной Армии в районах Страстной (Пушкинской) площади и Пречистенских (Кропоткинских) ворот, о мобилизации коммунистов и рабочих московских заводов на подавление мятежа.

Яков Михайлович сунул мне записочку, чтобы я передавала пакеты только ему, и притом понезаметнее. Он читал их уголком глаза. Со стороны казалось, что все его внимание поглощено происходящим в зале. Члены

президиума — большевики то наклонялись к Свердлову, то переговаривались между собой. Иногда один из них вставал, отходил в глубину сцены, потом возвращался. Кто поверил бы, что вот так, улыбаясь, непринужденно похаживая, они вместе с товарищами в городе буквально на глазах сидевших тут же левых эсеров организовали окружение Большого театра красноармейскими частями и арест левоэсеровской фракции съезда!

Получив очередной пакет, Свердлов встал и сказал:

— Товарищи! Большевистская фракция съезда приглашается на заседание. Прошу членов съезда — большевиков и присутствующих здесь гостей — членов большевистской партии пройти во Второй дом Советов. После заседания фракции заседание съезда будет продолжено.

(На самом деле фракция собралась в помещении Курсов партийных работников на Малой Дмитровке, 6. Яков Михайлович сознательно назвал неверный адрес).

Все выходы из зала и из каждой ложи были блокированы красноармейцами из надежных частей. Чтоб выйти, надо было предъявить караулу партийный билет или красную карточку члена большевистской фракции.

За каких-нибудь пятнадцать минут все большевики покинули зал заседания в Большом театре, а левые эсеры, вместо того чтобы захватить большевиков, сами оказались арестованными.

Какой хохот стоял на большевистской фракции! Вот уж верно-то: не рой другому яму — сам в нее попадешь!

Свердлов коротко рассказал про план левых эсеров — разогнать съезд Советов, арестовать правительство, объявить войну Германии. Сразу, без прений, было утверждено предложение об экстренных мерах для подавления контрреволюционного мятежа. Все делегаты распределялись по районам в помощь местным силам. Тут же был найден остроумный порядок распределения — по алфавиту: делегаты с фамилиями на *А* и *Б* идут в Рогожско-Симоновский район; на *В* и *Г* — в Алексеевское военное училище и так далее... Здесь же стояли связные, которые должны были развести делегатов по районам — многие плохо знали Москву.

Я была связной группы, направленной на Первые московские военные курсы, на которых я училась. В эту

группу попало четыре товарища с фамилиями на Ф, в том числе невысокий человек с простым румяным лицом, которого я уже видела у Свердлова. Это был делегат из Иваново-Вознесенска Михаил Васильевич Фрунзе.

Идти нам было недалеко, особняк, который занимали курсы, находился неподалеку от Чистых прудов. Но дорога была опасной: тут же рядом, в переулках, засели мятежники, и мы могли попасть прямо к ним в лапы. Однако все обошлось благополучно.

Когда мы пришли, Михаил Васильевич неожиданно попросил карту местности. Карты у нас не оказалось. Тогда он попросил лист бумаги. Бумаги тоже не было ни у кого, кроме нашего поэта Андрюши Дубровина, который со вздохом отдал Михаилу Васильевичу весь свой неприкосновенный запас — афишу цирка с чистой оборотной стороной.

Михаил Васильевич тут же карандашом набросал план местности и нанес стрелками направления, по которым мы должны вести наступление. Никто из нас не знал Фрунзе, но мы сразу почувствовали в нем военачальника и встали под его командование.

За окном уже началась перестрелка. Мятежники воевали трусливо: пустят по наступающим красноармейцам пару пулеметных очередей, потом удирают.

К полудню район Курского вокзала был очищен от повстанцев. Окруженный штаб мятежников после непродолжительного обстрела решил прекратить борьбу. Он послал в штаб осаждающих войск делегацию, которая заявила, что бунтовщики согласны сдаться, но на известных условиях. Им ответили, что советские войска не вступают ни в какие переговоры с предателями, и предложили немедленно освободить Дзержинского, Смидовича, Лациса и беспрекословно сложить оружие.

Часов около одиннадцати утра и наш отряд закончил свои боевые операции где-то в районе Садово-Черногрязской. Вдруг мы услышали над головой треск. На восток летел небольшой самолетик, похожий на этажерку. Потом мы увидели колонну разномастных автомашин с красноармейцами, направляющуюся туда же, на восток.

Оказывается, часть разгромленных мятежников сумела удрать из Москвы на автомобилях и верхом, увозя с собой орудия и пулеметы. В погоню за ними были направлены советские войска и самолеты.

Гордые победой, мы возвращались к себе на курсы, таща трофеи: три пулемета и ручную тележку с наваленными на нее винтовками. У Мясницких ворот до нашего слуха донеслась мадьярская речь: там стояли бойцы Интернационального отряда, участвовавшего в освобождении от мятежников почтамта и Центрального телеграфа.

Телеграф помещался тогда в угловой части нынешнего здания Московского почтамта, выходящей на бульвар и на Мясницкую улицу. Угол дома был срезан широкой дверью, к которой вела каменная лестница с площадкой.

День был жаркий, солнечный. В ветвях деревьев Чистопрудного бульвара, как то и положено, щебетали птицы. Пахло цветущей липой. Недавнего боя как не бывало. На площадке перед дверью телеграфа, прямо на голых камнях, блаженно спал командир Интернационального отряда товарищ Бела Кун. Он пригрелся на солнце и спал так крепко, что не слышал, как отворялась дверь и проходившие на телеграф шагали прямо через него.

В одну ночь пролетарская Москва создала для подавления левоэсеровского мятежа около сотни хорошо вооруженных отрядов. Никогда еще в городе не было такого порядка и бдительного надзора. Москва была буквально оцеплена двойным кольцом рабочих-дружинников. Ни один прохожий не мог миновать их даже в самых глухих переулках.

К вечеру мятеж был полностью подавлен. По улицам шли вооруженные отряды. Люди шли бодро, четко отбивая шаг, в них не чувствовалось усталости, они пели песни и охотно переговаривались с народом, толпившимся на тротуарах.

На углу у Мясницких ворот здоровенный дядя в замасленной тужурке держал речь, в которой давал исторический анализ событиям последних месяцев.

Заключая свою речь, он сказал:

— Картина перед нами ясная. Социалисты всех мастей постепенно, гуськом, перешли в лагерь контрреволюции.

— *Гуськом*! — с удовольствием повторил Владимир Ильич, когда ему передали это выражение. Очень оно ему понравилось!

...Сдав оружие, я побежала на работу. Растрепанная, грязная, ввалилась в комнату № 237.

Яков Михайлович разговаривал по телефону. Он кончил, положил трубку и закурил. Движения его были

несколько замедленны, и рука с горящей спичкой не сразу нашла кончик папиросы.

— В Ярославле мятеж,— сказал он.— Город горит. Во главе мятежников — Борис Савинков...

«АНАКОНДА-ПЛАН»

Шестого июля начался контрреволюционный мятеж в Ярославле, седьмого — в Рыбинске, восьмого — в Муроме. В этот же день Кемь и северная часть Мурманской железной дороги были захвачены англо-французскими войсками и произошло соединение поволжской и сибирской групп белочехов.

Неизвестно было, как поведут себя немцы. Тело Мирбаха в оцинкованном гробу отправили в Германию. Берлин пока молчал.

Арестованные левые эсеры еще оставались в Большом театре. Здание театра было окружено латышскими стрелками, разбившими на Театральной площади настоящий лагерь — с орудиями, пулеметами и походной кухней.

В эти дни я несколько раз приходила в Большой театр. Свердлов поручил мне раздавать арестованным газеты. На окутанной мраком сцене, упираясь в балкон помещицы Лариной, стоял пулемет, направленный в полутемный зал. Кресла были сдвинуты беспорядочными кучами, на полу валялись окурки и обрывки измятой бумаги. Арестованные, узнав о провале мятежа, сразу как-то обмякли и потускнели. Куда только девалась их вчерашняя удаль!

Разобраться с арестованными было поручено Константину Степановичу Еремееву. Усевшись в фойе, со своей неизменной трубкой в зубах, он держал перед собой список фракции левых эсеров и отмечал карандашом, кого выпустить, а кого отвезти в тюрьму. Слева от него лежала горка револьверов и бомб, отобранных у мятежников.

Восьмого утром арестованных куда-то отправили. Зал убрали и проветрили. После обеда возобновились заседания съезда. Приняв решение об исключении из Советов левых эсеров, солидаризирующихся с мятежом 6—7 июля, съезд перешел к обсуждению проекта Конституции.

Большевики сидели по-прежнему в левой части зала. Места справа, которые раньше занимали левые эсеры, оставались пустыми. На них никто не хотел садиться.

Заседание было в самом разгаре, когда вдруг один за другим раздались два взрыва, блеснул огонь, люстра под потолком закачалась, запахло пороховым дымом. Все вскочили — кто бросился к выходу, кто схватился за оружие. Но со сцены, перекрывая движение и шум, зазвучал голос Свердлова:

— Спокойно, товарищи! Заседание продолжается.

Потом выяснилось, что у одного из красноармейцев, дежуривших у входа в третий ярус, оборвались привязанные к ремню гранаты. В зале Большого театра с его великолепной акустикой этот взрыв прозвучал с такой силой, будто разорвалась многопудовая бомба.

Четырнадцатого июля в 11 часов вечера доктор Рицлер, исполняющий обязанности германского дипломатического представителя, явился к народному комиссару иностранных дел Чичерину и передал ему требование германского правительства: ввести в Москву для охраны германского посольства батальон немецких солдат в военной форме.

На следующий день в «Метрополе» состоялось заседание ВЦИКа нового созыва. За исключением двух или трех эсеров-максималистов, он состоял из большевиков.

В полной тишине члены ВЦИКа выслушали сообщение Ленина о германском требовании.

«...подобного желания,— сказал Ленин,— мы ни в коем случае и ни при каких условиях удовлетворить не можем, ибо это было бы, объективно, началом оккупации России чужеземными войсками.

На такой шаг мы вынуждены были бы ответить, как отвечаем на мятеж чехословаков, на военные действия англичан на севере, именно: усиленной мобилизацией, призывом поголовно всех взрослых рабочих и крестьян к вооруженному сопротивлению...»

История нашей революции знает много минут, наполненных трагедийным пафосом. Одной из самых великих среди них была та, когда большевики — члены ВЦИКа, быть может, сорок, быть может, пятьдесят человек,— единодушно подняли руки в знак того, что они одобряют отказ Совета Народных Комиссаров от удовлетворения германского требования.

Было неизвестно, как ответят немцы на этот отказ. Ярославль пылал в огне. Чехословацкие части наступали

на Симбирск. Добровольческая армия подходила к Армавиру. Англичане продолжали высадку войск и приближались к Онеге.

Двадцать пятого июля белочехи заняли Екатеринбург. В этот же день в Баку вступили английские войска, приглашенные правыми эсерами и дашнаками, захватившими руководство в Бакинском Совете.

Красноармейские патрули еженощно вылавливали на улицах Москвы сотни подозрительных личностей: мнимых «итальянцев», говоривших только по-польски; украинских «учительниц»-контрабандисток; офицеров-белогвардейцев; монахов-спиртоносов; пекарей с пудами «законных» пайков; книгонош с погромной литературой.

У одного из арестованных была найдена карта Москвы. Нанесенная на ней сетка разбивала город на квадраты. Правительственные центры и артиллерийские склады были обведены красными кружками. Около карандашных линий виднелась мелкая графитная пыль: следовательно, рука, которая их наносила, действовала совсем недавно.

Ясно было, что где-то тут, совсем рядом, раскидывает свои нити разветвленная контрреволюционная организация. По мановению той же руки, которая наносила сетку на карту Москвы, по стране полыхали кулацкие восстания, раздавался набат, давались тревожные гудки, рассылались гонцы с призывами подыматься против власти Советов, расстреливались изоляторы на телеграфных столбах, горели посевы, падали убитые из-за угла коммунисты и члены комитетов бедноты.

Отдельные нити заговора, попадавшие в руки ВЧК, неизменно приводили к иностранным посольствам.

Феликс Эдмундович Дзержинский, работавший день и ночь, подымаясь по лестнице, потерял сознание от усталости и недоедания, но, едва придя в себя, прошел в кабинет и принялся за работу.

Второго августа англо-американские войска заняли Архангельск. Третьего была опубликована декларация английского, американского и японского правительств по поводу совместной интервенции союзников в России.

И так день за днем: белогвардейский заговор в Новгороде, эсеровское восстание в Ижевске, падение Екатеринодара, аннексия Турцией Батума, Карса и Ардагана.

Если провести линию между пунктами, захваченными английскими, французскими, немецкими, американскими,

японскими, белогвардейскими войсками, получится замкнутый круг.

Международная контрреволюция зажала молодую социалистическую республику в кольце. Она решила применить против нее тот же стратегический план, который был применен английскими армиями против Соединенных Штатов Америки во время войны за независимость.

Этот план носил название «Анаконда-план», «План-удав»!

ВЫДЮЖИМ!

Не помню, каким образом к Якову Михайловичу попало следующее письмо:

«Здравствуйте, дорогие мои родители!

Во-первых, шлю вам привет, а во-вторых, прошу вашего благословения, прошу вообще всех моих домашних — простите и благословите меня в том, что если мне придется умереть, то вы не поминайте меня худом.

Но я помираю за нашу идею, т. е. за нас, рабочих и крестьян.

Прошу меня не жалеть, я помираю за нашу молодую федеративную республику, как солдат рабоче-крестьянской Красной Армии.

Затем еще раз прошу вас вообще и в том числе мою родную мать, чтобы она обо мне не заботилась и не плакала, хотя я и помру.

Затем, дорогой крестный, не забывайте нашу идею, т. е. за что мы всегда дрались, и прошу, простите меня.

Скоро меня в Вятке не будет. Отправляюсь на фронт против контрреволюционных гадов. Благословляйте.

Да здравствует власть Советов!

Да здравствует федеративная республика!

Да здравствует мировая пролетарская революция!

Ваш сын красноармеец *Т. П. Фокин*».

Вероятнее всего, это письмо дал Свердлову Анатолий Васильевич Луначарский. Как раз в эти дни он приехал откуда-то из самых глубин Вятской и Пермской губерний и привез с собой для Москвы несколько вагонов муки.

Человек обширнейших познаний, тонкий ценитель искусства, философ, драматург, литератор, сейчас Анатолий

Васильевич в солдатской гимнастерке и смазных сапогах разъезжал по России, добираясь до самых глухих, медвежьих углов.

Он выступал на митингах, на собраниях, на сельских сходах. Трибуной ему служили и бочка, и железнодорожная платформа, и площадка вагона, и палуба баржи. Бывало так, что он выступал по восьми, по десяти раз в день. Иногда его слушала многотысячная аудитория, иногда — несколько десятков жителей какой-нибудь захудалой деревеньки. Но как бы он ни устал, какой бы ни была его аудитория, он всегда говорил в полную силу своего блестящего ораторского таланта.

Одной из особенностей Анатолия Васильевича как оратора было то, что он никогда не снижался до уровня аудитории, но всегда поднимал аудиторию до себя. Он мог, выступая в темной закопченной избе перед деревенским сходом по вопросу о реквизиции кулацких излишков, говорить о Городе-Солнце и прекрасных садах будущего, вспоминать имена великих гуманистов и просветителей.

Товарищи рассказывали, что проведенный им сход закончился однажды такой вот резолюцией, внесенной присутствовавшим на этом сходе крестьянином:

«Заслушав доклад о Томасе Кампанелле, постановляем всем способным носить оружие вступить в ряды Красной Армии. Заявляем Советскому Правительству, что мы никогда не вернемся к старому и не согнем своих спин перед капиталом, а также постановляем отчислить для голодающих городов по пять фунтов ржи со двора».

В Москве Анатолий Васильевич проводил по нескольку дней, наездом, и всегда заходил к Якову Михайловичу. Зашел он и на этот раз. Уже был вечер. Прием закончился. С удовольствием сидя в мягком удобном кресле, Анатолий Васильевич рассказывал о своих впечатлениях.

— До нового урожая,— говорил он,— осталось, я думаю, недели три. Рожь уже отцвела и стала наливаться. Ранний овес скоро будет выметывать метелки. Прошá (он именно так и сказал «прошá», щегольнув крестьянским словцом!) густые, зеленые. Урожай, надо думать, будет хороший... В общем, как заявил один мужик на митинге в Глазове: «Вырастает хлеб, и растет международная революция, так что — выдюжим!»

«А ГЕНРИХ ГЕЙНЕ?»

«...высший пункт... критического положения достигнут»,— говорил Ленин в последних числах июля. Все теснее сжималось удавное кольцо. Если бы сэра Уинстона Черчилля тогда спросили, сколько времени еще продержится в России Советская власть, он наверняка ответил бы: «Неделю... Максимум десять дней».

Московский пролетариат готовился к вооруженному отпору врагам. По вечерам повсюду, куда ни бросишь взгляд, в лиловом сумраке темнели ряды людей с винтовками за плечами. Одни маршировали, другие строились, третьи делали перебежки. Доносились слова команды и стук винтовочных прикладов, ударявшихся о землю. Это шли занятия отрядов военного обучения.

Не помню уже почему, как раз в один из этих критических дней я попала на заседание Совнаркома. Председательствовал Владимир Ильич. Он сидел во главе длинного стола, около него лежала стопочка мелко нарезанных листков бумаги. Присутствовало человек двадцать, но состав присутствующих время от времени менялся: одни приходили, другие, когда заканчивалось решение их вопроса, уходили.

Заседание шло в очень быстром темпе. Докладчик кратко излагал существо дела, Владимир Ильич тут же формулировал решение. Если возражений не было, оно считалось принятым. Все вращалось вокруг военных и продовольственных вопросов.

Но как ни быстр был темп, в котором шло заседание, Владимир Ильич, со свойственным ему умением раздваивать внимание, успевал в это же время читать приносимые секретарем телеграммы, отвечать на них, писать на листках бумаги записки присутствующим, получать их ответы, решать попутно еще какие-то вопросы, как бы ведя одновременно еще одно заседание.

Подошла очередь Народного комиссариата просвещения. Все оживились, когда узнали, что речь идет о декрете по поводу постановки памятников деятелям революции.

Сказав несколько вводных слов, товарищ из Наркомпроса зачитал проект декрета. Он состоял из написанной в выспреннем стиле преамбулы и из перечня деятелей прошлого, которым предполагалось поставить памятники. Перечень этот был составлен в алфавитном порядке, имя Маркса находилось где-то в середине, между Лермонто-

вым и Михайловским, Достоевский соседствовал с Дантоном, а рядом с Салтыковым-Щедриным стоял Владимир Соловьев.

Ленин слушал нахмурясь.

— А Генрих Гейне?— сказал он.— Почему его нет?

Наркомпросовец что-то пробормотал.

— И почему вы решили увековечить Владимира Соловьева? Мистик! Идеалист! Этак вы в университетах будете обучать какой-нибудь реакционной философской чепухе!

Товарищ из Наркомпроса снова что-то пробормотал.

— Я думаю, товарищи со мной согласятся, что в таком виде декрет не может быть принят,— сказал Ленин.— Я полагаю, что на первое место надо выделить постановку памятников величайшим деятелям революции — Марксу и Энгельсу. Возражений нет? Дальше следует внести в список писателей и поэтов наиболее великих иностранцев, например Гейне. Думаю, что тут возражений тоже не будет. Принимается? Исключить Владимира Соловьева. Анатолия Васильевича здесь нет, так что, я полагаю, тоже принимается?

По собранию пробежал легкий смех...

— Так, так. Следующий пункт. Тут я предлагаю...

В этот момент секретарь подал Владимиру Ильичу ленту разговора по прямому проводу. Владимир Ильич искоса взглянул на нее и продолжал говорить о проекте декрета:

—...включить в список товарищей Баумана и Ухтомского. Возражений, конечно, не будет? Окончательную формулировку декрета поручим Михаилу Николаевичу Покровскому. Принимается?

Далее переходим к списку. Предлагаю разбить его на две части. Первая — революционеры и общественные деятели: Маркс и Энгельс, Спартак, Тиберий Гракх, Брут, Бабеф, Бебель, Лассаль, Жорес, Лафарг, Марат, Робеспьер, Дантон... Тут товарищи подсказывают имена Вальяна и Гарибальди.

Вторая часть списка — писатели. Думаю, товарищи, что мы утвердим список Наркомпроса без изменений. Дело это архиважное, и я надеюсь, к годовщине Октябрьской революции в Москве будут уже установлены памятники и Марксу, и Энгельсу, и Льву Толстому, а к следующей годовщине такие памятники мы сумеем установить по всей стране — от финских хладных скал до пламенной Колхиды...

Теперь, товарищи, нам придется внести некоторые изменения в наши сегодняшние решения, ибо только что получено сообщение, что чехословацкие войска значительно продвинулись от Екатеринбурга на запад, создается угроза Перми, поэтому необходимо часть войск, предназначенных для Самарского направления, перебросить в...

Совет Народных Комиссаров снова вернулся к военным вопросам.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!

Все в пыли, мы возвращались после учебной стрельбы с Ходынки. На вершинах деревьев догорали червонные отблески заката. В этот день, как уже много дней подряд, население Москвы не получило даже по восьмой, даже по шестнадцатой фунта хлеба.

— Пошли в Большой!

— А пропуск?

— Пройдем по партбилетам...

В Большом театре шло экстренное заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета совместно с Московским Советом и рабочими организациями. Народу пришло столько, что зал вместе со всеми его ярусами был полон: даже в проходах, в оркестре и между кулисами стояли люди.

С трудом верилось, что меньше года тому назад здесь, в этом самом зале, заседало Московское государственное совещание. На трибуне, там, где сейчас выступал Ленин, стоял тогда генерал Корнилов. Зло прищурив узкие калмыцкие глаза и твердо чеканя каждый слог, он обещал подавить российскую социалистическую революцию железом и кровью. В первом ряду кресел восседал московский миллионер Рябушинский — тот самый Рябушинский, которому принадлежат напитанные звериной злобой слова: «Революция будет задушена костлявой рукой голода». В литерной ложе сидел Борис Савинков, чей опыт профессионального террориста был гарантией того, что революция будет удавлена петлею заговоров.

Российская контрреволюция выполнила свои угрозы с лихвой. Каждый, кто сидел сейчас в этом зале, не раз глядел за этот год в глаза смерти. Каждый знал — как ни трудны были прожитые месяцы, впереди его ждут еще

более суровые испытания, еще более тяжелая борьба. И, зная это, каждый говорил себе: «Лучше смерть, чем рабство».

В торжественном молчании зал слушал Ленина.

Владимир Ильич говорил в тот вечер несколько медленнее, чем обычно. Эта замедленность с особенной силой подчеркивала всю напряженность момента, который переживала Советская республика. Лишь в движениях рук, сначала крепко сжимавших края кафедры, а потом поднявшихся в неповторимом ленинском броске, выразились волнение, тревога, надежда, которыми он жил.

— Вопрос стоит так, что на карту поставлены все завоевания рабочих и крестьян,— говорил он.—...Совершая нашу социалистическую работу, мы шли против империализма всего мира, и эта борьба становится понятнее рабочим всего мира, и все больше и больше их нарастающее возмущение приближает к грядущей революции. Из-за этого именно и идет борьба, потому что наша республика — единственная страна в мире, которая не шла рука об руку с империализмом, не давала избивать миллионы людей из-за господства французов или немцев над миром...

Потом Свердлов прочитал резолюцию, которая звучала как зов, как клятва. Она объявляла социалистическое отечество в опасности и провозглашала задачей, которой должно быть подчинено все, мобилизацию пролетариата, массовый поход за хлебом, вооружение рабочих и напряжение всех сил для военного похода против контрреволюционной буржуазии под лозунгом: *смерть или победа!*

— Кто «за»?

Тысячи рук.

— Кто «против»?

Таких нет!

Только Великая пролетарская революция способна пробудить в миллионных массах такую стойкость, отвагу, бесстрашие, мужество!

ЧЕРНЫЕ СУХАРИ



НА ФРОНТ

На следующую ночь наш отряд выступил на Восточный фронт.

Быть может, в последний раз шли мы по улицам Москвы. Несмотря на поздний час, город жил своей новой, тревожной жизнью. В здании Бюро военных комиссаров на Пречистенке были освещены все окна. Навстречу нам проехала пушка, которую тащила четверка лошадей. Прогрохотала двуколка с зарядными ящиками. С Девичьего поля донеслись слова команды: там шли ночные занятия Всевобуча.

Среди нас были и солдаты, проведшие в окопах чуть ли не всю империалистическую войну, и молодые ребята, которые впервые в жизни уезжали от родителей. Были и такие, которые никогда не путешествовали поездом. Для многих все было внове: и полустанок Окружной дороги, где формировался эшелон; и ночная погрузка; и раздающееся в темноте конское ржание; и теплушки с их нарами и раскрытыми дверями, мимо которых плыли крыши домов, залитые светом восходящего солнца.

Прощай, Москва! Прощай!

Миновав пригороды, эшелон повернул на восток. Паровоз дал долгий гудок, ход ускорился, колеса дробно постукивали на стыках.

Через несколько дней поезд подошел к сгоревшему полустанку, который сожгли белогвардейцы, отступавшие после недавнего восстания в Муроме. Здесь мы узнали, что Казань, куда направлялся наш отряд, захвачена белочехами.

Враг еще больше приблизился к Москве. Опасность, грозящая Советской республике, стала еще большей. Тем сильнее, мужественнее, непреклонней должны стать все мы и каждый из нас. *Смерть или победа!*

МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

В бой мы попали с ходу.

Наш эшелон подошел к забитой железнодорожными составами станции Свияжск. Где-то справа строчил пулемет.

У края платформы стоял Валерий Иванович Межлаук, представитель штаба свияжской группы войск. Размахивая красным сигнальным флажком, он кричал:

— Командира ко мне!

Кудряшов спрыгнул с поезда и побежал к Межлауку. Тот сказал ему несколько слов, показывая на восток, в ту сторону, откуда доносилась стрельба. Кудряшов пожал руку Межлауку и вскочил в теплушку.

Поезд, не останавливаясь, шел дальше. Через полверсты показался большой железнодорожный мост. Стрельба слышалась все отчетливее. Внизу, под высоким крутым берегом, блеснула широкая полоса воды: Волга.

— Белые хотят захватить мост,— передал Кудряшов слова Межлаука.— Сдать мост — значит открыть белым бандам дорогу на Нижний и на Москву. Ни шагу назад!

Подтянувшись на руках, он забрался на крышу вагона и побежал вдоль состава, оповещая соседние теплушки.

— Близко бьют,— сказал кто-то.

— Да нет,— отозвался Петр Васильевич Казьмин, бывалый солдат, воевавший в империалистическую войну.— Не ближе двух верст. Это по воде далеко слышно.

В эту минуту рядом в теплушке хлопнула ракетница. Поезд начал замедлять ход, но мы, не дожидаясь остановки, стали соскакивать на насыпь, на ходу подхватывая пулеметы и ящики с патронами.

Отряд быстро выгрузился. Вот когда пригодилась выучка, полученная в Москве на Чистопрудном бульваре и закрепленная во время занятий в пути! Не теряя ни минуты, бросились мы в ту сторону, откуда доносилась стрельба. Мы бежали полем, поросшим кустарником. Слева от нас темнел лес. Справа лежала Волга.

Вскоре между кустами показалась движущаяся на нас цепь. Мы залегли.

— К бою готовься! — приказал Кудряшов.

Защелкали затворы винтовок. Цепь приближалась. Пальцы у нас дрожали на спусковых крючках. Сейчас будет отдана команда: «Огонь!» Но раздалась команда: «Отставить!»

Навстречу нам мчались охваченные паникой люди в красноармейских гимнастерках. Лица их были обезображены страхом. Большинство побросали винтовки. Многие бежали босиком.

Кудряшов бросился им наперерез:

— Стой! В чем дело?

— Чехи!

Останавливать бегущих было бессмысленно. Мы бросились вперед. Шагов через триста произошло то, что в лекциях по военному делу называлось «войти в соприкосновение с противником». Мы уже приблизились к лесу, когда между деревьями заголубели чешские мундиры. Чехи шли во весь рост, пересмеиваясь и переговариваясь, шли так, будто они были не в бою, а далеко в тылу, на тактических занятиях. Весело галдя, они показывали в сторону моста.

Подпустив белочехов на близкое расстояние, мы дали по ним залп. Для самоуверенного противника это было столь неожиданно, что он обратился в бегство.

Разгоряченные успехом, мы гнали белых, пока не оказались на узкой прибрежной полосе, окаймленной ракитником. Почти у самой воды стояла брошенная батарея; рядом с ней валялась опрокинутая набок походная кухня. Желтоватые волны набегали на берег. Низко над водой летали чайки. Позади нас в бледном свете сумеречного дня, обвитый волжским туманом, парил в воздухе мост — тот мост, защита которого стала теперь всем делом нашей жизни.

«ПОРТ-АРТУР»

Вот так и кончился наш первый бой. Кудряшов приказал остановиться, проверить оружие, поставить походную кухню, сварить кашу, установить связь с соседом слева.

Сосед заставил себя поискать. Наконец он был обнаружен верстах в двух от нас. Назывался сосед полком, хотя насчитывал не более сотни штыков. Он не выставлял застав и охранялся полусонными часовыми, которые подпустили нас без окрика.

Идти к соседу надо было перелесками и несжатым полем. На вопрос, где найти командира, часовой, прохаживавшийся около брошенной на землю винтовки, ответил:

— В Порт-Артуре,— и показал на большой овин, видневшийся неподалеку.

Из овина доносились звуки гармони. Когда мы вошли туда, никто не обернулся. Рядом с самозабвенно перебиравшим лады гармонистом сидел, полузакрыв глаза, молодой человек в нижней рубашке с подтяжками поверху. На его рваных, пыльных сапогах поблескивали серебряные шпоры. Это и был командир полка. Под стеной на соломе устроились красноармейцы — одни спали, другие резались в карты.



— Прохлаждаетесь? — сказал один из наших.— А тем временем белые мост берут.

— Что мост! — отозвался гармонист.— Мы Казань отдали — не ахнули...— И он лихо вывел очередную трель.

— Кресты козыри,— сказали сбоку.

— Товарищ командир...— начал кто-то из нас.

Но командир, все так же полузакрыв глаза, вяло, длинно выругался. Игравшие в карты захохотали.

Мы оторопели. Что делать?

У нас было только одно оружие, которым мы могли привлечь на свою сторону эту деморализованную, казалось, полностью разложившуюся красноармейскую часть. Это оружие — открытое, честное, большевистское слово!

Мы поставили посреди овина ящик. Первым на него поднялся Алеша Крымов.

— Товарищи! — начал Алеша.— Положение наше в настоящий момент самое решительное...

— А теперь козыри черви,— сказали сбоку.

Светлое лицо Алеши, чуть опушенное первой бородкой, залилось краской.

— Товарищи! — продолжал он.— Неужели мы не сумеем постоять за себя? Неужели мы опять отдадим капиталистам нашу свободу, нашу землю, наши фабрики и заводы?

Алеша сделал паузу. Гармонист, явно в насмешку, завел «Марусю», подпевая:

Спасайте — не спасайте, мне жизнь не дорога...

— Когда нас посылали москвичи,— звенел голос Алеши,— они говорили нам: «Поезжайте и привезите победу. А если вы не привезете победу, то не возвращайтесь, пусть лучше привезут гробы с вашими телами». Это говорил народ, который шатается от голода, но крепко держит знамя революции в своих руках...

Гармонист по-прежнему перебирал лады, под стеной по-прежнему резались в карты. Но теперь уже на некоторых лицах можно было прочесть интерес к словам Алеши.

— Мы не для того начали революцию, чтобы отдать страну в руки насильников,— говорил он.— Наше социалистическое отечество находится в опасности, и мы обязаны бороться за спасение Советской России. Вы, красноармейцы, должны мужественно взяться за оружие. Революция не в том состоит, чтобы каждый мог урвать что-нибудь, чтоб хорошо прожить в своем доме. Нет! Революция состоит в том, что у каждого рабочего и крестьянина просыпается совесть, душа проясняется и он говорит себе: «До сих пор я жил, как червь, теперь я пробудился, я не раб царя и капитала, я гражданин Советской республики, я сын рабочего класса; и все мои силы и моя кровь должны быть отданы на службу рабочему классу и крестьянству!»

Тут впервые раздались аплодисменты. Теперь настала очередь выступать Саше Соченкову. Это был худенький светловолосый мальчик, откуда-то из-под Вятки. То ли он сам сочинил, то ли выучил наизусть стихотворный разговор двух рабочих — труса и героя, который с неизменным успехом исполнял и в теплушках и во время остановок на станциях.

Первым говорил трус. Изображая его, Саша начинал ненатуральным тонким голоском:

— Товарищ, сегодня меня под ружье
Вожди призывают для боя.
Но жизнь моя... Жаль потерять мне ее,
Жаль выбыть из этого строя.
Допустим, пойду я и жизнь положу
За счастье людей и свободу,
На что мне тогда, чем живой дорожу,
Зачем тогда дождь огороду?

Трусу отвечал герой. Голос Саши тут менялся, становился мужественным:

— Товарищ, пойми, в тебе трус говорит,
Ты чести бойца недостоин.
Стыдись же! Взгляни, как свобода горит,
Как свет ее нежен и строен.
Проклятие ляжет на жалких трусо́в,
Кто дрогнет в последнем напоре,
Опять кабала и насилье веков,
И тюрьмы, и казни, и горе...

Подняв над головой крепко сжатый кулак, Саша заканчивал:

К оружью, товарищ, бесстрашно вперед,
Сплотимся, воскреснем для счастья!
И тот, кто воскреснет, поверь, не умрет
В минуты грозы и ненастья!

С каждой строфой, прочитанной Сашей, как бы таяла стена, разделявшая нас и красноармейцев. Все больше становилось внимательных лиц. Вот гармонист положил гармонь. Вот раскрыл сонные глаза командир. Вот и картежники, бросив карты, обернулись к Саше.

И вот уже мы все сидим на соломе, окруженные красноармейцами, пьем душистый чай, настоянный на лесных травах, рассказываем о Москве, о последнем заседании ВЦИКа и Московского Совета, слушаем рассказы своих хозяев об их судьбе.

Это был Брянский полк, оставшийся от царской армии. После заключения мира большая часть людей разбежалась по домам, остальные влились в Красную Армию. Но тут где-то в штабах о полке забыли, и полк слонялся по уездным гарнизонам, предоставленный самому себе. И все это время по традиции, оставшейся еще со времен царской армии, каждую свою казарму в полку называли «Порт-Артуром».

— Товарищи, а что такое «Порт-Артур»? — сказал Алеша, когда мы дослушали эту историю.— «Порт-Артур» —

это напоминает о поражении, об измене. А теперь, товарищи, мы должны побеждать и только побеждать. А потому переименуем «Порт-Артур» в «Новый Порт-Артур». Кто «за»? Принято единогласно.

Так не известный никому овин стал именоваться «Новым Порт-Артуром». Под этим именем он и фигурировал отныне в донесениях и сводках. И если сохранились оперативные карты левобережной группы войск, действовавших тогда под Казанью, возможно, на них обозначен небольшой кружок, около которого написано это неожиданное и непонятное для непосвященных название.

СОЛДАТЫ РЕВОЛЮЦИИ

Ночи стояли темные, беззвездные. К рассвету Волгу затягивало плотной пеленой тумана. Становилось холодно. Костров мы не разводили, а, стуча зубами, плотно прижимались друг к другу и считали минуты, когда же кончится ночь. Наконец небо начинало бледнеть, туман, клубясь, подымался вверх, восток вспыхивал янтарным светом, и на этом фоне проступали легкие очертания моста через Волгу. Если на нашем берегу не было боя, на мосту показывались неясные черточки. Приближаясь, они превращались в мчащуюся кавалькаду, которая быстро пролетала по мосту.

Впереди на вороном коне скакала женщина в солдатской гимнастерке и широкой клетчатой юбке, синей с голубым. Ловко держась в седле, она смело неслась по вспаханному полю. Комья черной земли вылетали из-под конских копыт. Это была Лариса Рейснер, начальник армейской разведки. Прелестное лицо всадницы горело от ветра. У нее были светлые серые глаза, от висков заплетенные каштановые косы уложены на затылке, высокий чистый лоб пересекала суровая морщинка.

Ларису Рейснер сопровождали бойцы приданной разведке роты Интернационального батальона. Спешившись, они выясняли обстановку. Разговор велся то на ломаном русском, то на венгерском, то на немецком, то на чешском языке. Тут же принимали решение — провести разведку боем, взять языка, послать разведчиков в тыл врага...

Мы то ходили в дозоры, то вели бои. Не особенно крупные по своим масштабам, они отличались предельным ожесточением. Если мы отступали и вновь занимали преж-

ние позиции, то находили своих раненых мертвыми: белые пригвождали их к земле штыками.

Из Казани через линию фронта тайком пробирались тамошние коммунисты и рабочие. Они рассказывали о массовых арестах, виселицах, расстрелах без суда. Казань из незнакомого города, о котором почти все мы знали только по старинным песням, превращалась в цитадель, где томились наши братья, чья жизнь зависела теперь от нашей решимости победить врага.

В одном из боев мы взяли пленного и привели его в «Новый Порт-Артур», ставший теперь чем-то вроде сборного пункта для отрядов, действовавших поблизости от берегов Волги. Это был гимназист с плоским бледным лицом и большими красными ушами, делавшими его похожим на летучую мышь.

На столе горел огарок свечи, ветер колебал пламя, по стенам плясали причудливые тени. Пленный смотрел на нас полными ненависти глазами. Он отказался отвечать на вопросы и, выходя из овина,— его вели в штаб армии, а он думал, что на расстрел,— громко крикнул:

— Да здравствует Учредительное собрание!

Иногда с утра, иногда по вечерам, в зависимости от боевой обстановки, у нас собирался народ, приезжали «с того берега» члены Реввоенсовета и политические работники. Очень быстро наш овин обрел обжитой, советский, коммунистический вид. Солому выбросили, вымели земляной пол, прикрепили красное знамя и развесили самодельные кумачовые плакаты с лозунгами, принятыми после жарких дебатов:

ВСПОМНИ, КЕМ ТЫ БЫЛ, И ТОГДА ТЫ ПОЙМЕШЬ,
ЧТО ЖДЕТ ТЕБЯ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ПОБЕДИШЬ!

ТЫ — СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ.
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТВОЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ —
РЕВОЛЮЦИЯ!

ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ВОЙНУ, НАДО УНИЧТОЖИТЬ ТЕХ,
КОМУ НУЖНА ВОЙНА, ВОЙНА НУЖНА БОГАЧАМ!

ТВОЯ МОЛИТВА СОСТОИТ ВСЕГО ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОВ:
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

ТВОЙ ВОИНСКИЙ УСТАВ ТОЖЕ СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОВ:
«МИР ХИЖИНАМ — ВОЙНА ДВОРЦАМ!»

Спор шел о двух последних лозунгах: можно ли тут употребить слово «молитва» и стоит ли писать «воинский устав»? Всем это не нравилось, но лучшего ничего не придумали.

Однажды в «Новом Порт-Артуре» появился приехавший «с того берега» человек с мягкими чертами приветливого славянского лица. Он был одет в разномастный военный костюм: брюки австрийского образца, куртка — немецкая, сапоги — русские.

На фронте в тот день стояло затишье. По этому случаю в «Новый Порт-Артур» набилось порядком людей, свободных от дозоров и нарядов. Как-то само собой получилось нечто вроде вечера самодеятельности.

Талантов у нас набралось много — от поэта, сочинившего шестистрочную поэму «Три вздоха» (о чем вздыхает капиталист, о чем вздыхает мелкий буржуа и о чем вздыхает пролетарий), до певца, исполнившего под аккомпанемент оркестра из двух карманных гребенок арии Демона и Бориса Годунова.

Когда программа подошла к концу, приезжий поднялся и с застенчивой улыбкой попросил разрешения рассказать одну историю. Все охотно потеснились, освободив проход. Приезжий уселся на табуретку и приступил к своему рассказу.

— Весной пятнадцатого года,— начал он,— находясь в Восточной Галиции, я — не важно по какому поводу — обозвал нашего фельдкурата мешком с собачьим дерьмом и угодил в военную тюрьму. Тюрьма была как тюрьма — клоповник, в котором воняет парашей. Я уже готов был проскучать положенное число дней в ожидании суда и отправки с штрафной ротой на фронт, но, когда вошел в камеру, вдруг услышал знакомый голос: «Здравствуйте, пан Гашек!» Ба! Передо мной был собственной персоной мой старый друг, с которым мы распили не одну кружку пива в трактире «У чаши». Его имя вам ничего не скажет, но запомните его, ибо оно заслуживает этого больше, чем имя Александра Македонского. Это — имя отважного героя, старого бравого солдата Швейка. «У нас в Будейовицах...» — заговорил Швейк так, будто мы с ним расстались полчаса назад...

Тут лицо нашего рассказчика приняло смешанное выражение простоты и лукавства, глуповатого добродушия и тонкого ума. Перед нами сидел, потирая ревматические колени, Швейк — тот самый бравый солдат Швейк, которого теперь знает весь мир, а тогда не знал еще почти никто. В присущей ему манере, с бесчисленными подробностями и отступлениями он рассказывал нам про то, как повстречался в трактире «У чаши» с агентом тайной

полиции, как тот отвел его в полицейское управление, как началась война и какие приключения пережил он, бравый солдат Швейк...

Рассказ этот был далек от той завершенности, которую он получил несколько лет спустя, когда зазвучал со страниц бессмертной книги Гашека. Образы, которые потом приобрели рельефность, тогда были только намечены легкими контурами. Но Ярослав Гашек с таким глубоким артистизмом перевоплощался в своих героев, что перед нами словно живые проходили австрийские офицеришки, пустоголовые щеголи, распутные священники, обжоры, доносчики, сластолюбцы и, прежде всего,— сам Швейк.

Сначала все это казалось нам просто смешным. Но постепенно сквозь причудливую ткань гротеска мы стали ощущать страшную правду жизни — и не чьей-то далекой, незнакомой жизни, а той жизни, которая была позади каждого из нас и против возвращения которой мы сейчас боролись с оружием в руках. Кто узнавал в одном из надменных австрийских офицеров своего старого командира роты в царской армии. Кто, слушая бессмысленные приказы, вспоминал, как его самого гнали на убой. Для кого с особенной силой звучали описания тюрьмы, для кого — солдатской казармы и жизни в денщиках.

Настроение аудитории передалось Ярославу Гашеку. Мягкая ирония, которой вначале был окрашен его рассказ, превратилась в бичующий, исполненный гнева сарказм.

Уже никто не смеялся. Все слушали затаив дыхание. Ярослав Гашек закончил свой рассказ среди глубокого, взволнованного молчания.

Тут встал Петр Васильевич Казьмин, суровый, неулыбчивый человек. При Керенском он был приговорен к расстрелу за большевистскую агитацию на фронте, но Октябрьская революция помешала привести приговор в исполнение.

— Я полагаю, товарищи, так,— сказал он,— что, прослушавши доклад про товарища Швейка, мы должны вынести нашу резолюцию, что, будь уверен товарищ Швейк, мы свой долг выполним. Казань будет наша, а за Казанью и вся Волга. А ты, товарищ Швейк, пристраивайся скорее к русскому пролетариату и свергай своих паразитов — буржуев и генералов, чтоб да здравствовала бы мировая революция!

Молодежь составляла добрую треть наших рабочих отрядов. Большинству ребят было по семнадцати — восемнадцати лет, но попадались и шестнадцати- и даже четырнадцатилетние. Все это были неуклюжие, угловатые пареньки в болтавшихся мешком солдатских шинелях и больших, не по росту, ботинках, озорные, задиристые, умные, глупые, резкие, смотревшие на мир с испытующей настороженностью. Они мечтали о мировой революции, но при удобном случае норовили дернуть меня за косу. Главной их заботой было показать себя мужчинами, героями, храбрецами. В бою они лезли на рожон и не отступали даже после приказа. Кудряшов в таких случаях страшно сердился и вызывал к себе виновных.

— Ты перестань, брат, гордого индивидуума разыгрывать,— говорил он.— Бой — это работа товарищеская.

Этих молодых ребят в нашем отряде прозвали «фейербахами». Когда нас спрашивали, почему им дано такое странное прозвище, мы отвечали:

— Да потому, что они, как Фейербах, имея дело с чувственными объектами, не постигают человеческую деятельность как предметную деятельность.

Сию философскую премудрость мы почерпнули из тезисов Маркса о Фейербахе, приложенных к единственной имевшейся у нас в отряде книге «Людвиг Фейербах» Энгельса, только что изданной Петроградским Советом. Мы уже прочитали, перечитали и прослушали ее от корки до корки, пытаясь понять и осмыслить ускользающее от нас содержание. Едва выпадала тихая, спокойная минута, как откуда-нибудь доносились ставшие уже знакомыми слова: «...для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем обнаруживает она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса становления и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему».

И вот однажды, когда один из нас пытался растолковать, в чем, по его мнению, заключается фейербаховский идеализм в понимании действительности, взгляд его упал на паренька, который с сосредоточенным видом брил перед осколком зеркала несуществующую бороду.

— Вот вам типичный Фейербах,— воскликнул он.— Перед вами человек, который бреет *ничто* и тем самым

совершает действия, обращенные на предмет, который существует не в объективной действительности, а только в его воображении, и, подобно Фейербаху...

— От Фейербаха слышу,— отозвался тот, опустив бритву.— Сам не можешь понять мир в качестве процесса. А ведь он находится в постоянном развитии, так что *не-борода* превращается в свою противоположность, то есть в бороду! Съел?

С тех пор и пошло. Ребят, которые брились, хотя, по всеобщему утверждению, брить им было нечего, прозвали «фейербахами», приблудшего к отряду жеребца окрестили «Тезисом», кобылу нашего командира Кудряшова, соответственно, «Антитезихой», и все в том же роде.

Из всего прочитанного нами мы поняли по-настоящему, пожалуй, только одно: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его». И все же книга Энгельса дала огромный толчок нашему полудетскому мышлению. Знакомые раньше явления приобрели новую глубину. Все кругом давало пищу для раздумий. И поскольку дело происходило на войне, наш интерес, естественно, обратился к впервые услышанным нами понятиям: «стратегия», «тактика», «тактический успех», «стратегическая цель».

Было это так: однажды, когда мы пришли в «Новый Порт-Артур», там происходило какое-то собрание. Постовой у входа сказал, что приехал «с того берега» член Реввоенсовета армии и делает доклад о стратегических и тактических принципах в боевых действиях пролетарских армий.

Мы потихоньку вошли в помещение. Голос докладчика показался мне знакомым. Я вгляделась и узнала... своего отца. Страшно напугавшись, что он может меня увидеть, я спряталась за чужие спины.

После доклада Гусева наши ребята стали рассуждать совсем как маршалы. Я не принимала участия в этих разговорах, а когда приезжал Гусев, пряталась, но откуда-нибудь исподтишка неотступно следила за ним.

От глаз Кудряшова не могло укрыться ничто, происходившее в отряде. А меня — единственную девушку — он вообще старался держать неподалеку от себя.

Почуяв что-то неладное в моем отношении к Гусеву, он встревожился.

— Нехорошее это дело,— сказал он мне.

— Какое? — удивилась я.

— Да это самое.
— Не понимаю.
— Чего не понимаешь? Стар он для тебя...
— Кто он?
— Да этот Гусев.
— Почему стар? Как раз подходит.
— Как же подходит? И вообще тебе о любви думать рано, а тут еще нашла такого, что тебе в отцы годится!
— Так он и есть мой отец!

И мне пришлось рассказать Кудряшову мою семейную историю,— как я прожила детство без отца, как после революции услышала от мамы, кто он, как встретилась с ним в Смольном и попросила три рубля на обед, как потом меня вышучивали товарищи и я стала бояться встречи с отцом, а встречаясь — замыкалась в себе. И вот на́ тебе — довелось мне попасть солдатом в армию, в которой он был членом Революционного военного совета!

Все это я рассказала Кудряшову. Он выслушал меня, подумал и сказал:

— Человеческая сущность есть абстракт, присущий отдельному индивидууму. В своей действительности она есть совокупность общественных отношений.

Я знала, что это слова из тезисов Маркса о Фейербахе, но мне было невдомек, какое отношение имеют они ко мне и к моему отцу.

ТРИДЦАТОЕ АВГУСТА

В двадцатых числах августа наш отряд вместе со стоявшим рядом с нами судогодским отрядом Говоркова перебросили на правый берег Волги. Теперь мы занимали позицию неподалеку от глубокого, заросшего лесом оврага. Здесь было просторно и далеко видно. Впереди нас лежали, слегка поднимаясь, холмистые поля. Слева сквозь сизую дымку поблескивала Волга и уходили к горизонту густые черные леса.

По ту сторону оврага темнели соломенные крыши небольшой деревни. Здесь кругом было много деревень. В некоторых из них на красных смотрели косо, в других — приветливее, а из той, которая находилась рядом с нами, как-то пришла депутация и попросила «свеженьких номерков». Мы сначала не поняли, о чем идет речь. Оказалось, о газетах.

От нас по деревням ходили агитаторы. Собрания проводились в разных избах, по очереди. Бабы жались к стенам, с лежанок во все глаза глядели ребятишки. Когда темнело, зажигали лучину. Искры, шипя, падали в лохань с водой.

На второй или третий день нашего пребывания на правом берегу меня послали в разведку в тыл противника. Ночью меня отвезли на лодке верст за десять от линии фронта вниз по течению и высадили на берег. Я должна была пробраться в деревню Воробьевку, а потом в село Нижний Услон. На мне было коричневое платье, и, попадись я белым, сказала бы, что я гимназистка, бежала из Москвы, где моих родителей арестовали большевики, и пробираюсь в Казань разыскивать родственников.

В Воробьевке я сразу нашла нужного человека, и он передал мне собранные им сведения. Но в Услоне в назначенном месте меня никто не встретил. Я шла по селу. Улицы были безлюдны. На площади перед церковью стояла виселица, на которой висел босой человек. Глаза повешенного уже выклевали птицы. На груди у него белел плакат с надписью крупными буквами:

«ЧЛЕНЪ КОМИТЕТУ БѢДНОТЫ»

По Симбирскому тракту тянулись обозы белых. Неприятель накапливал силы на нашем правом фланге. Я едва успела вернуться и сдать донесение, как далеко справа раздался взрыв огромной силы. Позже выяснилось, что одна из частей действовавшей против нас дивизии полковника Каппеля совершила налет на станцию Тюрлема и взорвала там поезд с артиллерийскими снарядами.

Смеркалось, когда из деревни по ту сторону оврага прибежал взволнованный мальчуган и рассказал, что к ним пришли белые. Мы сообщили об этом в штаб армии и стали ждать приказа. Наступила черная, холодная ночь. Пошел дождь. Воздух наполнился шелестом струй, сбегавших к оврагу. Притаившись за деревьями и стогами сена, мы сжимали винтовки и вглядывались в кромешную тьму. Рядом с нами стояли, вооружившись кольями и вилами, крестьяне из соседних деревень.

Бой начался уже под утро, далеко вправо от нас и сзади. Стрельба была то частой, то редела. Вдруг сбоку, оттуда, где стоял Второй номерной полк, шагах в полутораста, показались двигавшиеся на нас каппелевцы. Они шли сплошной стеной — впереди солдаты с винтов-

ками наперевес, позади, поигрывая наганами, офицеры в черных мундирах.

Каппелевцы вплотную приблизились к нашим позициям, но тут из засады начали бить наши пулеметы, а с Волги открыла артиллерийский огонь наша военная флотилия. Атака каппелевцев захлебнулась, бой стал уходить на юг, в сторону противника, а к полудню и вовсе затих.

Уже потом мы узнали, что на этот день, 29 августа, белые назначили операцию, которая, по их замыслу, должна была увенчаться захватом моста через Волгу, после чего для них был бы открыт прямой путь на Москву. Но вместо разгрома красных каппелевцы вынуждены были поспешно отступить.

Утро 30 августа вставало в ярком блеске солнца. Мы все были возбуждены событиями вчерашнего дня. Никто не ожидал близкой беды. В войсках проводились занятия. Девизом этого дня было: «Учись на своих ошибках и на ошибках врага».

И вдруг тревога!

Из Свияжска прискакал начальник политотдела армии Иван Дмитриевич Чугурин. Ведя на поводу коня, он шел вдоль линии фронта и, переходя от одной группы бойцов к другой, повторял одни и те же слова:

— На Владимира Ильича совершено покушение. Товарищ Ленин тяжело ранен. В Петрограде убит товарищ Урицкий. Товарищи бойцы Красной Армии, отомстим врагу!

НА КАЗАНЬ!

Сколько было уже за этот год прожито и пережито, сколько дум передумано, сколько чувств перечувствовано! Но все испытанное прежде померкло перед известием о покушении на Владимира Ильича.

Иван Дмитриевич Чугурин шел вдоль линии фронта, и бойцы со слезами на глазах говорили ему, что́ нужно написать в резолюции.

— Ты отпиши, товарищ Чугурин, что за подлые покушения на вождей пролетариата мы клянемся беспощадно уничтожать белых разбойников,— говорил один красноармеец.

— А главное — что Казань возьмем,— добавлял другой.

— И так скажи: «Дорогой товарищ Ленин! Пусть предстоящее очищение Поволжья и Сибири от продажных наемников капитала заживит ваши раны»,— просил третий.

Тревога проявляла себя не в унынии, а в отчаянном мрачном воодушевлении. Зло и даже, пожалуй, весело ходили люди в атаки, высаживались десантами, впрягались в орудия там, где надрывались лошади, тащили пушки на себе по тяжелой глинистой грязи. Армия и раньше стремилась взять Казань, но теперь она рвалась в бой.

Третьего сентября со стороны Казани послышалась частая стрельба. Мы думали, что там действуют наши десантники. Оказалось, что рабочие подняли в городе восстание. Белым удалось подавить его. Но их торжество было недолгим.

Ночью я снова ходила в разведку, в Нижний Услон. На околице села горели костры, там биваком расположились белые части. Костров было гораздо больше, чем требовалось по наличному составу солдат. Похоже было, что их нарочно развели, чтобы создать впечатление, будто там сосредоточены крупные воинские силы.

Солдаты лежали на земле, угрюмо глядя на огонь. В большинстве своем это были насильственно мобилизованные местные крестьяне и вчерашние гимназисты. Белочешское командование, предвидя неизбежность поражения, оттянуло на вторую линию огня свои регулярные части, подставив под удар эти обреченные войска.

Несколько дней спустя тут, на подступах к Нижнему Услону, наши санитары подобрали умирающего командира судогодского отряда Говоркова.

Отряд Говоркова весь этот месяц стоял рядом с нашим. Он состоял из рабочих-стекольщиков со старинного стекольного завода в Судогде.

Говоркову было под тридцать. На заводе он работал с малых лет, потом воевал в империалистическую войну. Очень любил рисовать и собирался после победы мировой революции пойти учиться в художественное училище.

Он был ранен в грудь навылет. Когда его раздевали, при нем нашли письмо, адресованное: «Всем! Всем!» Он завещал товарищам мстить белогвардейцам кто чем может.

«Письмо это вы получите после моей смерти,— писал он.— Был Говорков — и нет Говоркова!»

Наступление на Услон было началом наступления наших войск на Казань. О том, как огнем нашей артиллерии неприятель был выбит из Услона и Красной Горки, как общей атакой советских войск, действовавших в тесном взаимодействии с Волжской военной флотилией и авиацией, было проведено окончательное очищение Казани, как наши моряки смелыми десантными операциями содействовали молниеносному успеху красных частей и вызвали паническое бегство неприятеля,— обо всем этом и о многом другом я узнала уже только по рассказам на перевязочном пункте, когда пришла в себя после контузии.

Перевязочный пункт помещался в большой рубленой избе. На лавках, на полатях, на полу — всюду лежали раненые. Солнце косо заглядывало в окно. Дверь внезапно распахнулась, в просвете появился солдат, измазанный грязью и кровью. Сняв шапку, он громко закричал:

— Товарищи! Братцы! Казань наша! Пойдем на Симбирск!

«ДВЕНАДЦАТЬ»

В середине сентября меня отправили в санитарном поезде в тыл.

Стояли теплые осенние прозрачные дни. Вереницами летели дикие гуси, слышался далекий клик журавлей. Маленькая девочка в длинном, до пят, цветастом платье, по-бабьи повязанная платком, махала им, чтобы они воротились к весне, и звонко кричала: «Колесом дорога!»

Поезд шел медленно. Когда он подходил к станциям, к нему с истошным криком и бранью кидались мешочники. Охрана их не подпускала, они падали в ноги, ухитрялись уцепиться за поручни и ехали под вагонами, на крышах, на буферах.

Как-то ночью поезд долго стоял на разъезде. Мешочников здесь почему-то не было. По платформе с фонарями в руках прошли два железнодорожника. Один из них сказал радостным голосом: «Температура тридцать семь и два. Пульс девяносто. Рассасывание идет хорошо». Разговор шел о здоровье товарища Ленина.

Но вот вдали заблестели купола соборов. Москва!

Чуть не бегом через весь город я добралась до дому. Маму я не застала: она была в командировке. Помывшись и переодев платье, я отправилась на поиски друзей и товарищей. Увы! Кто уехал на фронт, кто еще куда.

В «Метрополе» принимал теперь один Аванесов: после покушения на Владимира Ильича Свердлов заменял его в Совнаркоме и работал в Кремле.

Печальная и грустная, брела я по улицам. На Моховой, возле книжных развалов букинистов у Московского университета, стоял, перебирая книги, высокий широкоплечий парень в солдатской шинели. Боже мой, Леня! Леня Петровский! Как он вырос и возмужал!

Леня потащил меня к себе домой. Он только что вернулся с Южного фронта и мечтал поступить в Академию Генерального штаба. Нам было о чем рассказать друг другу.

Григорий Иванович Петровский, отец Лени, был тогда народным комиссаром внутренних дел. Комиссариат помещался в Настасьинском переулке. Жили Петровские там же во дворе, во флигеле, занимая квартиру из двух малюсеньких комнат, где с трудом удалось расставить кровати и столы.

Мать Лени Домна Федотовна усадила нас на кухне, накормила вкуснейшей ячневой кашей и напоила сладким чаем. Мы ели, болтали, хохотали, вспоминали Питер и фронт. Тут же, как всегда, у нас разгорелся спор ради спора: чей фронт лучше, где шли более важные бои, на каком фронте раньше разобьют белых, в какой стране начнется мировая революция?

Так бы мы и проспорили весь вечер, если бы Домна Федотовна не выпроводила нас из дому, чтобы мы ей не мешали. Куда деваться? Тут наше внимание привлекла афиша, сообщавшая об открытии Рабочего дворца имени Карла Либкнехта. Пошли!

Нужно было обладать великодушной и щедрой фантазией первого года революции, чтобы назвать дворцом этот длинный голый сарай на задворках угрюмого кирпичного дома где-то около Бутырской тюрьмы. Там не было ничего, кроме красного плюшевого занавеса, пары софитов, сколоченной из досок сцены и деревянных стульев и скамей.

Народу набралось полным-полно — в основном рабочие с соседних заводов. Видно было, что открытие

Рабочего дворца является для них большим событием. Все были принаряжены кто как мог: кто в алой или голубой сатиновой косоворотке, перепоясанной шелковым шнуром, кто в костюме «тройка». У женщин были накинуты на плечи кашемировые платки. В воздухе пахло нафталином и машинным маслом, которым щеголихи, за отсутствием всякого другого, мазали волосы.

Открытие задерживалось, и во всех концах зала шел разговор — один и тот же разговор на одну и ту же тему: о хлебе!

Месяц тому назад Московский Совет под натиском голода разрешил свободный провоз в Москву по полтора пуда хлеба каждому едущему. Как и следовало ожидать, это привело к небывалой разрухе. Постановление это, которое спекулянты прозвали «полуторапудовой волей», пришлось отменить. Вот об этом сейчас и шла речь.

— Правильно отменили,— говорили одни и рассказывали, как они мыкались, поехав за хлебом: — В поездах творится такое, что вспомнить страшно; приедешь на место — в Ртищево или в Арзамас,— там говорят, что все кругом обобрано. Приходится ходить по деревням. Пройдешь деревень двадцать — и не сумеешь купить ни одного фунта ни зерна, ни муки. Купить может только спекулянт, только у кулака. А придет к кулаку наш брат рабочий, тот ухмыляется: за что, мол, товарищи, боролись, на то и напоролись. «Денег ваших говорит, мне не нужно, у самого стоят мешки этих самых «керенок» и «ленинок», Приезжайте, мол, за мукой с сапогами, за одну пару сапог, если подходящие, может, дадим вам с пудик мучки...»

— Да уж, умеют выжимать кручину из бедняка,— вздохнула женщина в белом ситцевом платочке.

Но ей возразила другая — молодая, глазастая с лукавым ртом, облепленным подсолнечной шелухой:

— А мы вот удачно съездили.

Она не нашла поддержки.

— Эта полуторапудовка только набила карман буржуям и еще больше оголодила бедноту...

Наконец занавес раздвинулся, открылось торжественное заседание. По тогдашнему обычаю, прежде всего прочитали последний бюллетень о состоянии здоровья Владимира Ильича. Потом слово было предоставлено докладчику «о текущем моменте».

Это был докладчик из тех, которых в тогдашние времена прозвали «докладчиками с акулой» за то, что они не могли обойтись без непрерывных упоминаний об «акулах» и «гидрах» мирового империализма.

Упиваясь собственным красноречием, наш докладчик буквально захлебывался длиннющими трескучими фразами.

— Эти коронованные капиталистической милостью акулы тирании,— восклицал он,— те, кто на фундаменте из человеческих костей скрепляют кровавым цементом роскошные дворцы, воздвигают замки и палаты, пьют вина, пожирают хлеб, в то время когда рядом с ними рабочий умирает с голоду, живет в холодном подвале, падает мертвый под ноги господина, а господин встает на его бездыханное тело и восторженно пьет искристое вино за здоровье тирана, а паразиты подобострастно кричат, стараясь открыть пошире рот: «Гип! Гип! Ура!»...

Сперва эта болтовня, пожалуй, даже нравилась слушателям. «Здоров чесать языком»,— говорили они. Но потом люди начали уставать.

— Вот пустоговорка-то, леший его заешь,— рассердился кто-то.

— Да уж,— ответили ему.— Этот нашего пономаря перепономарит.

Оратора уже не слушали. От духоты и утомления людей стали одолевать тяжелые мысли. Со всех сторон шел разговор о том, что зима не за горами, хлеба нет, топить нечем. Как-то проживем? Выживем ли?

— Видать, сыт, раз так долдонит,— сказал злой голос.

— Мы этими песнями наслышаны. Он бы лучше хлеба привез,— подхватил другой.

Наконец оратор «закруглился». На радостях, что он кончил, ему похлопали.

Занавес сдвинули, потом раздвинули. Теперь стол президиума стоял сбоку, а на середину выдвинули рояль.

— Гляди, ящик-то какой! — ахнули в зале.— Это что же будет теперь?

Начался концерт. Узкоплечий юноша, почти мальчик, в широком не по росту костюме исполнил Вторую рапсодию Листа. Певица спела романс Даргомыжского «Нас венчали не в церкви...». Дальше была очередь баса. Он рассмешил всех знаменитой «Блохой» и взволновал балладой «Перед воеводой...». Ему, как и всем, бурно аплодировали.

Программу вел председатель районного Совета —

дюжий дядя с руками молотобойца. Объявляя следующего исполнителя, он сказал:

— Товарищи! Сейчас перед вами выступит артист драматического театра товарищ Дарьяльский.

Из боковой двери появился белокурый молодой человек в визитке — стройный, изящный, красивый. Выйдя на авансцену, он заговорил глубоким грудным голосом:

— Я прочту вам, товарищи, поэму Александра Блока «Двенадцать».

Ему дружно похлопали. «Двенадцать» так «Двенадцать»! Никто не знал, конечно, о чем идет речь: поэма Блока тогда только появилась и была известна лишь очень узкому кругу.

Актер отошел на несколько шагов от рампы и встал, освещенный ярким светом софитов. Опустив голову, он начал на низких нотах:

Черный вечер...

Потом приподнял голову и звеняще не сказал, а почти пропел:

Белый снег...

Теперь он стоял, высоко держа голову, слегка откинувшись назад. В его протяжном голосе слышался вой разыгрывающейся вьюги:

Ве-е-етер, ве-е-е-е-тер!..
На ногах не стоит человек...

У него было подчеркнуто выразительная манера исполнения — со свистящим *«скольсссско»* и тяжелым, как камень, *«тяжко»*.

Облик актера изменился, стал жестким. Правая рука согнутая в локте, отбивала темп. Размеренно, торжественно, четко он произнес:

От здания
к зданию
протянут
канат,
На канате плакат...

Вдруг он резко выбросил тело вперед и, высоко подняв руку, закричал, словно зовя за собою на штурм:

Вся!
власть!
Учредительному!
собранию!

И тут произошло нечто невообразимое. В едином порыве люди вскочили с мест и кинулись вперед, задыхаясь от ненависти, крича, рыча: «Долой! Вон! Долой его!» В полосе света, падающего со сцены, промелькнули искаженные гневом лица и потрясающие в воздухе кулаки.

Председатель выбежал к рампе, заслонил испуганного актера и заорал: «Товарищи! Спокойно! Это же стихи!» Но никто не хотел успокаиваться. Все стояли, продолжая сжимать кулаки, и из конца в конец зала прокатывался грозный клич: «Долой Учредилку!», «Да здравствует Советская власть!», «Да здравствует Совет Народных Комиссаров!», «Да здравствует Ленин!».

ПИСЬМО

Как-то у нас в Союзе молодежи ребята подняли дикий шум:

— Безобразие! Скоро годовщина революции, а такое творится! Прямо как при царском режиме!

— Что случилось? В чем дело?

— Понимаешь, по всей Москве портреты буржуев развешаны. Морды здоровые, гладкие, в глаз воткнуты очки об одно стекло, а сами развалились и нахально скалят зубы на пролетарскую революцию.

— Да не порите вы чушь! Не может этого быть.

— Не может? А вот пойдем посмотрим!

Пошли... В Столешниковом переулке, на Неглинной и на Тверской висели огромные, во весь фасад, рекламные щиты папирос «Сэр». На них был изображен некий великосветский джентльмен с моноклем. Покуривая папироску, он пускал кольца дыма.

— Ну, что скажешь?

— Действительно безобразие.

Решили заявить протест в Московский Совет. Выслушали нас там со вниманием, редкостным даже по тем малобюрократическим временам, записали, что и где, обещали либо немедленно снять эти щиты, либо закрасить. И в самом деле, уже на другое утро на улицах появились рабочие-маляры с ведерками краски. Большими кистями они замазывали и буржуазные физиономии, и вообще все рекламы под сочувственные замечания зрителей: «Разве-

сили здесь эту дрянь, весь город изгадили. Все купи да продай. Будто ничего другого людям и не нужно!»

Мы прямо лопались от самодовольства: вот, мол! Пошли мы в Моссовет, сказали, там с нами сразу согласились и все сделали.

Но старшие товарищи посмеивались:

— Не хвалитесь своим великим разумом. Это сделало *письмо*.

— Какое письмо?

— Много будете знать, скоро состаритесь.

Так мы впервые узнали о существовании загадочного письма, которое работники Московского Совета получили от Владимира Ильича. Что это было за письмо, они никому не рассказывали, только что-то бормотали, покряхтывали, почесывались — и видно было, что чувствуют они себя неважно.

Так и не узнать бы мне содержания этого письма, если б несколько лет спустя оно не было опубликовано в одном из Ленинских сборников. Написано оно было в связи с постановлением Президиума Моссовета, в котором говорилось о том, что Народный комиссариат просвещения не снабдил Моссовет бюстами деятелей революции, поэтому Моссовет снимает с себя ответственность за украшение Москвы в годовщину Октябрьского переворота.

Вот это письмо:

«В Президиум Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов

Дорогие товарищи! Получил Вашу бумагу за № 24962 с выпиской из постановления Президиума от 7. X.

Вынужден по совести сказать, что это постановление так *политически* безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. «...Президиум вынужден снять с себя ответственность...» Так поступают капризные барышни, а не взрослые политики. Ответственность Вы с себя не снимете, а втрое ее усилите.

Если Комиссариат народного просвещения Вам не отвечает и не исполняет своего долга по отношению к Вам, то Вы обязаны *жаловаться* и с документами. Не дети же Вы, чтобы не понять этого.

Когда Вы жаловались? Где копия? Где документы и доказательства?

И весь Президиум и Виноградова[1], по моему мнению, надо бы на неделю посадить в тюрьму за бездеятельность.

Если Комиссариат народного просвещения «не выдает бюстов» (когда Вы требовали? от кого? копия и документ? когда Вы обжаловали?),— Вы должны были *бороться за свое право.* А «снять с себя ответственность» — манера капризных барышень и глупеньких русских интеллигентов.

Простите за откровенное выражение моего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что Вас проучат тюрьмой за бездействие власти, и от глубоко возмущенного Вами

12.X.1918. *Ленина».*

Надо сказать, что подействовало это письмо самым отличнейшим образом: в течение месяца в Москве было установлено, наверно, больше памятников, чем за всю предшествующую и последующую ее историю.

В одно из воскресений, как раз в те дни, когда происходил Первый съезд комсомола, открыли сразу четыре памятника: Шевченко, Кольцову, Никитину и Робеспьеру.

— Куда бы пойти? — рассуждали ребята в общежитии делегатов съезда.— Кольцов? «Ну, тащися, Сивка...» Нет, это не по нашей эпохе. Никитин? «Пали на долю мне песни унылые...» — тоже не подойдет. Вот Шевченко бы посмотреть, а еще лучше Робеспьера: «Интерес народа — общий интерес; интерес богатых — частный интерес». «Необходимо снабдить санкюлотов оружием, страстью, просвещением. Надо истреблять и внутренних и внешних врагов республики или погибнуть вместе с ней». Одним словом, Неподкупный! Пошли, товарищи, на Робеспьера!

Памятник Робеспьеру решено было установить в Александровском саду. Когда мы пришли, монумент был покрыт куском золотистой материи, а пьедестал обвивали гирлянды живых цветов. Народу собралось тысяч пять, не меньше. Представители рабочих районов пришли с красными знаменами и венками белых и лиловых хризантем.

---

[1] Работник, ведавший установкой памятников.— *Е. Д.*

Вот появился председатель Московского Совета Смидович. Оркестр заиграл «Марсельезу». Смидович сдернул покрывало — и взорам присутствующих открылся памятник Робеспьеру. Слово было предоставлено французскому коммунисту Жаку Садулю.

Месяца два назад Жак Садуль был еще работником французской военной миссии. Его биография была необычайной. Адвокат, сын участницы Парижской коммуны, он совсем молодым человеком вступил в ряды социалистической партии и был избран секретарем федерации партии в департаменте Вьенны. Во время первой мировой войны примкнул к социал-патриотам, работал в министерстве снабжения правой рукой ярого шовиниста Альбера Тома, который и командировал его в сентябре 1917 года во французскую миссию в России как человека, способного урезонить русских рабочих и уговорить их, чтобы они продолжали оставаться пушечным мясом для империалистов Антанты.

Когда Садуль приехал в Россию и встретился с Лениным и другими большевиками, когда увидел собственными глазами русскую революцию, он начал отходить от позиций французского социал-патриотизма. Свои новые взгляды он изложил в ряде писем во Францию, которые затем собрал и издал книгой под названием «Да здравствует пролетарская революция!». В августе 1918 года Садуль окончательно порвал с французской военной миссией и вступил в Коммунистическую партию.

Он был истинным французом — веселым, живым, остроумным, галантным. Бывало, идешь рядом с ним по Москве, топаешь ногами, обутыми в огромные армейские ботинки. На тебе гимнастерка и вылинявшие солдатские брюки. А Садуль склонит к твоему плечу свой изящный стан, поддержит под руку при переходе улицы — и сразу почувствуешь, что ты — дама!

И вот сейчас Жак Садуль стоял у подножия памятника Робеспьеру и, обращаясь к русскому народу, произносил речь как коммунист и как француз:

— Буржуазия всячески старалась принизить значение французской революции и опорочить Максимилиана Робеспьера,— говорил он.— Она никого так не ненавидела, как этого честного и преданного революционера. Советская власть ставит памятник Робеспьеру, в то время как во Франции такого памятника нет. Буржуазия клеветала на Робеспьера так же, как она клевещет сейчас на наших

вождей. Робеспьер знал, что создать новый строй можно, только уничтожив все старое. Проводя красный террор, он был лишь исполнителем воли народа и выразителем его пламенного гнева! Да здравствует бывшая французская революция и грядущая французская революция!»

— Ура! — закричали кругом.— Да здравствует революция! Да здравствует коммунизм! Да здравствует французский пролетариат!

Оркестр играл «Марсельезу». Садуля качали, целовали, приглашали в гости.

За несколько дней памятники революционерам, поэтам, писателям были установлены чуть ли не на всех московских площадях. Лишь немногие из них были отлиты из бронзы, большинство было изготовлено из бетона, к тому же из скверного бетона. Во всяких художественных отделах сидели тогда товарищи, которые почему-то видели столбовую дорогу пролетарского искусства в футуризме. Поэтому памятники были сооружены в виде прямоугольных кубов, увенчанных приплюснутыми обрубками, изображавшими головы. В довершение ко всему время быстро обезобразило их своими разрушающими метами. Все это так! Но нам эти первые детища революции казались прекрасными — и мы были абсолютно искренни, когда с воодушевлением говорили, что памятники эти будут стоять века!

А сбоку на это глядела интеллектуальная плесень — из тех, о ком Чехов издевательски говорил: «Он очень умный, воспитанный, окончил университет, даже за ушами моет». Эта плесень слушала философские лекции Шпета, почитала себя поклонницей феноменологической школы Гуссерля, рукоплескала «Вехам», Милюкову, Струве и Туган-Барановскому, бывала на премьерах пьес Метерлинка, зачитывалась Владимиром Соловьевым, декламировала стихи Вячеслава Иванова, днем посещала вернисажи «Мира искусств» и «Бубнового валета», вечера заканчивала с певичками в отдельных кабинетах «Яра» — и по всему по этому полагала, что она, и только она, является солью земли русской. Не сумев или не успев пока удрать к Деникину и Колчаку, она по мере сил своих участвовала в контрреволюционных заговорах, ехидничала и шипела.

Она, эта плесень, ощупывала памятники колючими глазками, обнаруживала их уродливость, открывала пятна, нанесенные сыростью, тыкала пальцами в язвы и трещины в рыхлом бетоне — и торжествующе предсказывала, что памятники быстро развалятся. Это была правда, но только *их* правда, правда лишая, правда мокрицы.

А наша правда? В чем же она? В том, что пролетариат позвал великих людей прошлого встать рядом с ним, в его шеренгу,— и лучшие умы и сердца человечества пошли вместе с рабочим классом на осаду крепостей капитализма.

Там, где бой, там и жертвы. В ночь на седьмое ноября 1918 года памятник Максимилиану Робеспьеру у Кремлевской стены был взорван преступной рукой врага...

СКОРЕЙ БЫ!

Это было под вечер в одну из последних суббот перед Октябрьскими праздниками. Не помню уж почему, я бегом бежала через Кремль — и вдруг увидела Владимира Ильича и Надежду Константиновну. Они шли, держась за руки, посмеивались, переговаривались, посматривали на чуть розовое закатное небо.

— Пойдем к нам чай пить! — крикнула мне Надежда Константиновна.

— С медом,— подхватил Владимир Ильич.— Мы члены профсоюза, вот и получили!

По дороге к дому они пригласили еще кого-то из товарищей, которые с радостью пошли к «Ильичам».

Чай пили на кухне, совсем как в былые времена в парижской квартире на улице Мари-Роз. На столе стояла такая же разномастная посуда, клеенка так же была покрыта сетью трещин и щербинок.

Владимир Ильич еще редко выходил после ранения и поэтому жадно расспрашивал всех о том, что творится на свете. А рассказать было о чем! И первое заседание первой в мире Социалистической Академии общественных наук, и Первый съезд комсомола, и... Много чего — и все первое!

Владимир Ильич слушал, задавал вопросы, весело переглядывался с Надеждой Константиновной. Особенно заинтересовали его рассказы о разговорах в народе — о рабочем с Прохоровки, который сказал: «Советская власть начала с пустым кошельком, а хоть четвертью хлеба, но докормила до нового урожая»; о делегатке Первого съезда работниц, рассказывавшей о себе: «Я бросила тачку, чтобы с головой уйти в организационную работу».

— Так и сказала: «Уйти в организационную работу»? — переспросил Владимир Ильич.

— Да, так.

— Как интересно, а, Надя! А какая она, эта женщина — молодая, старая?

— Лет двадцать пять. У нее трое детей.

Надежда Константиновна налила всем по второму стакану чая. Раздался стук в дверь. Это пришел секретарь Совнаркома Николай Петрович Горбунов. В руках у него был пакет, зашитый в кусочек черного шелка.

— Тут, Владимир Ильич, товарищ из Америки приехал и привез вам вот это,— сказал он.

Владимир Ильич распорол ножом шелк, вскрыл конверт и достал письмо, написанное на листке тонкой бумаги. За столом продолжался общий разговор.

Вдруг Надежда Константиновна вскочила с места:

— Володя, что с тобой?

У Владимира Ильича побелело лицо и даже губы стали белыми. Все невольно посмотрели на его левое плечо, в котором еще сидели эсеровские пули. Но он замотал головой.

— Нет, нет, ничего... Вот послушайте-ка.— И сдавленным голосом стал читать:

«Сан-Франциско (Калифорния), 4.VII — 1918 года. Тюрьма.

Ко всем моим товарищам и братьям рабочим в России.

Приветствую вас, товарищи, в ваших исканиях, в вашей величественной борьбе!

Привет вам, русские рабочие, и в несчастьях, в невзгодах и в скорби вашей.

Мне хочется сказать вам, что всем своим существом я с вами; что во мне, в моей скромной по своему значению личности, вы имеете искреннего вашего сторонника и горячего приверженца вашего великого дела.

Не проходит дня, чтоб я мысленно не был с вами. Ваши могучие усилия, ваши напряженные искания влекут мои думы к вам.

Искренние старания ваши направлены к тому, чтобы дать действительную свободу великому многострадальному народу.

Триста лет вы и деды ваши страдали под ярмом варварской тирании.

Одного этого достаточно, чтобы побудить вас прямо идти к своей цели и чтобы вы пили из того чистого источника свободы, которым вы обладаете.

Я ваш приверженец, я иду по вашим стопам, насколько условия моей теперешней жизни позволяют мне, а условия эти (таковы уж они) не слишком позволяют проявить себя.

Я печалюсь вашими печалями, страдаю, пока у вас неудачи, и ликую, когда вы одерживаете победы.

Мое личное положение весьма серьезно, но это вопрос лишь моего собственного спасения. Гораздо больше меня интересует спасение того, что достигнуто рабочим классом России в его борьбе. Он освободился от тяжелой неволи, от рабства прошлого, и теперь делает такие блестящие, такие великолепные попытки построить новое царство свободы.

Сердце мое рвется к вам, к вашей великой работе, к вашей благородной деятельности.

Еще больше сил, еще больше могущества я желаю вашему удивительному революционному духу, которым проникнуты все ваши честные намерения и благородные усилия.

Величайшее несчастье жизни моей — это то, что я не могу принять участие в вашей славной работе, вместе с вами.

Это послание я передаю с одним русским товарищем, который возвращается в Россию, чтобы присоединиться к русским борцам в их великой работе.

Я передаю его своими руками из «Сан-Францисской Бастилии» в надежде, что вы его получите.

Я надеюсь и верю, что переустройство вашей молодой экономики увенчается блестящим успехом.

Посылаю вам отсюда, из места моего заточения, мои сердечные поздравления и братские приветствия.

Искренне, честно, по-братски я ваш в деле освобождения от капиталистического рабства.

Том Муни».

Владимир Ильич кончил. Волнение долго не давало никому говорить.

— Когда назначена казнь? — глухо спросила Надежда Константиновна.

— На двенадцатое декабря,— ответил Горбунов.

Том Муни, американский социалист, в прошлом рабочий-литейщик, противник войны, был оклеветан и приговорен к смерти за то, что будто бы он вместе со своим другом Биллингсом бросил бомбу во время военного парада в Сан-Франциско в июле 1916 года. Уже более двух лет рабочие всего мира — в том числе русские рабочие — требовали отмены приговора и освобождения Муни.

— Помнишь, Надя, я тебе рассказывал, как на копенгагенском конгрессе II Интернационала мы с Томом Муни всю ночь катались на лодке? — спросил Владимир Ильич.— Том пел песни американских рабочих, а мы учили его «Дубинушке».

Владимир Ильич встал, подошел к окну, всматриваясь в смутный вечерний сумрак, потом обернулся.

— Скорей бы! — воскликнул он.— Кажется, тысячу раз отдал бы жизнь, только скорей бы!

Все поняли, о чем он думал: о победе пролетарской революции во всем мире.

Он сел за стол, взял стакан, подержал его и снова поставил, не отпив ни глотка.

— Я пойду поработаю часок-другой,— сказал он, поднимаясь.

Надежда Константиновна посмотрела на него. Ее любящий взор говорил: «Ты же хотел отдохнуть».

— Ступай,— сказала она мягко.— Мне тоже надо бы сходить по одному делу.

Прихватив с собой меня, она пошла пешком в Хамовники, в Рукавишниковский детский приют, и до позднего вечера занималась его бедами — скверной пищей, рваными простынями, вшами, отсутствием дров и учебников...

Когда Владимир Ильич, думая о международной революции, воскликнул: «Скорей бы! Кажется, тысячу раз отдал бы жизнь, только скорей бы!» — он выразил чувства лучших людей России того времени.

Приближалась первая годовщина со дня, когда партия революционного пролетариата взяла в свои руки власть и через тягчайшие испытания повела страну по пути социализма. Каждый день на протяжении этого великого, полного трагизма года русские рабочие и крестьяне обращали свои взоры на Запад, ожидая часа, когда там вспыхнет социалистическая революция.

Сначала с Запада доносился только рев пушек первой мировой войны. Весной германская армия перешла в наступление. Громкие победы первых дней быстро сменились почти катастрофическим поражением. В сентябре началось наступление армий Антанты, германский фронт был прорван, союзнические войска продвинулись далеко за основную оборонительную линию противника. Колоссальная мощь германской армии быстро таяла. 29 сентября была прорвана «линия Гинденбурга», в этот же день капитулировала Болгария, а вслед за ней — Турция и Австро-Венгрия.

Время шло. И все чаще сквозь грохот орудий с Запада стали пробиваться иные звуки: шум шагов рабочих демонстраций, пение «Интернационала», возгласы: «Долой империалистическую войну!», «Слава русской революции!».

Советская республика была отрезана от всего мира. Чтобы хоть что-нибудь узнать о происходившем на Западе, терпеливые радисты на слабеньких радиостанциях в Таврическом дворце, в Пулкове, в Москве, в Пензе день и ночь шарили в эфире, ловя сообщения о боях под Реймсом и Амьеном, о забастовках в Германии, голодных бунтах в Болгарии, восстаниях солдат во французской армии, рисовых беспорядках в Японии.

Бумаги было мало, газет не хватало. Народ толпился на улицах, возле окон магазинов, где вывешивались написанные от руки на длинных полосах бумаги «Революционные сводки РОСТА». Сводки читались вслух и тут же комментировались:

— ...Я в Германии в плену был. Видел, как народ там намаялся.

— ...Насчет Австро-Венгрии я не сомневаюсь. Там дело близкое.

— ...У нас постановили назвать отряд именем Карла Маркса и вступить всем до одного.

— ...Знавал я болгар. Хороший народ. Красивый народ. Гордый народ.

— ...Пора, брат, пора... Близок последний, решительный бой!

Не было дня, чтобы в Советскую Россию не проникали сообщения о народных волнениях во всех уголках земного шара. По волнам эфира неслись названия все новых и новых мест, в которых вспыхивали революционные бои. Радисты порой их нещадно путали, и читатели сводок РОСТА мучительно старались понять, что же это за таинственный «французский город Кисамиса» или «известный американский писатель Упрозинклер», оказавшийся на поверку Эптоном Синклером.

Но вот в германских радиограммах промелькнула фраза, в которой проницательные умы сразу уловили нечто весьма серьезное: «В Болгарии не произошло никаких событий, о которых следовало бы сообщать». На следующий день стало известно, что болгарские солдаты тысячами покидают фронт, что они создали Советы солдатских депутатов и направились в поход на Софию. В Москве на улицах незнакомые люди радостно пожимали друг другу руки: «Начинает сбываться!»

В первых числах октября внезапно похолодало. Както вечером, выйдя с молодежного собрания, мы увидели, что, пока мы там спорили и пели, снег покрыл все кругом ровной белой пеленой.

— Вот здорово! В зимний холод пой, кто молод!

Положив друг другу руки на плечи, мы широко шагали в ряд, распевая сложенную на этом собрании песню:

Наш костер в тумане светит,
Революция кругом,
Власть трудящихся не сломят,
Если все мы в бой пойдем...
Наш костер пылает ярко,
Искры смело вдаль летят,
И рабочие на Западе
Революции творят...

У Петровских ворот нас окликнул красноармеец. Поеживаясь от стужи, он стоял на посту у хлебного магазина.

— Табачку не найдется, товарищи?

Табачок нашелся. Скрутили толстенькую цигарку, зажгли спичку. Красноармеец жадно затянулся, потом спросил:

— Ну, как там?

— Где там?

— Да в Болгарии.

— В Болгарии хорошо. Корона с королевской башки полетела, завтра и башка с плеч слетит.

— А насчет австрияков?

— И австрияки подымаются, и турки, и немцы. Все жарче и жарче пожар мировой!

Мы пошли дальше.

Ночь пройдет, а утром рано
Нам оружие ковать,
Чтобы власти капитала
В мире больше не бывать...

Все, кто в эти дни бывал на фабриках и заводах, кто выступал среди рабочих и красноармейцев, в один голос отмечали торжественное, горделивое, приподнятое настроение, в котором жил теперь народ. Огромные исторические события полностью подтвердили правильность избранного им пути. Люди видели, что тяжелые жертвы и лишения, через которые прошли они за этот год, были ненапрасны. Люди знали, что им предстоит пережить еще немало бурь, великих бурь, но спокойно смотрели в будущее, уверенные в своих силах.

— У нас теперь одно дело — победить,— сказал на митинге на заводе Бромлей один из старейших рабочих под гром рукоплесканий.

События продолжали нарастать. Освобожден из каторжной тюрьмы Карл Либкнехт... В Вене и Будапеште образованы Советы рабочих и солдатских депутатов... Восставшие матросы убили венгерского диктатора Тиссу... В Болгарии провозглашена республика. По Германии бродит призрак революции...

Редко кому на свете приходилось тяжелее, чем тогдашним русским рабочим: на протяжении многих месяцев четверть, а то и восьмая фунта хлеба, похожего на глину пополам с соломой, да селедочный хвост на четверых.

И, несмотря на это, при каждом известии об успехах революционной борьбы международного пролетариата по всей стране вспыхивали массовые манифестации и митинги.

Площадь перед Московским Советом жила в непрерывном кипении. Одна колонна манифестантов сменяла другую. Звуки уходящего оркестра сливались со звуками другого, приближающегося. На одном конце площади пели последние строфы «Интернационала», на другом уже слышались его первые слова.

Приближалось празднование первой годовщины Октября. По всему городу стучали молотки, приколачивались плакаты, знамена, картины, портреты. Ночью звенели трамваи, которые развозили картофель; его раздавали населению через домовые комитеты. В витринах магазинов устраивались выставки: «Земля и планеты», «Анатомия человека», «Есть ли бог и душа?». На здании бывшей Городской думы рядом с часовней Иверской богоматери появились высеченные из камня слова Маркса «Религия — опиум для народа». Художники разрисовали Страстной монастырь и деревянные ларьки в Охотном ряду яркими, пестрыми фигурами и надписями: «Не трудящийся да не ест».

Повсюду заседали комиссии, разрабатывавшие программу праздника. Некий лохматый товарищ, выступая перед нами от имени секции изобразительных искусств Наркомпроса, говорил, что празднество предположено разделить на три части: борьба, победа, упоение победой.

— Первоначально настроение масс кульминирует,— говорил он, потрясая своими лохмами,— потом оно достигает апогея и в результате заканчивается весельем...

Московский Совет принял решение напрячь все силы, чтобы накормить 7 ноября все трудящееся население Москвы обедом: хлеб, щи с мясом или рыбой, два стакана чая с сахаром.

Всему гражданскому населению — без различия классовой принадлежности — было решено выдать по два фунта хлеба, по два фунта свежей рыбы, по полфунта сливочного масла и полфунта варенья. И удивительная вещь: мы, которые с такой яростью выступали против меньшевиков, отстаивая необходимость введения классового пайка, были счастливы тем, что в великий день 7 ноября продукты получат все без исключения и в равных количествах: в этом был прообраз будущих побед социализма!



И вот настало 6 ноября. Ровно в полдень протяжно загудели гудки московских фабрик и заводов. Трудовая жизнь Москвы остановилась. Толпы народа заполнили улицы и — выражаясь языком лохматого товарища из изобразительного отдела Наркомпроса — «кульминировали», не слишком-то разбираясь в том, какие чувства они испытывали: борьбы, победы или упоения победой.

Вечером зажглась иллюминация. На Красной площади с Лобного места выступали ораторы. Потом там же, на Лобном месте, было сожжено чучело старого мира.

В третьем часу дня открылся Шестой Чрезвычайный съезд Советов, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. Зал Большого театра был задрапирован красным, от центральной люстры протянулись гирлянды зелени и ленты с надписями: «Да здравствует союз рабочих и бедняков деревни!», «Революция — локомотив истории!».

На этом съезде — впервые! — не было ни «правой», ни «левой»: весь зал от края и до края занимали большевики. На сцене стояли декорации Грановитой палаты из «Бориса Годунова». Свердлов, приглашая товарищей пройти из-за кулис и занять места в президиуме, сказал смеясь: «Пожалуйте, товарищи бояре!»

Он открыл съезд, произнес несколько вступительных слов и в наступившей тишине начал было фразу: «Слово предостав...»

Дальше уже ничего не было слышно — такое поднялось в зале. По всем пяти ярусам, как бы отвечая общему настроению, вспыхнули дополнительные люстры,

Владимир Ильич, поднявшись из задних рядов президиума, прошел к ораторскому месту, разложил записки, достал часы, поглядел на них и начал говорить...

Его речь неоднократно прерывалась аплодисментами, в конце ее зал устроил бурную овацию, которой, казалось, не будет конца.

Новой овацией были встречены телеграммы Либкнехта, Меринга и группы «Спартак», полученные съездом. «Ваша борьба — наша борьба,— писали товарищи.— Ваша победа — наша победа! Пусть счастье сопутствует вам во всех бурях настоящего и будущего!», «Русская Советская Республика стала знаменем борющегося Интернационала! — восклицал Карл Либкнехт.— Она возбуждает отсталых, наполняет смелостью колеблющихся, удесятеряет смелость и решимость всех! Клевета и ненависть окружают ее, но высоко над всем потоком грязи возносится она — великое творение гигантской энергии и благороднейших идеалов, начинающийся новый, лучший мир!»

Когда стемнело, на улицах зажгли фейерверк. В здании оперного театра Зимина (позднее — филиал Большого театра) началась опера Бетховена «Фиделио». Режиссер Федор Комиссаржевский поставил спектакль так, что происходящее на сцене переплеталось с сегодняшним днем. Перед взволнованными зрителями развертывался рассказ о политических узниках, об убийстве тирана, об освобождении восставшим народом своего вождя — Флорестана, которого заточил в темницу преступный губернатор Пицарро. Герой оперы обратился к присутствующим с речью, которая заканчивалась призывом: «Мир хижинам — война дворцам!» В финале действующие лица пели вместе со всем залом «Интернационал».

День 7 ноября был ясным, солнечным. Он начался с того, что Ленин открыл на площади Революции памятник Марксу и Энгельсу. Оттуда он вместе с делегатами съезда Советов прошел на Красную площадь. Все выстроились около задрапированной красным шелком мемориальной доски в память жертв Октябрьской революции. Свердлов провозгласил, что открытие доски поручено самому любимому, самому дорогому для всех человеку — товарищу Ленину!

Владимир Ильич срезал ножницами печать, покровы упали — и глазам присутствующих представилась белокрылая фигура, держащая пальмовую ветвь с надписью:

«Павшим в борьбе за мир и братство народов». Знамена склонились, раздались звуки похоронного марша, все обнажили головы.

— Товарищи! — сказал в своей речи Ленин.— Мы открываем памятник передовым борцам Октябрьской революции 1917 года. Лучшие люди из трудящихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за освобождение народов от империализма, за прекращение войн между народами, за свержение господства капитала, за социализм... Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг — «победа или смерть».

И вся площадь, словно эхо, повторила за Лениным: «Победа или смерть!»

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Никогда еще я не видела Свердлова таким, каким он был в ноябрьские дни восемнадцатого года. Всегда легкий, стремительный, быстрый, он теперь не ходил, а словно летал, не чувствуя под собой земли. За день он успевал побывать в десятке мест — председательствовать во ВЦИКе, присутствовать на заседании Совнаркома, выступить на митинге в красноармейской казарме, принять ходоков из Тамбовской губернии, побеседовать с группой коммунистов, отправляющихся на Южный фронт, устроить в санаторий заболевшего товарища, проштудировать с карандашом в руках новую статью Ленина и «провернуть» еще тысячу дел!

Когда он спал? И спал ли он вообще? В каждом его движении чувствовалась неукротимая энергия. Обычно сдержанный и весь подобранный, сейчас он делал все с веселым шумом.

— Подумать только, что творится!— восклицал он.— И все это не миф, не фантазия, а наиреальнейшая действительность. А народ у нас какой! Золотой народ! Удивительнейшие человечины!

...Как-то к нему пришли комиссар Латышской стрелковой дивизии Петерсон и командир артиллерийского дивизиона Берзин — тот самый Берзин, которому английский посланник в России Локкарт, посулив за это

пять-шесть миллионов рублей царскими деньгами, предложил примкнуть к контрреволюционному заговору, помочь свергнуть советское правительство и убить Ленина и Свердлова.

Берзин дал уклончивый ответ и тут же сообщил о предложении Локкарта члену коллегии ВЧК Петерсу. По указанию Петерса Берзин сделал вид, что на все согласен, встретился с Локкартом, проник в центр заговора, узнал его участников, обнаружил нити, ведущие к английским, французским и американским дипломатам и разведчикам, получил от Локкарта в счет обещанного миллион с гаком — и... передал все это в ВЧК!

Я видела его, этот миллион, когда Петерсон и Берзин принесли его, чтобы показать Свердлову. Миллион лежал в сером холщовом мешке. Петерсон нес его за плечами, как носят мешки с картошкой. Развязав веревку, стягивавшую мешок, Петерсон вывалил на диван груду грязноватых пачек. По словам Локкарта, эти деньги были собраны для нужд заговора «богатыми русскими людьми» в обмен на чеки, которые должно было впоследствии оплатить английское правительство.

Свердлов оторвал кусок газеты, подошел к дивану, на котором лежал миллион, и прихватил через бумагу пачку, чтобы поближе рассмотреть деньги своими близорукими глазами.

— Противно в руки брать,— сказал он.

Заговор Локкарта был ликвидирован, некоторые заговорщики успели скрыться, остальные были арестованы и преданы суду. На лице Берзина блуждала смущенно-счастливая улыбка.

— И дурак же этот Локкарт,— сказал Яков Михайлович, глядя на Берзина.— Нашел кого вербовать!..

В начале ноября Свердлов уехал на несколько дней в Питер — проводить съезд деревенской бедноты. Вернулся оттуда радостный и возбужденный донельзя. Готов был десятки раз рассказывать и пересказывать про то, что там было.

Даже в те полные чудес времена съезд этот казался чудом. Вместо ожидаемых пяти-шести тысяч съехалось больше десяти тысяч делегатов. Под съезд был отведен Зимний дворец, но царские хоромы оказались тесны, и первое заседание было проведено на площади Урицкого, прямо под открытым небом. Потом заседали в Народном доме, в двух залах одновременно. Съезд принял решение

создать образцовые полки деревенской бедноты, в которые каждый комбед выделит по два человека — самых крепких и достойных людей. С огромным воодушевлением избрал съезд делегацию для посылки в Германию и Австрию, включив в нее Максима Горького. Делегация должна была передать немецким и австрийским рабочим привет от российской деревенской бедноты. Надо знать тогдашнюю Россию, чтобы представить себе, как далеко шагнули за один только год социалистической революции псковские, олонецкие, новгородские, череповецкие мужики, собравшиеся на этот съезд!

Между тем положение в Германии становилось все более напряженным. Ясно было, что в ближайшие дни произойдут решающие события. Все мечтали о том, чтобы революция в Германии произошла 7 ноября — в тот же день, что и в России.

Перед самыми праздниками была перехвачена радиограмма о восстании матросов в Киле. На следующий день стало известно об образовании в Германии первых Советов. На всю Германию звучали требования о низвержении монархии Вильгельма и немедленном заключении мира.

Незадолго до этого германская социал-демократия сделала судорожную попытку спасти монархию: один из лидеров социал-демократической партии, Филипп Шейдеман, вступил в правительство. Но ничто не могло остановить надвигающийся революционный шторм.

Московская радиостанция получила распоряжение немедленно доставлять Ленину и Свердлову все сколько-нибудь значительные радиограммы, которые ей удастся перехватить.

Девятого ноября самокатчик привез в Большой театр, где заседал Шестой съезд Советов, сообщение лондонского радио, о том, что Берлин охвачен всеобщей забастовкой, перед императорским дворцом собралась многотысячная толпа рабочих и Либкнехт объявил Германию социалистической республикой. Это сообщение было встречено такой овацией, что под потолком закачалась большая хрустальная люстра.

Через час появился другой самокатчик. Он привез новое сообщение: Филипп Шейдеман, вчерашний министр кайзеровского правительства, провозгласил из окна рейх-

стага «Германскую свободную демократическую республику».

Прочитав эту радиограмму, Владимир Ильич помрачнел.

— Когда курица поет петухом, это к добру не приводит,—сказал он.

Все жили в ожидании того, что будет дальше. Было такое чувство, будто вновь вернулись времена Смольного.

Утром 10 ноября, когда я пришла на работу, Свердлов был уже в своем кабинете. Он сидел за столом, просматривая накопившуюся за дни праздников почту, но через каждые четверть часа поднимал телефонную трубку и звонил на радиостанцию и в РОСТА, спрашивая, нет ли новостей. Новостей не было. Наконец он не выдержал, бросил ручку и зашагал по комнате — так, как это делают люди, долго сидевшие в тюрьме: из угла в угол, по прямой.

— Не могу работать,— сказал он и стал читать вслух «Зимнюю сказку». Гейне был его любимым поэтом. Яков Михайлович читал стихи по-немецки наизусть.

Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich euch dichten...
...Мы новую песнь, мы лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаем:
Мы в небо землю превратим,
Земля нам будет раем.
При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
Отныне ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки,
А хлеба хватит нам для всех...[1]

На этой строке: «Es wächst hienieden Brot genug...» — он остановился, потом присвистнул и сказал:

— Brot... Хлеб... А что, если...

Он бросился к телефону, попросил дать кабинет Ленина.

— Владимир Ильич! Владимир Ильич! — заговорил он.— А что, если мне попробовать вызвать к прямому проводу Либкнехта? Да?.. Еду!

Вернулся он часа через два. Его умные черные глаза смеялись, кепка сбилась на затылок, воротник кожаной

[1] Русский текст в переводе В. Левика.

тужурки был расстегнут. Он только что беседовал с Берлином по аппарату Юза. К прямому проводу подошел дежурный по германскому министерству иностранных дел. Узнав, что вызывает Москва, он сделал попытку уклониться от разговора, но Свердлов потребовал под его личную ответственность, чтобы он немедленно разыскал Либкнехта и привез его к аппарату. Через полчаса дежурный снова подошел к прямому проводу и стал извиняться, что найти Либкнехта невозможно, ибо он выступает на митингах в разных районах Берлина.

Эти подробности я узнала не сразу. В ту минуту, когда Свердлов приехал с главного телеграфа, он быстро прошел к телефону, поднял трубку «верхнего коммутатора», соединился с народным комиссаром продовольствия Цюрупой и сказал ему:

— Александр Дмитриевич! Наконец-то я вас поймал. Как с хлебом? Немедленно отправляйте в Берлин первый маршрут!

ЧЕРНЫЕ СУХАРИ

Хлеб! Хлеб для германских трудящихся!

В то время когда начали нарастать события в Германии, Владимир Ильич, еще не оправившись после ранения, жил по предписанию врачей за городом. Вынужденное безделье его мучило, он рвался в Москву. Первого октября он написал Свердлову записку, в которой предложил созвать на следующий же день объединенное заседание ВЦИКа, Московского Совета и рабочих организаций, чтоб провести практические мероприятия помощи германскому пролетариату.

«...Назначьте собрание в среду в 2 ч.— писал Владимир Ильич в конце письма.— ...мне дайте слово на 1/4 часа вступления, я приеду и уеду назад. Завтра утром пришлите за мной машину (а по телефону скажите только: *согласны)*.

Привет! *Ленин*».

Надежда Константиновна Крупская рассказывает в своих воспоминаниях, как хотел Владимир Ильич выступить на этом собрании.

«Согласия на приезд Ильич не получил, несмотря на его страстную просьбу об этом,— рассказывает она,—

берегли сугубо его здоровье. Объединенное собрание было назначено на 3-е, на четверг, а 2-го, в среду, Ильич лишь написал собранию письмо...

Ильич знал, что машины за ним не пришлют, а все же в этот день сидел у дороги и ждал... «А вдруг пришлют!»...»

В этом письме, зачитанном на объединенном собрании ВЦИКа и представителей трудящихся Москвы, Владимир Ильич Ленин призывал русских рабочих и крестьян напрячь все силы, чтобы помочь немецким трудящимся в предстоящих им тяжелых испытаниях, удесятерив усилия по заготовке хлеба и создав при каждом элеваторе запас для помощи немецким рабочим, если обстоятельства борьбы за освобождение от империализма поставят их в трудное положение.

«Докажем, что русский рабочий умеет гораздо более энергично работать, гораздо более самоотверженно бороться и умирать, когда дело идет не об одной только русской, но и о международной рабочей революции»,— писал Владимир Ильич.

И русский рабочий класс и крестьянство ответили Ленину так, как они всегда отвечали Ленину!

Народ, измученный войной, разрухой, голодом, интервенцией и контрреволюционными мятежами, не задумываясь, решил разделить свой кусок хлеба с германским народом.

Поделиться продовольствием решили все: и изголодавшийся Питер, и бесхлебная Кострома, и превращенный в развалины Ярославль.

— Наш долг, товарищи, помочь немецким рабочим, в крайнем случае за счет социалистического отечества, тем куском хлеба, который, может быть, придется с винтовкой брать у кулака,— говорил, выступая на общезаводском митинге, рабочий с завода «Дукс».

— Мы поделимся с вами последним куском хлеба, братья германские пролетарии,— заявлял Петроградский Совет.

По запорошенным первым снегом русским полям потянулись мужицкие обозы с мешками зерна. Красные знамена возвещали, что это зерно идет в фонд Ленина, в фонд Либкнехта, в фонд мировой революции.

Не обошлось, конечно, без тех, кого тогда прозвали «шипящими».

— Сами голодные,— шипели они.— Самим жрать нечего, скоро подохнем, а большевики последний хлеб немцам гонят!

Мне довелось услышать такой выпад во время митинга на фабрике Жиро. Но тут на трибуну поднялась немолодая работница.

— Я как мать говорю,— сказала она.— Мать сама недоест, а детей накормит. А Россия наша сейчас всем революциям мать! Так неужто же русский народ будет думать о своем брюхе, а не обо всей своей семье?

На элеваторах создавали запасы муки и зерна, а народ собирал и сушил черные ржаные сухари.

Черные сухари, черные сухари! Их приносили по два, по три в районные комитеты партии и комсомола, в профсоюзы и фабзавкомы, приносили бережно завернутыми в белую тряпицу и осторожно выкладывали на стол, чтобы не уронить ни одной драгоценной крошки.

Как много мог бы рассказать каждый из этих сухарей! Вот лежит сухой тонкий черный брусок геометрически правильной формы. Это разрезанная надвое пайковая четвертушка. А этот сухарь с полукруглым бочком был когда-то горбушкой круглого хлебца. Такого хлеба в Москве не пекут, его привезли из деревни. Быть может, тому, кто привез его в Москву, пришлось не одну ночь висеть на ступеньке или прижиматься к железной крыше вагона. А этот сухарь чуть светлее других. Такой более светлый хлеб отпускают по детским карточкам. Кто принес его — мать или сын? А это овсяная лепешка, через два дня на третий овес дают по карточкам вместо хлеба.

Собранные сухари упаковывали в фунтики, перевязывали шпагатом и складывали в шкафы. Там они должны были ждать, пока представится возможность отправить их в помощь зарубежным братьям.

...Таков был хлеб, тот святой хлеб, который голодающая Россия посылала трудящимся Германии!

ТОВАРИЩАМ И БРАТЬЯМ

Первые два маршрута с хлебом для Германии были отправлены советским правительством 11 ноября. На товарной станции Александровского (ныне Белорусского)

вокзала шла погрузка новых эшелонов. Вместе с мукой грузили и мешки черных сухарей.

Маршруты сопровождались делегациями трудящихся Советской России. В одну из делегаций была включена и я — мне было поручено передать немецкой рабочей молодежи приветствие от российского комсомола. Товарищи мне завидовали, но не слишком: все они были убеждены, что не сегодня-завтра тоже будут в Берлине — сражаться за свободную социалистическую Германию.

А пока что все занимались немецким языком. Букинисты у Китайгородской стены за несколько дней распродали запасы самоучителей. Бывало, придешь вечером в комитет комсомола и видишь — какой-нибудь худой вихрастый паренек, держа между колен винтовку, зубрит немецкие фразы одна другой нелепее, вроде знаменитых диалогов из самоучителя Марго: «Дети, что это за шум в соседней комнате?» — «Это наш дядя кушает сыр».

Мне тоже надо было подзаняться немецким, и я решила обратиться за помощью к одной меньшевиствующей даме, у которой я брала уроки, когда мы с мамой жили в екатеринбургской ссылке. Выслушав меня, дама съязвила:

— А зачем, собственно, тебе изучать немецкий язык? Ты и так сумеешь сказать все, что тебе нужно.

И с подчеркнуто грубым русским акцентом она произнесла несколько фраз: «Wer ist Kautsky?» — «Kautsky ist Renegat».— «Und wer ist der echte Marxist?» — «Lenin ist der echte Marxist» [1].

(Работа В. И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский» еще не вышла в свет, но в «Правде» была напечатана одноименная статья Владимира Ильича, в которой он называл Каутского ренегатом и лакейской душой и разоблачал его отступничество от революционного марксизма. Надо знать, с каким пиететом относились русские меньшевики к Каутскому, этому «папе Римскому» II Интернационала, чтобы стало понятным негодование меньшевиствующей дамы.)

Из затеи с уроками немецкого языка, разумеется, ничего не вышло.

---

[1] «Кто такой Каутский?» — «Каутский — ренегат».— «А кто истинный марксист?» — «Ленин — истинный марксист» *(нем.)*.

Тринадцатого ноября в «Метрополе» состоялось первое заседание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета шестого созыва. На нем было принято постановление об аннулировании Брест-Литовского мирного договора.

Уже при открытии заседания чувствовалась торжественная приподнятость, которой были охвачены все присутствующие. Глаза блестели, на лицах светились улыбки, руки встречались в дружеском пожатии, разговоры велись вполголоса.

Меньше года прошло с тех пор, как Владимир Ильич Ленин с присущим ему политическим бесстрашием предложил любой ценой заключить мир с кайзеровской Германией. Буржуазная печать обливала его за это грязью. Так называемые «левые» истерически вопили: «Лучше погибнуть в неравном бою, чем остаться жить ценой позорного мира с вампиром». Но ничто не могло поколебать спокойное ленинское решение: не принимать боя, когда он выгоден только врагу. Вырвать передышку. Накопить силы. Уступив пространство, выиграть время, помня, что время работает на нас.

И вот история воочию продемонстрировала всю мудрость великого вождя пролетарской революции! Кайзеровская Германия пала, над зданием германского посольства в Денежном переулке в Москве, над которым еще вчера развевался императорский штандарт, полыхало красное знамя; его водрузил германский Совет рабочих и солдатских депутатов, образованный находившимися в России германскими военнопленными.

В глубокой, проникновенной тишине прозвучали слова постановления, зачитанного Свердловым:

— «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет сим торжественно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте третьего марта тысяча девятьсот восемнадцатого года, лишились силы и значения. Брест-Литовский договор... в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным.

...Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика предлагает братским народам Германии и бывшей Австро-Венгрии в лице их Советов рабочих и солдатских депутатов немедленно приступить к урегулированию вопросов, связанных с уничтожением Брестского договора. В основу истинного мира народов

могут лечь только те принципы, которые соответствуют братским отношениям между трудящимися всех стран и наций и которые были провозглашены Октябрьской революцией... Построенные на этих основах отношения... России, Германии и Австро-Венгрии будут не только мирными отношениями. Это будет союз трудящихся масс всех наций в их борьбе за создание и укрепление социалистического строя на развалинах строя милитаризма, империализма и экономического рабства».

В те дни на улицах Москвы часто встречались немецкие и австрийские солдаты, возвращавшиеся из плена домой, на родину. Их неизменно окружала дружелюбная толпа. Каждый, как мог, пытался растолковать им идеи русской революции. Одни это делали при помощи слов: «Ты, брат, гони буржуев и слушай большевиков. Большевик — хорошо, меньшевик — плохо. Меньшевик перед большевиком как вша перед соколом». Другие прибегали к жестикуляции и мимике: «Ленин — во! — говорил такой добровольный агитатор, весь вытягиваясь и как можно выше поднимая руку.— А Шейдеман и Каутский — во!» И он, нагнувшись, опускал руку чуть ли не к самой земле.

Немецкие солдаты слушали смущенно, с робким видом, потом оживлялись, начинали говорить, пытаясь что-то объяснить окружающим, срывали друг у друга погоны и, по-детски улыбаясь, прикрепляли на место кайзеровских кокард красные звездочки, которые им охотно давали наши красноармейцы.

В конце заседания Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, на котором был аннулирован Брест-Литовский договор, выступил Свердлов.

— Позвольте сообщить,— весело сказал он,— что я несколько узурпировал власть ВЦИКа, когда согласно явно выраженной воле Шестого съезда Советов отдал распоряжение об отправке пятидесяти вагонов хлеба в Германию. Я нисколько не сомневаюсь, что вы меня за это не осудите.

— Добавьте еще! — закричали голоса с мест, и собрание разразилось бурей аплодисментов.

Несколько дней спустя, пасмурным ноябрьским утром, с Александровского вокзала уходил на запад очередной хлебный маршрут. В нем было четырнадцать ваго-

нов с мукой и один вагон с сухарями. На этом вагоне был прибит кумачовый плакат с надписями на русском и немецком языках: «Товарищам и братьям — германским рабочим — от московского пролетариата».

В хвосте поезда прицепили классный вагон, еще на вокзале прозванный «Ноевым ковчегом». Кто там только не ехал: и красноармейская охрана, и делегаты московских рабочих, и немецкие, австрийские, чешские, венгерские коммунисты, отправлявшиеся к себе на родину, и французские, английские, американские товарищи, которые решили пробраться через Германию на Западный фронт для агитации среди войск союзников. В их числе находилась тоненькая большеглазая женщина — то ли англичанка, то ли немка, долго жившая в Англии. Она ехала вместе со своим мужем, бывшим политическим эмигрантом Петровым, которого мы в шутку окрестили «мужем жены Петрова». У этой маленькой женщины было бесстрашное сердце. Ничего не боясь, она поехала из Англии в большевистскую Россию, выступала перед тысячными толпами, училась на военных курсах, с винтовкой в руках сражалась против белых и чехословаков.

Всю дорогу мы пели и «Стеньку Разина», и «Карманьолу», и балладу о Джоне — Ячменное Зерно, и немецкую песню эпохи революции сорок восьмого года о конкубине (Лоле Монтес — фаворитке короля Людвига Баварского), гильотине и мировой республике. Выступали и солисты. По обычаю английских рабочих, которому нас научила маленькая Петрова, мы провожали каждого из них дружными восклицаниями: «Боже, что за дрянь поется! Боже, что за дрянь поет!»

Но наше веселье было только внешним и не могло заглушить владевшую всеми тревогу за судьбу Германии. Председатель нового германского правительства — так называемого «Совета народных уполномоченных» — социал-демократ Фриц Эберт запретил вооружение рабочих. Вошедший в правительство Эберта глава Независимой социал-демократической партии Гаазе лопотал о том, что «когда условия созреют, социализм в Германию может прийти без потрясений». Правительство Эберта отказывалось пропустить обратно в Берлин дипломатическое представительство Советской России, высланное из Германии накануне ноябрьской революции Филиппом Шейдеманом.

На третий день пути наш эшелон миновал Смоленск. За несколько перегонов до Орши мы увидели страшное зрелище: вдоль путей навстречу нам, с запада на восток, сплошной черной лентой брели оборванные, изможденные люди с котомками и мешками за плечами. Они устало волочили ноги, руки их были зябко запрятаны в рукава, лица почернели. Время от времени один из них падал и оставался лежать на снегу. Порой среди гнетущего молчания раздавался дикий хохот сумасшедшего. Когда наш эшелон поравнялся с ними, они стали протягивать к нам руки, умоляя дать хлеба.

Это были русские военнопленные возвращавшиеся из немецких и австрийских концентрационных лагерей. После революции ворота лагерей были отперты, и военнопленных отпустили на все четыре стороны. И вот они десятками тысяч брели в Россию.

Возле ближайшего полустанка горели костры. Вокруг них сидели и лежали военнопленные. Все время подходили новые и новые люди. Сняв с себя заношенную одежду, они вытряхивали насекомых прямо в огонь и тут же ложились на землю. Станционные пути здесь были забиты вагонами с немецкими надписями, на одних — «Для германских офицеров», на других — «Для германских солдат».

В Оршу наш эшелон прибыл поздним вечером. Начальник эшелона ушел разыскивать местное начальство, чтобы получить дальнейшие указания. Ходил он долго, часа два. Вернулся хмурый и злой.

— Вот оказия,— сказал он.— Не принимают немцы нашего хлеба. Отказываются.

— Как так? Не может быть!

Он рассказал нам, что через несколько путей от нас стоят эшелоны с хлебом, которые были посланы в Германию первыми. Когда они прибыли в Вержболово, наши представители отправились в Ковно, в немецкий солдатский Совет.

— Но только Совет этот как редиска,— рассказывал он.— Сверху красный, а внутри белый. В нем и солдаты и господа офицеры. Когда наши пришли к ним, они пожались, помялись, а потом говорят, что указаний, дескать, не имеют и пропустить хлеб не могут. А на другой день прислали с вестовым пакет: возвращайтесь, мол, с вашим большевистским хлебом обратно, нам он не нужен. Вот и пришлось воротиться в Оршу.

Ночь прошла в тревожном ожидании. Наутро наши пошли на розыски. Воротились они скоро, злые, как черти.

— Вот, почитайте, пожалуйста! — восклицали они, протягивая смоленскую газету «Звезда».

В «Звезде» был опубликован разговор по прямому проводу между председателем Германского Совета рабочих и солдатских депутатов в Москве и членом германского правительства, «независимцем» Гуго Гаазе:

«Прошу сообщить русскому правительству нижеследующее,— заявил Гаазе.— По вопросу о предложенной отправке муки кабинет поручил высказать ему глубоко прочувствованную благодарность германского народного правительства. Мы тем выше ценим эту жертву, что нам и всему миру известно об острой нужде, которую терпит население в Петербурге и Москве. К счастью, в результате предпринятых нами у президента Вильсона шагов открылась для нас возможность получения съестных припасов из-за океана. Мы поэтому в состоянии пока отказаться от великодушного и заслуживающего всяческой благодарности предложения русского правительства в пользу русского населения...»

— Продали, значит, сволочи, германскую революцию,— сказал один из наших.

— О русском народе верещат, гады,— отозвался другой.— А сами небось в рейхстаге сидели, когда немецкие генералы все осины русским народом обвешивали!

Тут же в газете был напечатан ответ народного комиссара иностранных дел Чичерина на заявление Гаазе:

«Революционные рабочие России, восторженно приветствуя германскую революцию, отправили для начала два поезда с мукой рабочим Германии, подготовляя дальнейшие посылки. Между тем Германское правительство, ссылаясь на обещание президента Вильсона послать в Германию съестные припасы, отказалось принять муку, присланную русскими рабочими... Считая, однако, что международная рабочая солидарность является действительной силой трудящегося народа и рабочих правительств,— и притом такой силой, которая несомненно одержит окончательную победу над силой доллара,— русское Рабоче-Крестьянское правительство дожидается того близкого момента, когда рабочая Германия развернет всю свою революционную мощь, и остается при своем прежнем торжественном заявлении, что революционные

народные массы России всеми своими силами и средствами будут оказывать поддержку революционным трудящимся массам Германии».

Что же было делать в создавшемся положении нам, прибывшим в Оршу с хлебным маршрутом? Немецкие, венгерские, австрийские товарищи, закинув за спину вещевые мешки, решили пробираться дальше. Остальные ждали указаний из Москвы.

Москва пока молчала. Под вечер мы с Машей Новиковой, московской работницей, надумали сходить на вокзал, помыться и переодеться в дамской комнате. Наш эшелон стоял на шестом пути, неподалеку от пакгауза. Пришлось нырять под составы, которыми была забита станция.

Когда мы наконец добрались до вокзала, к перрону подошел поезд с востока и из него высыпали немецкие офицеры и солдаты в мундирах с погонами. Они совсем не походили на возвращающихся из России военнопленных. Потом уже мы узнали, что это была одна из тех руководимых контрреволюционным офицерством германских оккупационных частей, которые по приказу Гинденбурга переправлялись в Прибалтику для формирования белогвардейской армии.

Не сообразив этого, мы прошли в дамскую комнату, привели себя в порядок. Хотели идти в свой эшелон, но вдруг здание вокзала вздрогнуло от сильного взрыва. Послышались крики, немецкая ругань, поднялась стрельба. Мы перепугались и не знали, как быть. Только когда шум несколько утих, мы решились выйти. На вокзале не было никого, кроме немцев. Нам удалось выскользнуть на платформу, но, когда мы прибежали на шестой путь, нашего состава там не оказалось, а от пакгауза остался только догорающий остов.

И тут мы увидели приближающихся к нам немецких солдат. «Ходи до меня, диевучка,— кричали они,— сладка диевучка!»

В ужасе мы бросились от них. Маша бегала лучше меня, я отстала и, не помня себя от страха, долго металась между вагонами.

Когда стемнело, мною овладело полное отчаяние. Куда деваться? Где наши? Как добираться одной до Берлина? Я должна туда добраться, должна выполнить данное мне

поручение. Но тут меня окликнул знакомый голос. Это был Курт — немецкий товарищ из нашего эшелона, который откуда-то появился на путях. Я в слезах кинулась к нему, спрашивая, где наши и что здесь произошло.

— Здесь была одна большая провокацион,— сказал Курт.

Оказывается, немецкие офицеры из прибывшего поезда пытались захватить наш состав с хлебом и угнать его в Прибалтику. Они напали на наших. Силы были настолько неравны, что нашим пришлось отступить. Отстреливаясь, они ушли по направлению к Смоленску.

— Я не знаю, что мне делать с тобой,— сказал Курт.— Я и мои товарищи, мы уходим сейчас в Германию.

— И я с вами!

Он подумал, потом вздохнул:

— Это есть только одна возможность! Пойдем!

ПУТЬ НА ЗАПАД

Мы то ехали — в теплушках, на крышах вагонов, на открытых платформах,— то шли пешком. Ночевали на брошенных мызах, вокруг которых выли одичалые собаки и немыслимо кричали кошки. Всюду был снег... Мы брели по колено в снегу... Снег бил в лицо, забирался за воротник и в рукава, проникал в щели домов, где мы останавливались на ночлег... Слепящий, белый, он падал и падал, застилая все кругом...

Снег и вороны! Никогда и нигде на свете не было столько ворон, сколько здесь, на вчерашних полях войны. Эти твари, вдоволь наевшиеся солдатского мяса, до того разжирели, что с трудом поднимались в воздух и с громким карканьем летали низко над землей.

Мы шли все на запад, на запад. Иногда наши ноги натыкались на что-то твердое. Это были трупы. Мы старались обходить их не глядя, но они все время попадались нам на глаза. Одни лежали ничком, судорожно вцепившись в землю скрюченными пальцами, как бы пытаясь удержаться за нее в минуту последнего прощания с жизнью. Другие — на спине, раскинув руки, тоскливо смотрели в небо пустыми глазницами. А над трупами и над нами, чуть не задевая нас крыльями, кружили стаи ворон, выжидая, когда мы вот так же упадем на землю.

Путь от Орши до Эйдкунена отнял больше месяца. Ели мы только овощи, которые выкапывали из мерзлой земли. За это время похоронили трех товарищей.

В Эйдкунене нам удалось сесть на поезд, который шел прямо в Берлин. На промежуточных станциях входили и выходили люди. Мы осторожно расспрашивали их о том, что творится в Германии. Новости были невеселые. В солдатских Советах засели офицеры, фельдфебели и бравые унтеры, жаждущие крови «красных». Кайзеровские чиновники остались на своих местах и действуют именем «народных уполномоченных». Правительство Эберта — Шейдемана разоружает рабочих и вооружает белую гвардию Вельса. Всегерманский съезд Советов, которым заправляли шейдемановцы, высказался за самоуничтожение Советов, вместо которых «во имя демократии» должно быть созвано Учредительное собрание, наделенное всей полнотой власти. Через несколько дней после съезда Советов правительственные войска под командой генерала Леки напали на расквартированную в Берлине революционную морскую дивизию и открыли по ней орудийный и пулеметный огонь.

Поезд медленно тащился на запад, приближая нас к неведомой судьбе. Наконец в бледном свете зимнего дня показались серые крыши Берлина.

Мы вышли на вокзале Александерплац. У двери вокзала в две шеренги стояли дюжие молодцы с повязками «Республиканской солдатской охраны» на рукавах. Они проверяли документы и ощупывали глазами каждого выходившего. На них были черные штатские пальто, но из-под пальто виднелись новенькие светло-желтые кожаные краги офицерского образца.

БЕРЛИНСКИЕ ВСТРЕЧИ

С вокзала мы направились к сестре Курта — Эрне. Курт знал, что ее единственная дочь умерла, а муж убит под Верденом.

На улицах толпилось много народу. Все время слышался странный, непривычный шум. Это деревянные подошвы башмаков стучали о камни мостовой. Слепой безногий инвалид, сидя в тележке, вытягивал из задыхающегося аккордеона унылую песню, Стены домов

были облеплены черно-бело-красными и зелеными плакатами. Крупные надписи без конца повторяли: *«Спартак» ведет нас к могиле, порядок даст нам хлеб!», «Порядок или большевизм!», «Порядок или голод!», «Порядок или смерть», «Долой «Спартак»!», «Долой большевиков!».*

Сестра Курта жила в большом кирпичном доме, заселенном городской беднотой. Во дворе, мощенном булыжником, невесело играли бледные, плохо одетые дети. По узкой, крутой лестнице с железными перилами мы поднялись на шестой этаж. Дверь нам открыла изможденная женщина, руки у нее были в мыльной пене. Брат и сестра не виделись всего три года, однако не сразу узнали друг друга.

По нашему условию, Курт предупредил сестру, что она должна представить меня соседям как его жену. Эрна достала для меня платье и белье своей покойной дочери и поставила греть воду. Пока мы с Куртом по очереди мылись, она сходила за покупками.

На столе стоял пышный бисквитный торт с цукатами, лежала колбаса, в чашки был налит чай. Но торт был сделан из мороженого картофеля, цукаты оказались липким клейстером с сахарином, колбаса — гороховой, чай — настоем из листьев бука. Чтоб купить этот эрзац, Эрна продала свое единственное золотое колечко.

Мы до того устали, что почти сутки спали как убитые. На следующий день Курт ушел разыскивать товарищей, а я осталась дома. В дверь все время звонили: это соседки приходили посмотреть на «маленькую русскую жену». Хотя и с грехом пополам, мы кое-как все-таки объяснялись. Они расспрашивали меня, я расспрашивала их. О чем бы мы ни говорили, разговор неизменно возвращался к тому, что больше всего занимало их думы: к голоду.

Мы в России знали, что это такое — голод! Месяцами мы жили на осьмушке хлеба, по нескольку дней мы не получали даже этой осьмушки.

И все же наш голод был иным, чем тот, о котором рассказывали жены немецких рабочих. Мы голодали *из-за* войны, они голодали *во имя* войны. Наш голод был несчастьем, из которого мы всегда надеялись вырваться — как только возьмем власть, как только разобьем белых и интервентов, как только наладим производство. Их голод был голодом обреченных.

Этот голод рассчитала и выверила бездушная машина войны. Она учла на много лет вперед каждый колос, который должен вырасти; каждого новорожденного, который, едва появившись на свет, должен умереть голодной смертью; каждого подростка, который должен стать юношей, чтобы вслед за этим превратиться в мясо для пушек.

Теперь германская военная машина рухнула, но голод остался. Социал-демократия, взяв власть, отвергла хлеб русских рабочих и на брюхе поползла к президенту США Вильсону. И вот уже полтора месяца она валялась у него в ногах, а он вел с Германией холодную игру кошки с мышью. До сих пор он не дал ей ни одного грамма продовольствия. Вместо хлеба он пичкал ее бесчисленными посланиями, в которых с отвратительным ханжеством и лицемерием распространялся о человечности и цивилизованности, тут же требуя, чтобы Германия покончила со «Спартаком», чтобы она задушила германских коммунистов,— тогда Америка даст ей хлеб. Она положит этот хлеб только на гроб революции!

Эберту и Шейдеману ничего иного и не было нужно. Они показывали германскому рабочему классу на занесенную над его головой угрозу голодной смерти и говорили: «Смотри! Перед тобой альтернатива: голод или революция? Если ты не хочешь умереть с голоду, прикончи революцию!»

Курт вернулся, когда уже начинало темнеть. Обед наш состоял из пустой похлебки, в которой плавали лохмотья овощей. После обеда мы отправились в город и весь вечер ходили по собраниям, правлениям профсоюзов и комитетам различных организаций, разыскивая нужных нам людей.

Кого только не повидали в этот вечер — и шейдемановцев, и «независимцев» и спартаковцев. Вероятно, в любой группе, выхваченной наугад из рядов берлинских рабочих, нашлись бы и «соци», и сторонники Гаазе, и самоотверженные борцы «Спартака».

Все яростно спорили друг с другом, а я страдала, потому что плохо знала немецкий язык. Мало того, что я плохо знала язык, разговор-то шел на непривычном моему уху берлинском диалекте. К тому же спорщики употребляли много слов, которые надо было не только знать, но

и понимать. Вот «соци» кричит о «картофельной клецке». Я с недоумением стараюсь понять, почему вдруг заговорили о супе? Но «картофельными клецками», оказывается, прозвали «независимцев». Вот кто-то поругивает «бонз», но это не буддийские жрецы, а профсоюзные лидеры. Вот спартаковец обрушился на сторонника Шейдемана и в числе прочего ругает его за то, что он «вбивал гвозди в Гинденбурга». Тут уж я ничего не могу понять. и только позднее мне объясняют, в чем дело: во время войны на Аллее Победы была установлена деревянная статуя Гинденбурга, сделанная из русской сосны, причем каждый патриот приглашался купить стальной гвоздь и заколотить его в статую. Таким образом вся фигура Гинденбурга была бы закована руками его почитателей в сталь. И в числе тех, кто вколачивал эти гвозди, находился и Шейдеман, и его паства.

Если бы все шейдемановцы были такими, как сам Шейдеман, все было бы много проще и яснее! Но нет! Сколько раз за эти дни к Курту подходили старые суровые честные рабочие, дружески расспрашивали о Советской России, с ненавистью отзывались о германских белогвардейцах, учинивших кровавую расправу над морской дивизией, а потом вздыхали — ничего, мол, не поделаешь, я тридцать лет состою в социал-демократической партии, это моя партия, надо перетерпеть, надо переждать, сейчас не время для бунтов и мятежей, сейчас вопрос стоит так: либо голод, либо порядок!

На второй или третий день после приезда мы попали на собрание одной из районных организаций профсоюза электриков. Собрание происходило в пивной. Зал был полон народу. Рабочие сидели за столиками, пили эрзац-пиво, пускали из трубок дым эрзац-табака. Многие стояли в проходах или сидели на окнах. На эстраде, над столом президиума, возвышались убеленные сединами головы тех, кого прозвали «профсоюзными бонзами». Перед каждым стояла кружка, до краев наполненная пивом.

Собрание началось. Слово получил один из «бонз». Он мягко негодовал по поводу действий Вильсона, резко негодовал по поводу действий спартаковцев и взывал к самоограничению: оно, мол, только и может обеспечить победу революции. Надо, убеждал он, защищать собствен-

ность и капитализм, ибо без капитализма нет ни работы, ни хлеба. Когда-нибудь, когда придет время, мы, конечно, зарежем эту свинью, но, прежде чем зарезать, надо не дать ей сдохнуть с голоду и как следует откормить, чтобы получить побольше сала.

Речь оратора прерывалась шумом и выкриками с мест.

— Нельзя действовать наскоком,— твердил он.— Пример России должен предостеречь нас от каких-либо социалистических экспериментов...

— Так говорят «Берлинер тагеблатт» и всякая буржуазная сволочь! — кричали с мест.

— Нет, так говорят Эдуард Бернштейн и Карл Каутский,— отвечал он.— Рабочие должны помнить, что хозяйство Германии разрушено войной...

— Эту войну поддерживал ваш Шейдеман! Пусть он убирается вон из правительства!

— Шейдемана утвердил берлинский рабочий и солдатский Совет...

— Нет, солдаты, а не берлинские рабочие!

— Нельзя же думать, что за Шейдеманом стоит только маленькая группа...

— Разумеется, нет! За ним стоит вся буржуазия!

Потом на эстраду взбежал спартаковец. Быстро, с юношеской запальчивостью, он говорил о том, что правительство «народных представителей» на деле является правительством народных предателей. На место одного кайзера посадили шесть самодержцев. Правительство состоит из людей, которые голосовали за войну, затягивали войну, поддерживали грабительский Брестский договор, позволяли душить русскую революцию, а теперь душат германскую революцию.

Этот оратор также имел в аудитории своих сторонников и своих противников. «Лучше хоть немного, чем совсем ничего!» — кричали противники. «Чтоб достать яйцо, ты готов зарезать курицу!»

Понять, за кем большинство, было невозможно. Атмосфера накалялась все сильнее. Но вдруг «бонзы» в президиуме заволновались и все, как один, уставились на входную дверь. По залу прошел трепет. В задних рядах послышались приветственные восклицания. Все встали, многие сняли шляпы и стали их подбрасывать, крича: «Да здравствует Либкнехт!», «Да здравствует вождь германского пролетариата!».

Либкнехт медленно вошел в зал. Это был высокий седеющий человек с худым лицом, озаренным глубокими сверкающими глазами. В последние годы его жизнь представляла собой сплошную цепь испытаний: фронт, военный суд, каторжная тюрьма, а теперь — сверхчеловеческое напряжение в борьбе за спасение революции.

Речь Либкнехта была беспощадным обвинением шейдемановцев, продавших и предавших революцию, и осуждением людей «золотой середины» — Каутских, Гаазе и им подобных, чье замаскированное предательство было еще опаснее.

Либкнехт говорил о том, что 9 ноября рабочие и солдаты взяли власть, но быстро потеряли ее, ибо шейдемановцы при попустительстве мягкотелых «независимцев» по частям вернули эту власть реакционному офицерству. Он требовал, чтобы Гинденбург и кайзеровские генералы, которые фактически заправляют солдатскими Советами, были немедленно смещены и арестованы. Он разоблачал Эберта и Шейдемана, показывая, что они не занимаются ничем, кроме травли «Спартака», они разоружают рабочих и вооружают контрреволюционные банды. Он приводил факты, с неоспоримой очевидностью свидетельствовавшие о том, что уже создана белая гвардия, в распоряжении которой находятся пехота, кавалерия и пулеметы. Белогвардейские полки расквартированы между Берлином и Потсдамом и предназначены для подавления революционного пролетариата Берлина.

— Правительство Эберта — Шейдемана вонзило меч в грудь революции! — воскликнул Либкнехт. — Если контрреволюция победит, эти собаки, не задумываясь, поставят к стенке десятки тысяч рабочих. Если пролетариат позволит Эберту и Шейдеману распоряжаться и дальше, в самом скором времени вернется самая худшая реакция. Пусть же эти господа отправляются в преисподнюю — и да здравствует германская и мировая революция!

«Бонзы», восседавшие в президиуме, пытались выкриками прервать Либкнехта, но потом умолкли, чувствуя, что настроение аудитории не на их стороне. Часть зала покрывала слова Либкнехта бурными рукоплесканиями, остальные слушали в угрюмом молчании, подавленные неотразимой правдой его слов. Хоть и опутаны были эти честные берлинские пролетарии многолетней шейдема-

новской ложью, классовый инстинкт заставлял их тянуться к Либкнехту, к «Спартаку».

Для того чтобы это внутреннее тяготение превратилось в активную, действенную поддержку, нужно было время. Шейдемановцы решили этого времени германскому пролетариату не дать — и стали искать повода, чтобы вызвать массы на улицу и спровоцировать кровавую бойню.

Когда я уезжала из Москвы, Центральный комитет комсомола поручил мне передать германским юным спартаковцам привет Первого Всероссийского съезда Коммунистического Союза Молодежи. И вот теперь я по два, по три раза в день выступала перед молодыми берлинскими рабочими.

Мне приходилось бывать в разных концах города — и в Нейкельне, и в Панкове, и в Шарлоттенбурге. Поражало, насколько различна была обстановка в этих районах. Об этом можно было судить хотя бы по знаменам: в то время как в буржуазных западных районах повсюду развевались черно-бело-красные кайзеровские флаги, а кое-где можно было увидеть даже хищного прусского орла, в пролетарских районах безраздельно господствовало красное знамя. В районах, где преобладали социал-демократы, тоже было много красных знамен, но на многих правительственных учреждениях видны были кайзеровские флаги и рядом с ними бессильными лоскутками болтались небольшие красные флажки.

Собрания юных спартаковцев происходили и в убогих пивнушках, и на частных квартирах, и в помещениях каких-то просветительных организаций. Молодые берлинские рабочие напоминали наших комсомольцев — не столько москвичей, сколько питерцев. Те же резко очерченные лица, те же руки с въевшейся в кожу металлической пылью, те же горящие глаза.

Они слушали с неослабным вниманием, задавали тысячи вопросов, помогали мне найти недостающие слова, порой разражались хохотом из-за моих невероятных открытий в немецком языке.

После собраний они меня окружали. Каждому хотелось еще и еще раз повторить слова дружбы и революционного братства, которые я должна была передать от их имени революционной молодежи Советской России.

В эти дни я встретилась с Розой Люксембург, «Красной Розой», как звали ее германские рабочие. Через товарищей она просила меня приехать к ней, дав адрес какой-то квартиры в Шенеберге. Вряд ли это была ее квартира. скорее, квартира ее друзей.

Я пришла несколько раньше назначенного часа. Розы еще не было. Я перелистывала томик Гете, когда раздался короткий, легкий звонок — будто птица, пролетая, задела его пуговку.

Роза сбросила в прихожей ботики и в шляпе и шубке вбежала в комнату и привлекла меня к себя. Она знала меня еще ребенком и очень любила мою мать. В последний раз мы виделись лет за семь до этого, когда проводили лето на немецком взморье. Стояли светлые, ясные дни, мы с утра до вечера лежали на желтом песке или же бродили по полям.

Воспоминания об этих временах лишь мельком согрели наши души. Роза хотела видеть меня прежде всего для того, чтобы как можно больше узнать о Советской России и о русской революции. Она спрашивала меня о Ленине, о его здоровье, засыпала вопросами об Октябрьских днях, о фронтах гражданской войны, слушала с пылающим лицом и снова расспрашивала.

К сожалению, весь вечер говорила я, а Роза лишь задавала вопросы. Поэтому мне не запомнилось ничего, кроме нескольких слов Розы, обращенных к ее ближайшему другу Лео Иогихесу. Когда я рассказывала Розе, что одним из первых приговоров созданного после революции Народного суда было осуждение на пять дней принудительных работ ломового извозчика, избивавшего свою лошадь, Роза, горестно улыбнувшись, сказала:

— Лео, а ты помнишь буйволов в Бреславльской тюрьме?

Только много лет спустя, читая письма Розы из тюрьмы, я поняла, о каких буйволах шла речь.

«Ах, Сонечка,— писала Роза Софье Либкнехт, жене Карла,— я здесь пережила острое страдание. Во двор, где я гуляю, часто приезжают военные обозы, наполненные мешками или старыми солдатскими мундирами и рубахами, часто с кровавыми пятнами,— они здесь разгружаются, распределяются по камерам, чинятся, затем вновь нагружаются и сдаются солдатам. Недавно приехала такая телега, запряженная не лошадьми, а буйволами... Буйволы — из Румынии, это военные трофеи... Их страшно бьют, так

что к ним вполне применима поговорка: «Горе побежденным...» И вот несколько дней тому назад во двор въехала такая телега, нагруженная мешками: груз был так высоко наложен, что буйволы никак не могли перетянуть его через порог при въезде в ворота. Сопровождающий солдат, очень грубый парень, начал бить их толстым концом рукоятки кнута так, что возмущенная надзирательница спросила его, неужели он не чувствует никакой жалости к животным. «К нам люди тоже не чувствуют жалости»,— ответил он со злобной улыбкой и стал бить животных еще сильнее. Буйволы в конце концов перевалили через ворота, но у одного из них шла кровь...

Сонечка, буйволиная кожа вошла в поговорку за свою толщину и крепость, и она была разорвана. Животные при разгрузке стояли очень тихие, измученные. У одного буйвола, у того, у которого шла кровь, было такое выражение черного лица и кротких черных глаз, как у заплаканного ребенка. Право, выражение ребенка, который жестоко наказан и не знает, за что, почему, не знает, как уйти от муки и грубого насилия... Я стояла перед ним, животное смотрело на меня, у меня текли слезы — это были его слезы. Нельзя с большим страданием переживать горе любимейшего брата, чем я в своем бессилии переживала эту немую боль. Как далеки, как безвозвратно потеряны свободные, сочные, зеленые пастбища Румынии! Как по-другому там светило солнце, дул ветер, как по-иному звучали красивые песни птиц или мелодичные призывы пастухов! А здесь этот черный, страшный город, душное стойло, вызывающее отвращение перепрелое сено, смешанное с гнилой соломой, чужие страшные люди — и удары, кровь, которая течет из открытой раны... О мой бедный буйвол, мой бедный любимый брат, мы оба стоим здесь, такие бессильные и покорные, и объединены страданием, бессилием, тоской... Тем временем арестанты деловито копошились вокруг телеги, сгружали тяжелые мешки и таскали их в здание. А солдат, засунув обе руки в карманы, прогуливался большими шагами по двору, улыбался и тихонько насвистывал... И вся война прошла передо мной...»

...Мы разговаривали допоздна. Под конец Роза предалась мечтам о поездке в Советскую Россию.

— Я приеду, приеду непременно, приеду в ближайшие же месяцы, мне так нужно видеть Ленина, мне так нужно говорить с ним!— повторяла она.

Настало время уходить. Мы распрощались. Роза стояла в дверях — радостная, оживленная, ее прекрасные темные глаза смотрели на меня.

— До скорого свидания,— сказала она.

Могла ли я думать, что вижу ее в последний раз!

Двадцать девятого декабря, в воскресенье, состоялись похороны матросов, павших на улицах Берлина во время кровавого разоружения революционной морской дивизии. За семь недель революции это были третьи в Берлине похороны жертв революции. Но сейчас в красных гробах покоились тела убитых по приказу социал-демократического правительства.

Был хмурый, холодный декабрьский день. Когда мы пришли на сборный пункт, там уже собралось много народу. Люди стекались сюда со всех сторон. Бросалось в глаза множество красных знамен и плакатов.

Процессия направилась к Фридрихсгайну — кладбищу павших в мартовские дни революции 1848 года. Путь лежал через буржуазные кварталы. Над домами вызывающе реяли черно-бело-красные флаги. Гробы с телами погибших были установлены на высоких катафалках, их везли черные лошади, покрытые черными попонами.

«Долой Эберта и Шейдемана!» — этот лозунг был написан на плакатах, его скандировали провожавшие убитых товарищей.

На тротуарах толпилась буржуазная публика. Она осыпала бранью и проклятиями тех, кто лежал в гробах, и тех, кто шел за ними. Самый воздух казался тяжелым — так насыщен он был ненавистью!

Приближался Новый год. Как ни тревожно было время, спартаковцы — товарищи Курта — решили встретить его вместе. Ужин устраивали в складчину, каждый принес, что мог,— кто немного картофеля, кто несколько брюкв, кто пачку желудевого кофе. Один товарищ раздобыл даже бутылку мозельского вина.

Вино уже было распито, нехитрый ужин съеден — и беседа перешла на то, чем жили собравшиеся здесь: на судьбы германской революции.

Что делать? Как остановить стремительное сползание революции по наклонной плоскости? Как привлечь на свою

сторону колеблющихся? Как прояснить умы заблуждающихся? Как изгнать из рядов рабочего движения тех, кто его предает? Как завоевать на свою сторону большинство пролетариата?

Одни считали, что главное — политическая агитация. («Мы должны пустить глубокие корни в массах так, чтобы нас услышал каждый немецкий рабочий».) Другие полагали, что все внимание следует направить на развертывание экономической борьбы. («Центр тяжести должен быть там, где рабочий непосредственно сталкивается со своим классовым врагом. Пусть он сразится с буржуазией грудь с грудью».) Третьи возлагали надежды на развязывание революционной инициативы масс. («Движение должно идти не сверху вниз, а снизу вверх. Массы скажут свое слово».)

Особую тревогу вызывала позиция «независимцев». В этой партии верховодили люди, ничем, по сути дела, не отличающиеся от шейдемановцев: достаточно сказать, что в ней состояли и Карл Каутский, и отец ревизионизма Эдуард Бернштейн. Было в ней и много болтунов, рыцарей левой фразы, шатавшихся во все стороны. В итоге политика «независимцев» представляла собой цепь непрерывных колебаний, которые определялись страхом оказаться слишком близко то к спартаковцам, то к шейдемановцам. Но в то же время среди «независимцев» было и немало честных революционных рабочих, остававшихся до поры до времени в плену предрассудков.

До последних дней «Спартак» также входил в партию «независимцев», которая висела на ногах спартаковцев, как свинцовая гиря. Сейчас подавляющее большинство спартаковцев настаивало на немедленном образовании самостоятельной коммунистической партии.

— При всей их левой болтовне «независимцы» разнятся от шейдемановцев только тем, что шейдемановцы наносят удар в лицо, а эти — в спину! — говорили товарищи.

У присутствовавших на новогодней вечеринке обнаружились большие расхождения в вопросах практической борьбы, многое им было неясно, во многом они путали и ошибались. Но их объединяло основное: решимость бороться до конца и твердая вера в будущее. Перефразируя знаменитые слова Лютера, один из товарищей сказал:

— Социалистическая Германия победит! Я на этом стою, и ничего иного быть не может!

Стрелка часов приближалась к двум, когда в дверь постучали условным стуком: два удара сразу, третий — погодя. Пришел незнакомый мне товарищ, которого все называли Вальтером.

— Дорогие друзья! — сказал он.— В жизни германского пролетариата произошло великое событие: съезд сторонников «Спартака» принял решение о создании коммунистической партии Германии.

Будь тут одни мы, молодые, наверно, мы стали бы орать от восторга. Но здесь сидели люди, которые только вчера вышли из кайзеровского подполья и которые знали, что завтра им предстоит, быть может, еще более тяжелое подполье. Они протянули друг другу руки, сплетя их вместе над столом в едином пожатии. Они запели «Интернационал» так, как его поют в каторжных тюрьмах,— с закрытым ртом, произнося слова про себя. Какой потрясающей силой, каким гневом, какой надеждой были исполнены эти торжественные, еле слышные звуки гимна международного рабочего класса!

Разошлись под утро. По широкой улице навстречу нам бежал прихрамывающий человек. В одной руке он держал ведерко с клейстером, в другой — рулон ярко-зеленых прокламаций. Он перебегал от одного дома к другому, ловким движением смазывал прокламацию клейстером и налеплял ее на стену.

Курт зажег карманный электрический фонарик, и мы прочли обращенное к германскому народу воззвание «Антибольшевистской лиги», в которой слышался будущий голос Гитлера:

Брутус, ты спишь!
Проснись!
Проснись, германский народ!
Пойми грозящую тебе опасность —
большевизм!
. . . .
Каждый в бой против «Спартака»!
Германский народ, проснись!

Прошла уже неделя, как мы приехали в Берлин. Решено было, что при первой же возможности я уеду в Москву. А пока что я помогала Эрне: она была прачкой и стирала на господ. Господ в Германии осталось много, так что работы хватало: в понедельник Эрна отправлялась на квартиру господина судебного советника, во вторник она относила ему готовое белье и шла за бельем господина генерала, которое сдавала в четверг. В пятницу была очередь господина бывшего депутата социал-демократической фракции рейхстага, его белье сдавалось в субботу.

Господин судебный советник носил сорочки с крахмальными пластронами; господин генерал — шелковые рубашки; у господина бывшего депутата социал-демократической фракции рейхстага имелись бумажные сорочки (для выступлений перед рабочими собраниями) и крахмальное белье голландского полотна (для рейхстага и приемов). Дамы отдавали в стирку тонкие батистовые рубашки и панталоны, отделанные оборками и кружевами. Все это полагалось крахмалить и плоить. Моей обязанностью было греть воду и сторожить белье, развешанное во дворе.

Курт с утра ходил искать работу. Когда он возвращался, мы отправлялись на какое-нибудь собрание.

Третьего января он пришел домой рано и сказал, что поиски работы — бессмысленная потеря времени. В Берлине и без него, Курта Берге, четыреста тысяч безработных, какой же резон надеяться, что он, четыреста тысяч первый, что-то найдет?

— Будем лучше ходить гулять,— сказал он мне на своем неуклюжем русском языке.— А то ты вернешься в Россию назад и не будешь уметь рассказать про наш берлинский Тиргартен.

Был один из тех ясных зимних дней, когда в воздухе чувствуется мягкое дуновение весны. Мы шагали по дорожкам Тиргартена, под ногами похрустывал веселый голубоватый снег, такой непохожий на тот засасывающий снег, в котором мы вязли, пробираясь в Берлин.

Так хорошо было идти в этом прозрачном сиянии, ни о чем не думая!

Парк был безлюден. Мы медленно брели, подставляя лица теплому весеннему ветру. Но вдруг нами овладевало желание бегать, швыряться снежками, петь и аукаться. Казалось, что мы одни на свете.

Вечерело. Тени стали длиннеть, края облаков обвела светящаяся розовая кайма. Пора домой!

Подойдя к выходу, мы еще раз обернулись. В багровом свете заходящего солнца покрытые снегом и инеем деревья походили на яблони в цвету.

Кто мог представить себе, что несколько дней спустя под этими деревьями будет совершено одно из чудовищнейших преступлений в истории человечества?!

В субботу четвертого Курт снова принялся за поиски работы, а Эрна понесла чистое белье господину бывшему депутату социал-демократической фракции рейхстага. Прислуга сказала ей, что господин депутат пришел накануне очень поздно, ушел сегодня очень рано, кушал вчера и сегодня очень плохо.

Курт вернулся засветло, карманы его были набиты листовками. Он сообщил важную новость: правительство уволило с поста полицей-президента «независимца» Эйхгорна и назначило на его место правого социал-демократа Евгения Эрнста.

— Эти господа решили объявить нам войну,— сказал Курт, собрав на лестнице рабочее население дома.— Но мы им покажем!.. Мы отправим их к дьяволу! Завтра демонстрация,— продолжал он, показывая листовки, в которых говорилось: «Удар, нанесенный по Эйхгорну, метит в германский пролетариат, германскую революцию».— Помните: завтра демонстрация!

— А дальше? — спросила я его, когда мы остались вдвоем.

— Что дальше? — удивился он.— Массы выйдут на улицу! Массы скажут свое слово! Шейдемановцы увидят, что массы не с ними!

И массы вышли... На следующее утро наш дом проснулся не по-воскресному рано. По меньшей мере в трети квартир хлопали двери и шипели горелки, на которых варился кофе.

Сначала из нашего дома вышло человек тридцать, потом к ним стали присоединяться другие. У инвалида с третьего этажа, потерявшего на войне правую руку,

оказалось красное знамя, которое он припрятал после ноябрьских дней.

Со всех сторон появлялись группы людей, направлявшиеся к Унтер-ден-Линден. В молочном утреннем тумане то тут, то там вспыхивали алые знамена. Раздавались возгласы: «Долой Эберта и Шейдемана!», «Да здравствует Либкнехт!», «Да здравствует Эйхгорн!».

Около полудня кто-то предложил пойти к дворцу рейхсканцлера, резиденции правительства. Огромное здание казалось вымершим, окна были затянуты толстыми темными портьерами, высокие массивные двери наглухо закрыты.

Мы снова вернулись на Унтер-ден-Линден. Демонстранты продолжали стоять. Потом, не зная, что делать дальше, они начали расходиться. Я пошла с соседями домой. Курт отправился разыскивать товарищей. Он вернулся не скоро и сказал, что часть демонстрантов заняла редакции социал-демократической газеты «Форвертс» и ряда буржуазных газет и что на завтра назначена всеобщая забастовка.

В эту ночь наш дом почти не спал. Еще затемно рабочие потянулись к себе на заводы. Ни одна буржуазная газета не вышла.

Курт не хотел брать меня с собой, но я его упросила. Было очень рано, утро наступало в сизом тумане. Когда мы шли, еще горели фонари, отбрасывая неясные, смутные тени.

На площади перед полицей-президиумом уже собралось много народу. Начинало светать. Туман редел. Толпа становилась все гуще. По всем улицам, прилегающим к площади, мерно и неудержимо двигались темные колонны, над которыми развевались красные знамена. У многих было оружие. Курт увидел вынырнувшего из тумана рабочего паренька, у которого на каждом плече висело по винтовке.

— Товарищ, поделись со мной! — попросил Курт.

— Бери!

Площадь уже не могла вместить всех пришедших. Люди заполнили прилегающие улицы и стояли вплотную друг к другу сплошной массой, растянувшейся на несколько километров. Собралось не менее полумиллиона человек. Никогда еще Берлин не видел такой мощной демонстрации революционных пролетариев.

Было очень холодно. По небу ползли низкие снежные

тучи. Озябшие, плохо одетые люди переминались с ноги на ногу, терпеливо поглядывая на здание полицей-президиума. Там шло широкое совещание «революционных старост», большинство которых составляли «независимцы». Время от времени один из участников совещания выходил на балкон и что-то говорил. По толпе передавали его слова: «Совещание продолжается», «Вопрос рассматривается», «Договоренность вот-вот будет достигнута».

Так прошел час, другой, третий. Люди продолжали ждать. Еще час, еще два, еще три. Уже стемнело, туман снова сгустился, но люди стояли, дрожа в своих тонких, холодных куртках, чаще всего перешитых из старых солдатских шинелей. Ведь они пришли сюда, чтобы победить или умереть,— и готовы были ждать, пока есть силы, чтобы их повели на бой.

А в полицей-президиуме все совещались и совещались. Наконец на балконе появился очередной оратор.

— Товарищи! — закричал он.— Мы пришли к решению вступить в переговоры с правительством. Ступайте по домам! Если вы понадобитесь, мы позовем вас!

По толпе прошел ропот недоумения и гнева: «Как? О каких переговорах с Эбертом и Шейдеманом может идти речь!»

— Мы располагаем сведениями, что правительство охотно согласится на уступки и пойдет на переговоры,— выкрикивал оратор.— Оно, как и мы, заинтересовано в том, чтобы предотвратить кровопролитие!

Но оратор глубоко заблуждался. Пока пятьсот тысяч берлинских пролетариев стояли на улице, а в полицей-президиуме совещались и совещались, в рабочем кабинете Эберта, во дворце рейхсканцлера на Вильгельмштрассе, собрались вожаки социал-демократической партии. Там же находился и бывший кильский губернатор, правый социал-демократ Густав Носке.

Люди, видевшие Носке, говорят, что это был человек с коротким грузным туловищем и огромными не по росту кулаками. Он никогда не выступал первым, а долго слушал других, поворачиваясь к оратору всем корпусом, а потом поднимался, упершись в стол своими огромными кулаками, и начинал говорить короткими, жесткими фразами, прямо выкладывая то, о чем Эберт и Шейдеман рассуждали со всяческими экивоками.

Так было и сейчас. Увольнение Эйхгорна явилось первым актом провокации, задуманной этими господами, чтобы вызвать массы на улицу, а потом устроить кровавую расправу. Провокация удалась, массы вышли, теперь пора было приступать к расправе.

Несколько лет спустя в книге своих воспоминаний «От Киля до Каппа» Носке рассказывал: «Кто-то спросил меня: «Не возьмешься ли ты за дело?» На это я коротко ответил: «Отчего же нет! Кто-нибудь из нас должен же взять на себя роль кровавой собаки!»

Носке был назначен главнокомандующим войсками, на которые возложено было водворение порядка. Не теряя ни минуты, он вместе с одним молодым капитаном, переодетым в штатское платье, отправился в здание Генерального штаба, чтобы обсудить положение с находившимися там кайзеровскими генералами и принять необходимые меры. Пройдя Вильгельмштрассе, они натолкнулись на Унтер-ден-Линден на рабочий патруль, но достаточно им было наплести какую-то малоправдоподобную историю — и их пропустили.

В одной из комнат в здании генерального штаба собралось много офицеров и несколько генералов. Ими уже был заготовлен приказ о назначении генерала Гофмана командующим карательными войсками. Появление Носке и его заявление о том, что главное командование силами карателей возложено на него, было встречено шумным одобрением: кайзеровские офицеры и генералы успели кое-чему научиться за последние месяцы и понимали, насколько в данных условиях Носке удобнее в этой роли, чем Гофман.

Тут же было решено перенести штаб за Берлин, в Далем, и сконцентрировать в районе Потсдама ударный кулак для расправы с революционным Берлином.

В тот час, когда «независимцы» предложили берлинским рабочим разойтись по домам, заявив, что правительство Эберта — Шейдемана, не желая пролития крови, готово вступить в переговоры, к Берлину уже стягивались отряды белогвардейских молодчиков, на грузовиках прибывали пулеметы и артиллерия, из Киля была вызвана контрреволюционная бригада.

И вот «независимцы», вместо того чтобы... Эх, да что говорить!..

Двери балкона закрылись. Толпа еще несколько времени простояла в тщетном ожидании, а потом стала расходиться, подавленная, недоумевающая. Пошли и мы с Куртом.

Дома Эрна приготовила брюквенную похлебку. В этот день, как и полагалось по понедельникам, она ходила за бельем к господину судебному советнику. Белья ей не дали: господин советник с супругой и дочерьми экстренно покидали Берлин, в доме укладывались чемоданы.

Пообедав, я села на стул возле печки.

— О чем ты думаешь? — спросил Курт.

— Так, ни о чем...

Меня знобило, в голове проносились обрывки бессвязных мыслей. В полузабытьи я видела большой, ярко освещенный корабль, который быстро несся вперед по широкой ночной реке. Потом я поняла, что это не корабль, а сверкающий огнями Смольный — такой, каким он был в великие Октябрьские дни.

Раздался звонок. Пришел товарищ — один из тех, с кем мы встречали Новый год. Он сказал мне, чтобы я никуда не ходила. Всем советским гражданам, находящимся в Берлине, надлежит сидеть дома: мало ли какую провокацию могут устроить шейдемановцы, если в их руки поподает кто-нибудь из русских.

Товарищ предложил Курту пойти вместе с ним. Курт оделся и взял винтовку, которую утром дал ему молодой рабочий. Какая-то неудержимая сила заставила меня вскочить, броситься к нему, поцеловать его. Я стояла и гладила рукав его шинели до той минуты, пока он не ушел.

И тут для меня потянулись тяжелые, мучительные дни ожидания. Курт не возвратился ни в этот день, ни на другой, ни на третий. Газеты не выходили, а люди, бывавшие в городе, приносили самые фантастические, самые противоречивые слухи.

В среду Эрна пошла за бельем господина генерала. В городе постреливали. Неподалеку от Бранденбургских ворот Эрна видела большую колонну рабочих, которые шли к Аллее Победы и кричали: «Долой Эберта и Шейдемана! Долой переговоры! Да здравствует Либкнехт!»

Генеральский денщик сказал, что господин генерал находится за городом, но белье дал. На шелковой сорочке генерала желтело большое пятно. Эрна определила, что оно от шампанского.

В четверг мы получили коротенькую записку Курта. Он писал, что находится в помещении редакции «Форвертса», занятом революционными рабочими. Товарищ, который принес записку, сказал, что Либкнехт с утра до вечера выступает в разных концах города: Роза — тоже. Рабочим удалось овладеть рядом правительственных учреждений и вокзалов. В разных концах города происходят столкновения со сторонниками правительства, которые действуют под лозунгом: «За Национальное собрание! Против «Спартака», против Либкнехта!». «Независимцы» ведут себя подло: они приняли предложение Каутского о посредничестве в переговорах, все время отступают перед шейдемановцами, соглашаясь на одно их условие за другим, и только ищут удобной лазейки, чтобы окончательно предать движение.

Эрна отнесла белье генерала. Генерал еще не вернулся.

В пятницу Эрна пошла к господину бывшему депутату социал-демократической фракции рейхстага. В стирку была дана только одна сорочка господина депутата. От сорочки пахло потом и табаком, воротник залоснился от грязи. Видать, господин депутат не сменял сорочку всю последнюю неделю.

В ночь с пятницы на субботу до нас донеслись звуки сильной стрельбы. До сих пор в городе происходили ружейные перестрелки, а сейчас били пулеметы и орудия.

В субботу к нам постучал инвалид с третьего этажа. Он сказал, что в город со стороны Потсдама вступили правительственные войска, которые возглавляет Носке. Они заняли штурмом помещение редакции газеты «Форвертс».

Весь день мы ждали Курта, в ночь на воскресенье мы не смыкали глаз. Но Курт не пришел.

В воскресенье утром прибежала горничная от госпожи судебной советницы. Господин советник вернулся в Берлин, накопилось очень много стирки. Кроме того, барышням надо разгладить бальные платья.

Правительственные войска продолжали очистку города от восставших. В понедельник рабочие были выбиты из последних своих укрепленных пунктов. После недельного перерыва вышли буржуазные газеты и «Форвертс». На

первых страницах чернели аншлаги: «В Берлине все спокойно!»

«В Берлине все спокойно!» — писала в эти дни Роза Люксембург. «В Берлине все спокойно!» — твердит торжествующая буржуазная печать, твердят Эберт и Носке, твердят офицеры «победоносной армии», которых буржуазная толпа приветствует на улицах Берлина... «Спартак» — вот враг, и Берлин — вот место, где наши офицеры могут побеждать. Носке — вот генерал, который умеет одерживать победы там, где оказался неспособным генерал Людендорф».

И, обращаясь к врагам пролетариата с последними словами, которые ей суждено было произнести на земле, «Красная Роза» с ненавистью восклицала:

«В Берлине все спокойно!» Вы — тупые лакеи. Ваше спокойствие зиждется на песке. Революция уже завтра снова поднимется ввысь и трубными звуками, приводящими вас в трепет, прогремит: «Я была, я есмь, я буду!»

TRISTIA[1]

Прошли суббота и воскресенье. Стараясь подавить дрожь, мы с Эрной сидели, вслушиваясь в каждый звук на лестнице. Но Курт не шел.

В воскресенье днем мы решили пойти туда, откуда пришла его последняя весточка: к редакции «Форвертса».

Улицы были запружены нарядной толпой. Расфранченные господа и дамы прогуливались, весело разглядывая следы недавнего боя; ласково похлопывали по стальной обшивке броневиков, вступивших в Берлин, открывая шествие войск Носке; с наслаждением читали видневшиеся повсюду лозунги: «Убей Либкнехта!», «Убей Розу Люксембург!».

Героем дня была сытая, пьяная от крови солдатня. Офицеры, чуть подрагивая закрученными вверх а-ля Вильгельм усиками, благосклонно принимали улыбки дам. Солдаты шарили по подвалам и чердакам, отыскивая спрятавшихся там рабочих. Когда их охота оказывалась успешной, они швыряли избитого, окровавлен-

[1] Скорбное *(лат.)*.

ного человека толпе, и нарядные дамы топтали его высокими каблучками своих модных ботинок.

Похолодев от ужаса, я вцепилась в руку Эрны. Мне припоминалась расправа с парижскими коммунарами, о которой я знала из книг. Эти господа не читали ни Арну, ни Лиссагарэ, но действовали точно так же, как версальцы. Очевидно, для того, чтоб стать буржуазным палачом, достаточно просто быть буржуа.

Наконец мы сумели овладеть собой, чтобы вместе с этой озверевшей толпой проникнуть в здание редакции «Форвертса». Там пахло кровью и пороховым дымом. У входа видны были остатки баррикады, которую рабочие соорудили из пачек газет и рулонов газетной бумаги. Рулоны составляли основание баррикады; пачки были скреплены проволокой и уложены в шахматном порядке, так, чтобы остались просветы для бойниц.

Мы шли дальше, и надеясь и боясь увидеть что-нибудь, что рассказало бы нам о судьбе Курта. Везде алела кровь, стены были залеплены кусками человеческого мозга. Люди, погибшие здесь, не были убиты в бою: их прикончили прикладами разъяренные наемники.

Пять дней, пять страшных дней искали мы Курта по больницам, клиникам, покойницким и моргам. Всюду было полно раненых и убитых. Раненые валялись в проходах, бредили и умирали. В одних мертвецких трупы лежали штабелями, в других были свалены в кучу. И после смерти их лица сохраняли то выражение напряженной, отчаянной решимости, которое было у них в минуту последнего боя.

В среду пятнадцатого января в «Роте Фане» появилась статья Либкнехта «Несмотря ни на что!». С огромным волнением читали мы ее огненные слова:

«...Наш корабль держит решительно и гордо свой курс на конечную цель, на победу.

Будем ли мы еще живы или нет, когда будет достигнута эта победа, но наша программа будет жива. Она овладеет всем миром освобожденного человечества, несмотря ни на что!

Ныне спящие еще массы пролетариата проснутся от грозных раскатов приближающегося крушения, как от

трубных звуков Страшного суда. Тогда воскреснут трупы убитых борцов и потребуют отчета от проклятых убийц. Сегодня раздается лишь подземный гул вулкана, но завтра вулкан разразится огнем и под потоком своей горящей лавы он похоронит их всех, этих убийц!»

А вечером того же дня они его убили. Его и Розу...

Все знали, что за ними охотятся. Буржуазия выла, требуя, чтобы они были выслежены, схвачены, разорваны в клочья. Шейдеман обещал сто тысяч марок тому, кто доставит их живыми или мертвыми. За два дня до убийства «Форвертс» опубликовал стихотворение, которое заканчивалось откровенным призывом к убийству Карла и Розы: «Убитые лежат по сотне в ряд, но Карла там нет! Нет Розы с компанией!»

Никто не поверил правительственному сообщению, вышедшему в четверг, которое утверждало, что Либкнехт был убит при попытке к бегству, а Роза растерзана случайно собравшейся толпой. В дальнейшем расследование показало, что это правительственное сообщение с начала до конца представляло собой сознательную и преднамеренную ложь.

Карл и Роза были схвачены в среду в двадцать один час тридцать минут молодчиками из социал-демократического полка рейхстага. Они доставили арестованных в отель «Эден» в западной части Берлина и сдали их в штаб гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии, во главе которого стоял капитан Пабст, правая рука Носке.

Карл и Роза провели в «Эдене» немного времени, потом им сказали, что их переводят в Моабитскую тюрьму. Первым вывели Либкнехта. Его сопровождали будущие гитлеровцы — капитан-лейтенант Пфлюгк-Гартнунг и обер-лейтенант Фогель.

В то время, когда Либкнехта вели к автомобилю, к нему, как это было заранее приказано Пабстом, подошел егерь Рунге и нанес несколько ударов прикладом по голове. Обливающегося кровью Либкнехта втащили в автомобиль, который направился в Тиргартен. Посреди парка автомобиль остановился якобы из-за поломки. Либкнехту было велено выйти и идти вперед. Едва он прошел несколько шагов, лейтенант Липман и Пфлюгк-Гартнунг выстрелами в спину в упор убили его. Тело

Либкнехта они отвезли на находившуюся неподалеку станцию скорой помощи и сдали его как тело «неизвестного».

Между отъездом Либкнехта с его убийцами из отеля «Эден» и доставкой мертвого тела на станцию скорой помощи прошло всего десять минут. В двадцать три часа двадцать минут Пабст уже получил донесение, что дело сделано. Через двадцать минут после этого он выдал Фогелю Розу Люксембург.

Когда Роза, которую вели под руки директор отеля и Фогель, спускалась по лестнице, к ней подбежал тот же Рунге и тем же прикладом ударил ее по голове. Роза потеряла сознание. Ее волоком стащили вниз и бросили в автомашину. Едва машина тронулась, Фогель и лейтенант Круль пристрелили Розу. Круль снял с руки покойной часы и сунул их себе в карман. Автомобиль остановился у канала между мостом Корнелиуса и Лихтенштейнским мостом. Тело Розы вынесли на мостовую, обмотали проволокой, прикрепили груз и бросили в канал. Оно было обнаружено только несколько месяцев спустя.

Поздно вечером, в четверг, выходя из городского морга, мы услышали шаги, гулко раздававшиеся на пустой улице. Когда человек поравнялся с нами, я узнала ближайшего друга Розы — Лео Иогихеса. Я заговорила с ним. Он с тоской спросил, не видели ли мы в морге тело Розы. Нет, его там не было.

Два месяца спустя Лео Иогихес был схвачен псами из своры Носке и убит в тюрьме.

Только в пятницу утром в новой партии трупов, доставленных в покойницкую больницы в Панкове, мы нашли тело Курта. Голова его была размозжена, глаза выдавлены, лицо представляло собой кроваво-багровое месиво. Опознать его можно было только по рукам и одежде.

Мы похоронили Курта на другой день. А на следующее утро за мной пришел товарищ, который сказал, что нашлась наконец оказия и я могу ехать в Москву с двумя сотрудниками Советской комиссии по делам военнопленных. Они задержались в Берлине после высылки нашего посольства накануне ноябрьской революции, а сейчас их высылают в Советскую Россию.

Как в тумане попрощалась я с Эрной, как в тумане села в поезд, как в тумане прошла для меня вся дорога, как в тумане услышала я о том, что на выборах в Германское Учредительное собрание большинство получили правые социал-демократы. Во рту у меня был вкус ржавчины, всюду мне мерещился сладковатый запах трупов и карболки.

Морозным январским вечером наш поезд подошел к перрону Александровского вокзала. Всего два с половиной месяца назад я уезжала отсюда, а прошла, казалось, целая жизнь.

Мои спутники вскоре распрощались со мной, и я одна пошла по заснеженным московским улицам. Идти было трудно, скользко. От долгого недоедания кружилась голова.

Около Московского Совета стоял закрытый автомобиль. Дверь здания растворилась, показался человек в кожаной куртке. Это был Яков Михайлович Свердлов. Он уже садился в автомобиль, когда я подошла к нему. Волнение перехватило мне горло, я не могла произнести ни звука. Он вгляделся в меня, узнал, что-то вскрикнул, схватил меня, усадил в машину, повез в Кремль, повел в комендатуру. Там он велел, чтобы немедленно затопили ванну, все мои вещи бросили в огонь и выдали мне красноармейскую одежду, а потом позвонили ему — он зайдет за мной и отвезет меня домой.

Час спустя я сидела в комендатуре и, закатав слишком длинные рукава новой гимнастерки, пила из жестяной кружки горячий чай. Комендатура помещалась в большой, плохо освещенной комнате. На скамьях вдоль стен сидели молодые красноармейцы. Они разговаривали вполголоса, видимо о чем-то, связанном со мной. Я слышала отдельные слова: «Из Бе́рлина» (с ударением на «е»), «меньшевики там одолели...», «нахлебается там народ горя...».

Я отдохнула и чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы не отнимать у Свердлова времени и самой пойти домой.

Вечерело. Небо сделалось серебристо-зеленым. Из-за зубчатых крыш Китай-города оранжевым диском всходила луна. На колоннах Дома Союзов висели в черно-красных рамах портреты Карла Либкнехта и Розы Люксембург, под которыми огромными буквами было написано:

«Лучшая месть за смерть Либкнехта и Люксембург — победа коммунизма!»

Карл на портрете был гораздо моложе, чем в последние месяцы жизни. А Роза была такой, какой я видела ее при расставании в Берлине, так же нежен и пристален был взгляд ее прекрасных темных глаз.

«Человек должен жить, как свеча, которая горит с обоих концов»,— любила говорить Роза.

Так и жили они оба, Роза и Карл. Да будет их память бессмертна!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ



У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

И снова Москва! Июль девятнадцатого года. Солнце, жара... Поперек Охотного ряда протянут плакат Всевобуча: «Тогда лишь гражданин чего-нибудь достоин, когда он гражданин и воин!» Газеты зовут: «Все на борьбу с Деникиным!»

По мощенной булыжником, узкой, горбатой Тверской спускаются двое. Один — маленький, верткий, живой, в матросской шапочке с ярко-красным помпоном. Второй — огромный, темнокожий, курчавый, в малиновой феске. Первый — француз, второй — негр.

Они не спешат, глазеют по сторонам. На углу, около «Националя», остановились, явно не зная, куда идти. Навстречу им засеменила какая-то дама «из бывших», с сумочкой, расшитой черным стеклярусом. На устах ее порхает жантильнейшая улыбка, губки бантиком. Видно, что она намерена завести с ними разговор.

Я бросаюсь наперерез:

— Camarades!

Они радостно оборачиваются ко мне и в один голос восклицают:

— О, туоваристшшш!

Это были матрос и солдат с восставшего в Черном море французского крейсера «Мирабо». По приказу союзного главнокомандования крейсер был направлен в Одессу с транспортом оружия и «цветных» войск для деникинской армии. Но на одесском рейде команда взбунтовалась и подняла красный флаг, заявив, что она не желает помогать войне против своих русских товарищей. Офицеры уговаривали: «Давайте выгрузим военное снаряжение

и черномазых. Выгрузим и уйдем». Но команда не подчинилась. Часть матросов сошла на берег и не вернулась более на корабль. За ними последовали и негры. Офицерам пришлось самим развести пары и увести корабль во Францию.

И вот товарищи с «Мирабо» приехали в Москву и шли по ее улицам. Их все восхищало, все приводило в восторг: и плакат, который изображал поддетого на красноармейский штык Колчака; и разрисованные футуристами деревянные ларьки в Охотном ряду; и выставленный в витрине магазина (чтоб знали граждане, что бога нет!) муляж человеческих печенок и селезенок.

Особенно темпераментно выражал свои чувства француз. Он то и дело повторял: «О, Москва! О, прекрасный город Москва!»

Они оба — и экспансивный француз, и негр с его великолепной фигурой, бронзовой кожей и прикрепленными к феске зелеными и красными ленточками — были так ярки и красочны, что я не утерпела и написала об этой встрече первую в своей жизни заметку в газету. Начиналась она словами: «Раскаленное июльское солнце плыло над Москвой...» Товарищ в редакции, читая ее, бормотал: «Травка зеленеет, солнышко блестит». Потом он вычеркнул упоминание о солнце, вставил: «Моросил дождь...» — и написал: «В набор». Заметив мой недоуменный взгляд, он пояснил: «Этак контрастней: негр и дождь!» Так я впервые узнала, что это за штука — художественный вымысел.

Француз чувствовал себя ответственным за судьбу своего товарища. Он непрестанно ему все объяснял и повторял для него каждое слово, которое говорила я или другие наши спутники, присоединившиеся к нам по дороге.

Мы подошли к Кремлевской стене. Рядом с могилами товарищей, погибших в октябрьских боях, находилась свежая могила Якова Михайловича Свердлова.

Он умер, простудившись во время выступления перед рабочими на митинге в Орловском железнодорожном депо. Уже больной «испанкой», он продолжал работать, пока не свалился. Весь в жару, задыхаясь, теряя сознание, он говорил о партии.

Ему становилось все хуже и хуже. Незадолго до смерти Якова Михайловича к нему пришел Владимир Ильич. Он уже давно порывался навестить Якова Михайловича, но его не пускали, боясь, что он может заразиться. Узнав, что Яков Михайлович умирает, Владимир Ильич не стал никого слушать и пошел к нему. Яков Михайлович обрадовался Владимиру Ильичу, попытался заговорить о делах, связанных с созывом партийного съезда, но не смог. Владимир Ильич взял его руку, крепко ее пожал. Через полчаса после ухода Владимира Ильича Яков Михайлович скончался.

Француз с обнаженной головой выслушал мой рассказ о могилах у Кремлевской стены. Потом, обращаясь к негру, сказал:

— Тут лежат только товарищи. Ни одного господина...

Затем добавил:

— Эти сыны народа завоевали своей кровью социализм...

Но он испытывал потребность сказать что-то и нам. Подняв глаза, он увидел красное знамя, развевавшееся над Кремлевским дворцом. И воскликнул с истинно галльским красноречием:

— Ваш Кремль, как маяк, светит всему рабочему миру. Мы знаем, что все народы земли совершат этот путь — от братских могил к братскому красному знамени. Русские товарищи! Ведите бесстрашно свою борьбу! Сколько бы нас, матросов и солдат, ни привозили к берегам Советской России, мы поднимем красные знамена и придем сюда, в вашу Москву. В ваш прекрасный город Москву!

НАША «СВЕРДЛОВКА»

Я училась тогда в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова — в просторечии в «Свердловке». Помещался он в начале нынешней улицы Чехова, именовавшейся Малой Дмитровкой, в здании, которое теперь занимает театр имени Ленинского комсомола.

Здание это было выстроено когда-то для Московского купеческого собрания. После революции оно было захвачено анархистами, и в нем расположился Главный штаб

московской федерации анархистов. Дом был переименован в «Дом анархии», над входом вывешен огромный черный флаг, на крыше установлены орудия и пулеметы. Когда в апреле 1918 года производилась ликвидация анархистских групп, засевшие в здании оказали сильное сопротивление, и их пришлось вышибать артиллерийским огнем.

Затем в доме разместились Курсы по подготовке партийных и советских работников, которые были преобразованы в университет имени Свердлова.

Был особый, глубокий смысл в том, что после смерти Я. М. Свердлова Центральный Комитет партии и советское правительство решили создать Коммунистический университет его имени, призванный, по слову Ленина, «...собрать здесь несколько сот рабочих и крестьян, дать им возможность заняться систематически несколько месяцев, пройти курс советских знаний, чтобы двинуться отсюда вместе, организованно, сплоченно, сознательно для управления, для исправления тех громадных недостатков, которые еще остаются».

В «Свердловке» была только одна общая аудитория, устроенная в бывшем зале купеческого собрания. Кафедру для лектора поставили в простенке между окнами, у ее подножия разместили стулья. Лектор оказывался как бы в центре полукруга, образованного слушателями.

После купцов осталась кое-какая утварь, по большей части совершенно нелепая: мебель, посуда, оленьи рога (на них мы вешали шинели и красноармейские фуражки); фарфоровые вазоны для омовения пальцев после вкушения спаржи (в редкие счастливые дни, когда по карточкам отпускалась крупа, в них подавали жидкую кашу).

«Чуден вид нашей «Свердловки», когда вольно и плавно рассаживается она на стульях, на которых еще недавно восседали жирные купеческие зады...» — гласило начало торжественной оды, сложенной нами в те далекие времена.

Да, чуден был вид нашей «Свердловки»: худые лица, горящие глаза, пробитые пулями шинели. Лохматые парни, остриженные по-мальчишески девушки. Все вечно голодные, никогда не думающие о еде, с туго затянутыми поясами, с торчащими под мышкой потрепанными тетрадями...

Трудовой день начинался в семь утра и заканчивался далеко за полночь. Сначала лекции. Затем практические занятия. Потом работа над книгой. А там — выступления

на митингах, собраниях, субботники, разговоры, песни, споры.

Срок обучения был трехмесячным. Большую часть слушателей составляли полуграмотные рабочие и крестьяне. Но и для тех, кто был пограмотнее, все услышанное здесь было внове.

Лекции читали лучшие в партии знатоки той или иной дисциплины. За немногими исключениями, они не были учеными или научными работниками, и свои обширные, порой энциклопедические познания почерпнули в «тюремных университетах». Все эти люди вели большую государственную работу. Для чтения лекций им приходилось вырывать несколько часов из своего предельно загруженного дня.

Курс истории партии вел Николай Николаевич Батурин, автор первой книги по истории российской социал-демократии. Лекции по истории революционного движения в России читал Михаил Николаевич Покровский. Ученый-историк, он отказался от профессорской карьеры, в момент Октябрьского переворота был одним из руководителей восстания и своим революционным темпераментом заслужил у московских рабочих прозвище «Лихой старик».

Политическую публицистику (был и такой предмет!) преподавал Вацлав Вацлавович Воровский. Занятиями по антирелигиозной пропаганде руководил Емельян Ярославский. Курс партийного строительства и практические занятия по партийной работе вел секретарь Московского комитета партии Александр Федорович Мясников.

Несколько занятий, посвященных работе агитатора и пропагандиста, провел у нас Михаил Иванович Калинин.

С седеющей бородкой, в очках, в темном пиджаке и черной сатиновой косоворотке, подпоясанной ремнем, с палочкой в руке — таким был Калинин, тверской крестьянин, питерский рабочий, старый коммунист! Таким он был до Октября, когда работал слесарем на заводе «Айваз». Таким он был и после Октября, когда сделался петроградским городским головой. Таким он остался и тогда, когда после безвременной смерти Якова Михайловича Свердлова был избран на высший правительственный пост в стране — председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Другого такого народного агитатора, как Калинин, на свете не было. Недаром Владимир Ильич Ленин, рекомендуя избрать его на пост председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, говорил: «Это товарищ, за которым около двадцати лет партийной работы; сам он — крестьянин Тверской губернии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством и постоянно обновляющий и освежающий эту связь. Петроградские рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким слоям трудящихся масс, когда у них нет партийной подготовки, когда пропагандистам и агитаторам не удалось к ним подойти по-товарищески и умело, тогда тов. Калинину удавалось разрешить эту задачу».

Именно на него Владимир Ильич больше всего полагался при проведении руководящей линии партии по отношению к среднему крестьянству. И Михаил Иванович со своим агитационным поездом «Октябрьская революция» разъезжал по стране, останавливался на станциях, выезжал на фронт, созывал митинги. За короткое время его услышало несколько сот тысяч человек. Популярность Калинина была огромна, и народ ласково называл его «Всероссийским старостой» и «Михал Иванычем».

Своим опытом работы с народом Михаил Иванович и пришел поделиться с нами, молодыми членами партии.

Он сел за стол, снял очки в железной оправе, провел рукой по усталым глазам, снова надел очки и сказал:

— Большое это дело, товарищи. Великое дело. И трудное.

Михаил Иванович помолчал и задумался, как бы подыскивая слова.

— С чего же нам начать? — проговорил он. — Не буду размалывать вам, что на беседу с народом надо идти, хорошо подготовившись,— вы это и без меня знаете. Не буду рассуждать и о том, составлять или не составлять заранее конспект,— на это у каждого своя привычка: одному лучше с конспектом, а другому — без него. Все это — дело шестнадцатое. Главное в ином. Главное прежде всего в том, чтобы идти к народу смело, говорить ему в глаза правду. Больше всего бойтесь тихих, гладких собраний, похожих на то, будто на холод-

ную воду вылили растопленное сало,— оно на воде и застыло. Если собрание покрылось такой коркой, это значит, что ни вы не услышали людей, ни они вас не услыхали. Чуть появилась эта корка, ищите заветное слово, которым вы сумеете ее растопить...

Таковы были наши учителя. Спасибо вам, дорогие товарищи, за то, что вы учили нас уму-разуму!

С каждым днем расширялись границы познанного мира. Истины, которые в наши дни являются достоянием широких масс, были для нас тогда подлинным откровением. Возможность достать книгу Маркса, Энгельса, Ленина — событием. Для многих «свердловцев» эти книги были чуть ли не первыми книгами после букваря.

Однажды ночью, когда студенческое общежитие было погружено в сон, раздался крик:

— Товарищи! Вставайтэ! Мирова революция началась!

Кричал Олекса Рябов, молодой красноармеец из крестьян Воронежской губернии, изъяснявшийся на причудливой смеси русского и украинского языков.

Все повскакали, бросились кто в чем был на лестницу, пустились в пляс, стали орать «ура».

Только потом догадались спросить у Олексы, какими, собственно, сведениями насчет мировой революции он располагает.

Он сказал:

— Ось, подивиться! Це у книжки написано. У Маркса.

Кривым пальцем, на котором белел шрам — память о казацкой сабле,— показал: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма...»

Как ни велика была наша учебная и партийная нагрузка, слушатели организовали кружок, который решил изучать «Капитал». Книга Маркса представляла библиографическую редкость, в библиотеке нашего университета мы ее не нашли. К счастью, оказалось, что у кого-то из наших есть товарищ, работающий в типографии, в которой как раз печатается новое издание «Капитала». Этот товарищ согласился давать нам оттиски при условии, что мы будем быстро их прочитывать.

Но как выкроить время? В течение дня у нас не оставалось свободной минуты. И где найти место для чте-

ния? Учебное здание на ночь запиралось, а в общежитии мы мешали бы другим товарищам.

Выход был найден: улица! Ночи стояли теплые, темнело поздно, светало рано. Можно было отлично устроиться где-нибудь на бульварах или на ступенях каменных лестниц, спускающихся к Москве-реке.

Отныне то с вечера, то на рассвете мы собирались в условленном месте, чтобы читать мажущиеся типографской краской оттиски «Капитала».

В синем вечернем небе зажигались звезды, когда мы заканчивали главу о меновой стоимости. Под звонки первых трамваев мы приступали к чтению раздела о денежной форме стоимости. Бронзовый Пушкин, под лучами утреннего солнца, слушал вместе с нами полные сарказма страницы главы о товарном фетишизме.

Мы не могли уже сделать и шагу, не вспоминая Маркса, не разговаривая языком Маркса. Быстро опустела миска с селедочной похлебкой — ну можно ли по этому поводу не сказать, что «способность переваривать пищу вовсе не тождественна с фактическим перевариванием пищи»? Спор по поводу того, удастся ли выменять на хлеб брюки, просвечивающие на неудобосказуемом месте,— как тут не вспомнить, что в отличие от этих брюк Марксов сюртук «является носителем стоимости, хотя это его свойство и не просвечивает сквозь его ткань, как бы тонка она ни была»? Ребенок юной «свердловки», покоящийся в колыбели,— как не сочинить по этому поводу новую колыбельную?

Спи, свердляк потенциальный,
Баюшки-баю,
Светит Маркса свет астральный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Сделаю прогноз,
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Умственный колосс!

ДУША СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Самым значительным событием в истории нашего выпуска была встреча с Владимиром Ильичем Лениным и его лекция «О государстве».

Мы давно знали, что Владимир Ильич должен прочесть у нас лекцию. Мы знали даже примерную дату этой

лекции, установленную учебным планом: 9—12 июля. Но сможет ли Владимир Ильич прийти?

Москва переживала тогда тяжкие дни. В течение мая и июня Колчак занял Уфимскую губернию, откуда должен был прибыть хлеб для московских рабочих. Затем Деникин отрезал самые хлебородные районы Украины. Москва осталась без хлеба. Положение было угрожающим. И, несмотря на все это, 11 июля, в назначенный день и час, Владимир Ильич прочел в «Свердловке» свою лекцию!

О том, что он будет у нас, мы узнали накануне. Хотя забота об одежде и внешности в те времена считалась зазорной, все тут же стали приводить себя в порядок: латать локти, чистить сапоги, пришивать пуговицы и белые воротнички.

Лекционный зал был чисто убран, на кафедре поставлен букет цветов, для встречи Владимира Ильича у входа дежурила специальная делегация, приготовившаяся произнести торжественную речь.

Но пока делегаты с замиранием сердца всматривались в даль, Владимир Ильич потихоньку подошел к зданию, вошел в него боковым ходом, направился в учебную часть, потолковал с работниками университета, расспросил, из кого состоят студенты, как занимаются, чем их кормят,— и прошел в аудиторию.

Лекция «О государстве», которую он прочел в тот день, представляла собою блестящее изложение марксистской теории государства.

Трудно себе представить, что эта лекция читалась в то время, когда — в который уже раз! — над Советской республикой нависла смертельная опасность; в то время, когда в Лондоне, в доме на Даунинг-стрит, сколачивался блок четырнадцати государств для крестового похода против Советской России; когда интервенты, склонившись над картой, подсчитывали сроки падения Москвы. В это время Ленин в Москве заканчивал свою лекцию словами, какими обычно заканчиваются спокойные профессорские лекции: «Надеюсь, что к этому вопросу мы в следующих лекциях вернемся — и неоднократно».

После лекции Владимир Ильич прошел в соседнюю комнату. Тут его обступили слушатели университета и сразу засыпали вопросами о положении на фронтах, о III Интернационале, о хлебе для Москвы. Мы спраши-

вали об этом Владимира Ильича не только для себя, но и для того, чтобы передать его слова московским рабочим, перед которыми каждому из нас приходилось выступать.

Владимир Ильич внимательно ответил на вопросы, потом сказал:

— Положение наше трудное, архитрудное, и главный, даже единственный выход для нас — это идти открыто в самые широкие массы, рассказать им, что мы со всех сторон окружены, что Красная Армия истекает кровью, что нужно терпение, напряжение сил, еще один прыжок через голод и нужду — и мы победим. Если вы разъясните народу всю правду, если откроете перед ним всю душу Советской власти, голодные русские рабочие совершат чудо и в борьбе против хищников всего мира спасут Советскую Россию. Это будет чудом, но это чудо совершится...

СМЕРТЬ КОММУНИСТА

Несколько дней спустя группа слушателей университета, в том числе и я, была направлена в деревню. Поводом к этому послужило сообщение о гибели Николая Антонова.

Николай Антонович Антонов, рабочий-питерец с трубопрокатного завода Барановского, член партии с 1916 года, был одним из организаторов Красной гвардии на Выборгской стороне, принимал участие во взятии Зимнего. Вскоре после Октябрьского переворота отправился на Дон, бить Краснова. Был ранен, уехал в деревню, был избран председателем комитета бедноты, а затем — председателем волостного исполнительного комитета.

Летом восемнадцатого года приезжал в Москву, к Свердлову. Пленил Якова Михайловича незаурядным умом, хваткой настоящего рабочего, точным знанием положения в волости.

Образно рассказывал о настроениях и повадках различных слоев крестьянства — о кулаке, говорящем: «У меня раньше сердце к беднякам было собачье, а теперь — волчиное», о первых шагах комитетов бедноты: «Не всегда хорошо правят наши товарищи: спотыкаются, ошибаются. Дело им досталось новое, трудное. Практи-

ки такой у них нет, чтобы государственными делами управлять, вот и делают промашки: то средних крестьян в кулаки запишут, то живоглотам дадут себя оттереть и вокруг пальца обвести».

Но больше всего его занимало общее положение крестьян и крестьянского труда: «Узкополосица да чересполосица измозолили шею крестьянину,— говорил он.— Царапает крестьянин своей сохой выветрившееся и выродившееся поле, а получает при своей одиночной работе в барыш только горб да деревянный крест в придачу. И, несмотря на все это, цепляется за свою мелкую собственность — и так привык к своей сохе, к своему корыту, что и разбитое оно кажется ему милым».

Выход для крестьянина видел в одном — в переходе к крупному общественному хозяйству. Но советские органы должны действовать тут осторожно. «Пусть у крестьянина поначалу останется его собственность, пусть он ссыпает хлеб у себя в амбар, и только обрабатывает сообща землю. Так он постепенно придет к общему хозяйству».

По просьбе Свердлова я записала для Владимира Ильича Ленина разговор с Антоновым. И вот, год спустя, ректор Свердловского университета Владимир Иванович Невский вызвал к себе группу слушателей, и товарищ, только что приехавший из Тверской губернии, рассказал нам историю гибели Николая Антонова.

К лету 1919 года в волости, где председательствовал Антонов, как и во многих других местах, образовались банды дезертиров, укрывавшихся от службы в Красной Армии. Верховодило ими кулачье.

Прячась в лесах, голодные, озлобленные, дезертиры терроризировали крестьянское население, угоняли лошадей, прирезывали коров и овец.

В середине июня, по данному кем-то знаку, все банды уезда собрались в лесу неподалеку от волостного села. Они послали Антонову письмо с требованием, чтобы он открыл амбар и выдал им муку и соль.

«Ты пират, прибывший из Петрограда,— писали они,— ты, чертов коммунист, бродяга, повсюду вводишь дурацкую коммуну. Тебе, подлец, ведь первому крючок готов на осине, дни твоей жизни сочтены! Или выдай нам, что требуем, или прощайся с товарищами и знай,

что на твоей спине будет вырезана красная звезда, за которую ты агитируешь!»

Антонов открыть амбар отказался. Тогда дезертиры двинулись на село. Они шли, играя на гармони и распевая частушки:

Не по нашему достатку
Галихве-брюки носить,
Не по нашему достатку
В Красной Армии служить...

Подойдя к дому волостного исполкома, они вызвали Антонова и снова потребовали, чтоб он открыл амбар. Антонов вышел на крыльцо и сказал, что амбара не откроет, не имеет на это права. Тогда дезертиры подняли стрельбу, а когда раненный в голову Антонов упал, ворвались в дом и начали избивать работников исполкома дубинами и винтовочными прикладами. Несколько человек было забито до смерти, остальные лежали без памяти, и только Антонов, хотя его и били больше всех, сохранил сознание.

Живых и мертвых погрузили на подводы и под улюлюканье и колокольный звон повезли на кладбище. Там дезертиры стали копать могилу. Заставили рыть ее и Антонова.

Когда могила была готова, в нее побросали трупы и живых людей. Уже брошенный в могилу, Антонов приподнялся, его снова стали избивать, но он успел крикнуть: «Мы не боимся вашей казни! Мы работали честно и справедливо на благо народа!»

Его ударили лопатой по лицу. Обливаясь кровью, он упал на своих товарищей. Но и тут у него хватило духу сесть, снять сапоги и пиджак и передать тут же стоявшему отцу. «Вот, возьми, отец, на память,— сказал он.— А вы, убийцы, будьте прокляты!» Потом он лег навзничь и велел себя зарывать... Больше часу земля на могиле приподнималась и слышны были глухие стоны.

Когда товарищ, проводивший расследование обстоятельств кулацко-дезертирского мятежа, кончил свой рассказ, наше собрание почтило память погибших вставанием. Потом слово взял Владимир Иванович Невский.

Он сказал, что на днях в Центральном Комитете партии состоялось совещание, посвященное вопросам работы в деревне. В нем принял участие товарищ Ленин.

Совещание пришло к единодушному выводу, что намеченный VIII съездом партии курс на середняка уже дал несомненные результаты. Среднее крестьянство явно полевело. Конечно, и сейчас оно неохотно выполняет предъявляемые к нему общегражданские требования, неприятные для него как для собственника. И сейчас крестьянин-середняк предпочел бы вместо того, чтоб воевать, отсиживаться у себя дома. Но он уже начинает понимать, что Деникин и Колчак тоже не дадут ему сидеть на печке и что перед ним стоит неминуемый выбор: либо идти в Красную Армию, либо вернуться в помещичью кабалу.

Отсюда как главная задача сегодняшнего дня встает разъяснение широким массам крестьянства сущности политики Советской власти. Мы должны убедить крестьянина, что для него лучше отдать рабочему хлеб, чем отдать Деникину и Колчаку и хлеб, и помещичью землю.

Агитация, агитация! Пропаганда и агитация... Мы должны проникнуть в самую деревенскую глубину. Как выразился Владимир Ильич, надо проложить в лесу деревенской дремы «агитационные просеки».

К решению этой задачи привлекается ряд работников нашей партии, в том числе и собранные сегодня здесь слушатели Университета имени Свердлова...

«АГИТАЦИОННАЯ ПРОСЕКА»

Теплым июльским вечером наша группа отправилась в путь. В руках у нас была карта-двадцатипятиверстка. Владимир Иванович Невский нанес на ней где-то верстах в четырехстах на юго-восток от Москвы прямую линию. Это и была «агитационная просека», которую нам предстояло проложить. Черные точки, голубые жилки и разбросанные по карте кудрявые зеленые пятна указывали, что наша будущая просека проходит среди рек, холмов, лесов и деревень.

После трех дней путешествия в тряском вагоне, набитом мешочниками и спекулянтами, мы добрались до небольшой станции, расположенной на пересечении нашей просеки с железной дорогой.

Уездный исполнительный комитет находился в двухэтажном деревянном доме с каменным цоколем. Здесь же

помещалось учреждение, которое все жители города и уезда звали странным именем «Укомболь». Оказалось, что это и есть уездный комитет партии большевиков, который был нам нужен.

Комитет занимал только одну комнату. Спавший за столом человек, когда мы вошли, проснулся. Узнав, зачем мы приехали, он разразился исполненной сарказма речью. Из нее следовало, во-первых, что народ темен, во-вторых, что сам он, наш собеседник, не согласен с решениями VIII съезда партии об отношении к среднему крестьянству. Эти решения, как он выразился, «представляют собой разноцветный и страшно пестрый букет, с преобладанием желтого цвета над красным, преподнесенный центром, после чего власть на местах потеряла ударное оружие и революционная работа пошла насмарку».

Мы спросили, как же он может состоять в партии и к тому же работать в уездном комитете, если не согласен с решением партийного съезда?

Но говорить с ним было, что об стену горохом. Он заладил одно: «букет» да «букет». Даже когда мы попросили его дать нам подводу для литературы, которую мы везли, сказал, что и лошади нет все из-за того же «букета». Тьфу! Вот уж поистине «укомболь» какой-то!

Махнув на него рукой, мы пошли на постоялый двор. Там добыли ручную тележку, сложили в нее литературу и, поужинав небольшим количеством хлеба с большим количеством воды, легли спать.

Когда мы выходили из города, день только занимался. Трава была покрыта блестевшей на солнце росой. Дорога убегала на восток. Мы взяли правее и по узкой тропинке, которая вилась среди поспевавших хлебов, пошли по трассе нашей «агитационной просеки».

По прямой эта «просека» составляла верст сто, по проселкам — верных сто двадцать. Времени нам было отпущено десять дней. Сколько неожиданностей, сколько встреч ожидало нас на этом пути!

Первая из этих встреч произошла часа через полтора после выхода из города. Под раскидистым деревом сидел дед и что-то мастерил.

Руководитель нашей группы Алексей Гричманов решил подсесть к нему.

— Что мастеришь, товарищ? — спросил Гричманов.

— Да вот крюк готовлю, рожь поспевает.

— Когда же косить думаете?

— Да хоть завтра можно бы, да только как косить-то!..

— А что?

— Да говорят, нашлют нам городских. Мы скосим хлеб, а они молотить будут.

— Ну?

— Ну, а потом все в город. А мы, значит, на порции сиди да поминай бога.

— Врут вам, я думаю. Советская власть мужика в обиду не даст.

— Так то не советская власть. Советскую власть мы знаем. А вот в коммунисты не пойдем.

— Да вас никто и не гонит.

— Как не гонят? Приезжал тут один, с ног до головы кожаный. Блестит, как майский жук, сапоги с пуговками, на поясе пристроены пули, в каждой руке по пистолету. Взлез на стол да как заорет: «Мне этих букетов не надобно! Я никого не признаю! Я сам коммунист и пролетариат! Все в коммуну пойдете, а кто мне станет возражать, сейчас же стреляю!»

(Эге! Вот оно как вы работаете, товарищ «укомболь»!)

И с этой встречи пошло! Разговоры, сходы, беседы, собрания! Только успевай выступать везде, где тебя ждут; только сумей выслушать всех, кто хочет поделиться своими думами; только вырви минуту, чтоб занести в дневник мысли и чаяния, которыми живет деревня.

Поражала очевидность, с какою бытие определяло сознание. Подобно мольеровскому герою, не ведая того говорившему прозой, русский крестьянин думал и рассуждал в точности «по Марксу», высказывая именно то, что должен был высказывать в данных обстоятельствах представитель данного социального слоя.

...Вот идет сельский сход. Уже издалека слышно гудение голосов. Вокруг бревенчатой избы, где помещается волостной Совет, расположились мужики — кто стоя, кто лежа, кто на корточках, кто на коленях. Бабы держатся в сторонке. Тут же бегают ребятишки. На крыльце ку-

ражится и пузырится дядя недвусмысленно-кулацкого вида.

— Чтоб мы вам хлеб отдали? — вскрикивает он.— Да мы лучше на мешках умрем, а не отдадим. Отбили у нас землю, поделили. Ну и пашите на себе, нищета! Нам дыхнуть не даете! Засели в Совете, босота, общипанцы, рвань коричневая! Ничего! Придет скоро Деникин, придет, придет он, спаситель наш, пошли ему господи. Сколько на этой осине сучков, столько будет висеть мужичков!

И вдруг словно прорывает плотину: весь сход вскакивает на ноги и с подборами и переборами выражает свое отношение к кулачеству вообще и к данному оратору в частности: и что кулаки — живоглоты, мироеды и гады шипучие; и что кулаку только мошна люба; и что, слыша плач голодных, они гладят себе бороды и пьют чай с сахаром; и что миновало их время — быть теперь кулацкой шее в петле...

А вот сидят крестьяне-середняки. Середнякам, как известно, положено колебаться. Они и колеблются. Довольны одними мероприятиями Советской власти (теми, которые кто-то удачно прозвал: «На!»). Недовольны другими (которые получили прозвище: «Дай»).

Они безусловно за Советскую власть («Что Советская власть? Подходящая для мужика власть. Советская власть у барина землю отняла да нам отдала»). Они одобряют и большевиков («Резонные люди большевики. Со смекалкой...»). Кулака ненавидят («Кулацкое мечтанье нам известно. Мечтанье это — вернуть ту палку, которая недавно по нашим спинам ходила...»). Но давать хлеб городу и деревенской бедноте не желают («Посеем, сколько нужно, чтобы душа не вывалилась из тела, а там — нам дела нет...»). И не хотят воевать («Наша волость не объявляла войны ни беднякам, ни богатым. Так нечего нас на войну и звать...»).

Они никак не хотят считать себя середняками и объявляют, что они и есть настоящая деревенская беднота. Сколько раз, придя в деревню, мы оказывались в трудном положении, когда нас обступали со всех сторон и закидывали вопросами: «Определи, середняк я или нет? У меня корова, лошадь и две овцы».— «А у меня две коровы, а лошади нет!» — «А в моем хозяйстве...»

Как-то нас удачно выручил один бедный крестьянин.

Когда один из середняков стал настаивать, чтобы его «применили к беднякам», этот крестьянин сказал:

— Если хочешь быть бедняком, давай обменяемся всем, что у нас есть. Ты иди ко мне в дом, а я пойду в твой дом.

Разумеется, тот не согласился!

Каков же был он, этот дом бедняка? Страшно вспомнить! Изба, крытая гнилой соломой. Нарастая слоями год от года, она делала избу похожей на тонкопятого мухомора. Но на некоторых и соломы не было, последнюю скормили скотине, и обнаженные слеги и стропила производили впечатление костяка огромного животного. Передние стены вросли в землю, боковые подперты жердями. Труб нет, топят по-черному (дым выходит в потолочную отдушину).

Войдешь в такую бедняцкую избу, тебя обдаст душным, кислым запахом. Различить ничего нельзя, только слышен детский плач: «Мамка, хлеба! Есть хотим! Дай хлебца!»

Дни летом длинные, версты российские не мереные. Чуть затеплится заря — и мы в путь. За день пройдем до десятка деревень: в одной — сход, в другой — собрание, в третьей — просто разговор.

В первые дни наш приход в деревни был неожиданным. Но потом, когда мы подходили к деревне, нас уже ждали, чтоб побеседовать, посоветоваться. Радио тогда практически не существовало, газеты в деревню почти не попадали, жила деревня слухами да пересудами. Прослышит кто-то про «всемирное совещание в Париже», и поползет про этот самый «Париж» всяческая несусветица: и что находится он, «Париж», под самой Москвой; и что идет в нем, в «Париже», разговор насчет «полегчания» крестьянину; и что постановлено там, в «Париже», всех девок остричь, а бабам приказать, чтоб носили юбки до колен...

Молва о нашей группе опережала нас, разбегалась в стороны от нашего пути. Каждое слово наше подхватывалось, обсуждалось, поворачивалось и так и этак. Нас встречали заранее подготовленными вопросами — и простыми и заковыристыми. Нелегкое это было дело — ответить на них и добиться того, чтоб походом нашим действительно была проложена «агитационная просека».

Иногда «повестку» будущего собрания мы получали заранее.

Только приближаемся к деревне, а уже слышим девичьи голоса:

Говорила кума куму:
«Не ходи ты, Пров, в коммуну,
Как приедут казаки,
Всех поднимут на штыки...»

Значит, знай: быть тут шуму, быть разговору о коммунах! А разговор этот известный: выйдет худой мужик с серым лицом, будто вымазанным глиной, и станет рассказывать, как ему хозяйствуется («Я ли не работаю? Я ли спину не гну? Я ли свою полоску пóтом не поливаю? А что собираю? Хорошо, если до рождества прокормишься!»). А в ответ раздастся, что коммуна крестьянам не под стать («Не привыкли мы здесь, в крестьянстве, из одного котла, что солдаты в роте, щи хлебать...»). Один будет доказывать преимущества общественной обработки земли («Большевики открыли нам дорогу: сделать нашей бедноте и среднему крестьянину из нашей земли одну общую полосу, ту полосу, которая принесет нам большую пользу и облегчит наш труд»). Другой будет наотрез отказываться («В коммуну иди! Работай! А иной лентяй не захочет работать, будет лодыря корчить — так что, выходит, я за него работать должен! А делить потом поровну?»).

Чем же кончится весь этот разговор? Может, так, а может, и этак. Быть может, предложение о создании товарищества по совместной обработке земли будет отклонено подавляющим большинством. Но возможно, что сход примет резолюцию, предложенную беднотой: «Обменявшись суждениями о коммунах, крестьяне нашего общества подали приговор своему собеседованию, что они неудержимо тяготеют к коммунальной жизни...»

И едва вынесут такой «приговор», как девушки уже сложат новую частушку, которой и проводят нас из деревни:

Мы в коммунии живем,
Землю пашем, хлеб жуем.
Богачей не пожалеем:
Усы, бороды им сбреем.

Под самый конец нашего похода мы пришли в волостное село и узнали, что на этот вечер назначено общеволостное собрание коммунистов. Мы встречались в деревне

с членами партии, но на партийное собрание попали впервые.

Собрание должно было происходить в избе председателя ячейки (так называли тогда секретаря партийной организации). Изба эта ничем не отличалась от любой бедняцкой избы, только в красном углу на месте образов светлело пятно чистой стены. Хозяйка подмела земляной пол, посыпала его душистой травой. Хозяин возился со ставнями, потом зашел в избу и отодвинул скамьи от окон.

— Не ровен час, не вышло бы чего,— сказал он.

Начали подходить коммунисты — все в лаптях или босиком, в домотканых рубахах навыпуск.

В эти дни по призыву Центрального Комитета партии проводилась мобилизация на деникинский фронт. По волости подлежало мобилизации десять членов партии, но на фронт ушло двадцать два. Большинство мобилизованных уже уехало, остальные должны были ехать завтра.

— Эти товарищи,— говорил, выступая на собрании, председатель ячейки,— бросили землю, жданную целыми столетиями, бросили свое семейство и сказали: нет, слишком дорого стоила нам эта земля, и мы пойдем воевать за нее, за нашу волю, а к остающимся просьба у нас одна: гоните из кустов и ям дезертиров и будьте верными сынами коммунизма.

Но нашлись среди членов партии такие, которые во время мобилизации коммунистов заявили о своем выходе из партии. Их дела и разбирало партийное собрание, на котором мы присутствовали.

Один говорил, что он вступил в партию по дурости: все, мол, шли, и он, дурак, пошел. А как стали брать на фронт, то решил: и без него, дурака, там обойдутся. Другой — местный фельдшер — подал заявление, что он выходит из партии «ввиду обнаружившегося разногласия с партийной программой РКП». Третий же потребовал своего исключения из партии, ссылаясь на то, что в партии не должно быть слабых духом, легковерных и нетвердо стоящих на платформе Советской власти, а посему такого подлеца, как он, нельзя близко подпускать не только к партии, но и к Красной Армии.

Они входили по одному. Собрание встречало их угрюмым молчанием и так же угрюмо выслушивало их речи, а потом принимало решение: исключить из рядов партии, занести в черные списки буржуазного элемента и

направить в тыловое ополчение, где они вместе с буржуазией будут находиться на тыловых военных работах.

Собрание уже подходило к концу, когда за окном раздались два сухих выстрела, послышался конский топот, в дверь застучали. Хозяин бросился открывать и впустил в избу высокого человека в солдатской гимнастерке. Лицо его было в крови.

Рана оказалась поверхностной. Ее промыли и перевязали.

Человек этот был уездным продовольственным комиссаром. До него дошли сведения, что на мельницах в волости мельники нерадиво и преступно относятся к своим обязанностям. Он помчался на место, но по дороге был обстрелян и ранен.

Решили послать за мельниками, привести их сюда. До мельниц было неблизко, мельников привели уже далеко за полночь. При свете лучины, горевшей в светце на припечном столбе, видны были запачканные мукой рубахи.

Мельники что-то лопотали, отнекивались. Комиссар разговаривал с ними с нескрываемой яростью.

— Чтоб эти безобразия были немедленно прекращены,— говорил он.— Вы, мерзавцы, ходите своими грязными сапогами по муке, предназначенной истощенным рабочим, крестьянам и красноармейцам. Знайте, что вы оставлены здесь для помощи голодному народу и обязаны гореть на работе. Я заставлю вас учитывать каждую пылинку муки, к каждому зерну относиться с уважением. Вы сыты. Но если я замечу нечестное отношение к делу, будете выбивать свою одежду от мучной пыли и этим питаться!

Пока шел разговор с мельниками, начало светать. К избе подали подводы. Коммунисты, уходившие на фронт, стали собираться.

Они попрощались с остающимися товарищами, потом стали обходить народ, прося прощения, если что не так сделали. Заиграл гармонист. Пора!

Нам Деникины не страшны,
Не пугают Колчаки,
Мы умеем превосходно
Держать сабли и штыки...

Последнюю ночь нашего похода мы провели в лесу. Ночь была очень темной. Еще темнее казалась она под листвой деревьев. Мы развели костер и лежали на земле, молча глядя в огонь.

...Полторы недели спустя в места, где пролегала наша «агитационная просека», врезался, сея смерть и разрушения, кавалерийский корпус деникинского генерала Мамонтова.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В один из первых дней августа мы подъезжали к Москве. Окна вагона были раскрыты, в них врывался ветер. Над городом ползла тяжелая гряда туч. С каждой минутой становилось темнее. Вот на мгновение блеснули золотые главы кремлевских соборов. Блеснули и скрылись, затянутые темной пеленой.

Наше отсутствие продолжалось около трех недель, но было такое чувство, словно прошли годы. Бегом по лужам бросились мы к себе, в «Свердловку». В общежитии было пусто, все ушли на практические занятия. Я побежала домой к маме, но встретила ее на лестнице. Она куда-то спешила, сунула мне ключ от квартиры, на ходу поцеловала меня, сказала, что отец в Москве и просит меня прийти к нему.

Главный штаб помещался в бывшем Александровском военном училище на Знаменке (ныне улица Фрунзе).

Пропуск мне был заказан. Я поднялась на второй этаж. Отец сидел в большой комнате за столом, заваленным бумагами. Позади него на стене была прикреплена карта с линиями фронта, обозначенными флажками.

Отец коротко рассказал о себе: он назначен членом Революционного военного совета республики, будет теперь работать в Москве. Потом спросил обо мне. Разговор наш часто прерывался телефонными звонками. В комнату никто не заходил, мы были все время вдвоем. Но вот в дверь постучали. Я, чтобы не мешать, быстро пересела в кресло, стоявшее в углу. Отец сказал: «Войдите».

В комнату вошел человек лет пятидесяти пяти. Его осанка и легкость, с какой он носил свое большое, грузное тело, выдавали кадрового военного. Волосы его начали редеть, густая черная борода казалась крашеной. На лице играла добродушнейшая, приветливейшая улыбка.

Этот человек сразу показался мне крайне неприятным. Не замеченная им, я враждебно следила за каждым его движением. Отец же, напротив, дружелюбно пожал ему руку, осведомился о здоровье, называл по имени-отчеству — Сергеем Алексеевичем, протягивал портсигар, предлагая папиросу.

Разговор между ними шел о перебросках военных частей. Этот Сергей Алексеевич предлагал снять с одного из фронтов значительные воинские соединения и перебросить на другой фронт. Отец соглашался, поддакивал; лицо его при этом стало, пожалуй, несколько глуповатым. Выслушав своего собеседника до конца, он попросил его еще раз повторить свои предложения и выдвинул ящик стола, чтобы взять лист бумаги и записать их.

Отец нагнул голову и пошарил рукой в ящике, что-то ища. Сергей Алексеевич глядел на него, думая, что его самого в эту минуту никто не видит. Что это был за взгляд! Сколько было в нем ненависти!

Все это продолжалось, быть может, секунду и исчезло, едва отец поднял голову.

— Слушаю вас,— сказал отец.

Сергей Алексеевич повторил свои предложения. Раскатисто распрощался, пошел к двери. Еще раз обернулся — улыбчивый, приветливый. Увидел любезную, снова чуть глуповатую улыбку отца.

Но как изменился отец, едва тот вышел! Каким тяжелым и сумрачным был тот долгий взгляд, которым он проводил своего посетителя.

— Кто это? — не утерпев, спросила я.

— Это? — Отец говорил, как человек, который возвращается из глубокого раздумья.— Это начальник оперативного отдела Главного штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии Кузнецов.

Интонация его показалась мне чем-то странной, но я промолчала.

Он помедлил. Поднял трубку. Попросил соединить с кабинетом Ленина. Сказал, что надо бы потолковать.

— Сейчас? — переспросил он.— Хорошо, Владимир Ильич. Дочка? Она у меня сидит. Прихвачу, прихвачу...

Вот, собственно, все. Два взгляда, как бы увиденных крупным планом. О том, что таилось за ними,— потом.

ВЕЧЕР В КРЕМЛЕ

Мы пришли в Кремль часу в десятом вечера. Владимир Ильич и Надежда Константиновна были у себя. Одеты они были по-домашнему: он — в стареньком пиджаке из альпага, она — в ситцевом платье в горошек.

Разговор отца с Владимиром Ильичем был сугубо секретный, и они ушли в другую комнату. Мы с Надеждой Константиновной остались на кухне. Она что-то чинила, я рассказывала, как жила все то время, что мы не виделись.

Потом Владимир Ильич и отец вернулись. «Ну и ну»,— сказал Владимир Ильич в дверях, оборотясь к отцу, и встряхнул головой, как бы желая что-то от себя отогнать. Он не сразу сел к столу, а прошелся по кухне, затем решительным движением повернул стул, уселся на него верхом и, положив руки на спинку, принялся расспрашивать отца о военных делах.

Разговор шел в быстром темпе. Владимир Ильич задавал односложные вопросы: кто? где? как? когда? сколько? Выслушивая ответы, часто поругивался, любимыми ругательными словечками его были: «болван полосатый», «рохля», «безрукий растяпа».

Сначала речь шла о положении на Южном фронте, которое внушало обоим собеседникам чрезвычайную тревогу. Потом заговорили о только что назначенном Главнокомандующим вооруженными силами республики Сергее Сергеевиче Каменеве.

— Он производит очень хорошее впечатление,— сказал Владимир Ильич.— Когда был у меня, развивал мысль, что в гражданской войне военные действия являются первым средством политики и политика с оружием в руках прокладывает себе дорогу. Интересное применение положения Клаузевица о войне, как продолжении политики, к условиям гражданской войны.

Владимир Ильич сделал паузу и добавил:

— Вот только имеется у наших военных специалистов, даже у лучших, воспитанная окопной войной склонность воевать для того, чтобы воевать, а не для того, чтобы побеждать. Но Каменев это понимает...

Потом заговорили о новых военачальниках и полководцах, выросших в ходе гражданской войны,— Блюхере, Азине, Чеверeве, Буденном.

Владимира Ильича живо интересовали народный ум и творческая импровизация, которые вкладывали эти военачальники в свое полководческое искусство.

Отец с увеличением рассказывал ему о том, как Буденный, конница которого тогда только что была создана,

водил по степным просторам свои полки. Как он описывал круги и восьмерки и держал своих людей и коней накормленными и напоенными, а преследовавшего его противника — голодным и без воды. Как сам делал переходы ночью, по холодку, а противника принуждал двигаться днем, по солнцепеку.

Много рассказывал отец Владимиру Ильичу о рано погибшем Александре Михайловиче Чевереве, которого близко знал.

Рабочий-деревообделочник, член партии с 1908 года, Чеверев во время наших тяжелых поражений на Восточном фронте в 1918 году сумел пробиться из Уфы со своим отрядом через расположение противника и соединиться с нашими войсками.

Примечательно, что Чеверев на небольшом опыте командования двухтысячным отрядом почувствовал своим пролетарским инстинктом ахиллесову пяту партизанщины и понял, что без знаний командовать нельзя. Он неоднократно приходил в штаб 2-й армии и беседовал с членом Реввоенсовета армии Шориным и Гусевым.

— Главная беда,— частенько повторял он,— что не знаем, как командовать. Во фланг? А как ударить во фланг — этого-то и не знаем. Эх, если б подучиться немного, всю бы эту сволочь живо расколотили! Учиться, учиться надо!

Он внимательно прислушивался к каждому указанию, и в ближайших же боях обнаружилось, каким способным учеником он был. Полк Чеверева оказался самым стойким из всех, наступавших на Ижевск. После окончания Ижевско-Воткинской операции он добился посылки в Академию Генерального штаба, но, не проучившись и двух месяцев, сбежал от царившей там мертвящей схоластики преподавания.

— Артиллерию начинают с персидской и греческой катапульты,— жаловался он Гусеву.— На черта мне эта катапульта, ежели гражданская война разгорается с каждым днем? Дьявол их забери вместе с их катапультой!

Потом разговор перешел на новые формы борьбы, созданные благодаря особым качествам нового, революционного солдата и нового командира в условиях новой армии, ведущей гражданскую войну.

Поговорить тут было о чем! Народ, создающий свою армию, вложил в это дело все свое золотое умение. Это он породил знаменитую пулеметную тачанку. Это он, когда не хватало оборудованных бронепоездов, устанавливал на товарные платформы орудия и пулеметы, заменял броню мешками с песком и, дав такому составу звучное имя: «Ленинец», «Молния», «Борец», «Смерть белым», превращал его в бронепоезд, способный к бою.

Отец рассказывал Владимиру Ильичу, как во время наступления на Уфу наши части вышли на берег реки Белой. Никаких технических средств для переправы не было. Реку пришлось форсировать на лодках, кавалерия переправлялась вплавь. Темп операции сильно замедлился. В это время к командованию явился рядовой красноармеец, сказал, что он плотник и берется навести переправу с помощью пустых бочек и досок, почти без гвоздей. Несмотря на быстрое течение реки и огонь противника, переправа была наведена и оставшиеся части и обозы переброшены на другой берег.

Так, за разговорами, прошел вечер. Пора уже было уходить. Но тут Владимир Ильич, лукаво посмотрев на Надежду Константиновну (разрешит?.. не разрешит?..), сказал:

— А что, Сергей Иванович, если нам воспользоваться тем, что вы здесь и работать все равно уже не будете, и позвать сюда Красикова и немножко помузицировать?

Надежда Константиновна разрешила. Позвонили Красикову — это был один из деятельных участников женевской группы большевиков в эпоху II съезда партии. Жил он в Кремле и минут пять спустя пришел со своей скрипкой.

С его приходом все переменилось. Он вошел, напевая какую-то французскую песенку. Отец подхватил. Владимир Ильич и Надежда Константиновна переглянулись, расхохотались — видимо, эта песенка напомнила им что-то смешное. И вдруг они все четверо наперебой заговорили о Женеве, о Мартове и Плеханове, о спорах в эмигрантской столовке на Рю Каруж, о времени страстной борьбы с меньшевиками после II съезда партии, изобиловавшей, как и всякая такая борьба, массой всяческих перипетий — и трагических и комических.

Из их разговора я поняла, пожалуй, только одну забавную историю, которая произошла с одним из русских

социал-демократов в день его приезда из России в Женеву.

Отправляясь за границу, этот товарищ приобрел самоучитель французского языка. Перелистывая его, он узнал, что буква «е» на конце слов во французском языке не выговаривается. Потом он нашел личное местоимение «я» — по-французски «je», но не обратил внимание на то, что оно произносится «жё», и решил, что его надо произносить «ж».

В Женеве он снял комнату в старой части города, в одном из тех узких высоких домов, каждый этаж которых состоит из одной комнаты, и квартира представляет собой несколько этажей.

Оставив там вещи, он отправился на явку и весь день посвятил изучению внутрипартийных разногласий. Домой вернулся поздно, хозяева уже спали. Он постучал дверным молотком. Окно на верхнем этаже раскрылось, в нем появилась голова в ночном чепце и произнесла:

— Qui est ça? [1]

— Жжжжжж,— ответил он.

— Qui est ça? — снова послышалось сверху.

— Жжжжжж,— снова прозвучало в ответ.

Так он стоял и жужжал, пока окошко не захлопнулось. Ночевать ему пришлось на скамейке в городском саду.

Надежда Константиновна предложила перейти в ее комнату. Владимир Ильич сел на диван, Надежда Константиновна — рядом с ним.

Красиков поднял смычок и вопросительно посмотрел на отца. Тот утвердительно кивнул, и Красиков начал играть вступление к опере «Паяцы».

Владимир Ильич сидел, откинувшись назад и прикрыв глаза левой рукой. Видно было, что он весь ушел в слух. Скрипка не могла, разумеется, передать многоголосое звучание оркестра. Но Красиков неплохо ею владел, а главное — все так изголодались по музыке, что не могли не испытывать наслаждения.

В том месте, где раздвигается занавес и на сцену выходит актер, исполняющий партию «Пролога», зазвучал голос моего отца.

---

[1] Кто это? *(франц.)*.

Я уже не раз слышала и от мамы, и от товарищей отца рассказы о его голосе — о том, как Фигнер предложил ему сделаться солистом Мариинского театра, как шумное пение отца во время II съезда партии послужило причиной переноса заседаний съезда из Брюсселя в Лондон. Рассказывали, что, когда отец был в ссылке в Березове, его пение было слышно с одного берега широкой Сотьвы на другом.

В тот вечер у Владимира Ильича он пел негромко, в четверть голоса. Теперь Владимир Ильич сцепил руки и сидел, слегка нагнувшись вперед. В открытое окно видно было звездное ночное небо. Голос отца то усиливался, то становился глуше.

Так он провел всю партию. Оставалась лишь одна фраза, последняя фраза. И тут отец не сдержался. Он вскочил, сделал шаг вперед, протянул к Владимиру Ильичу обе руки и взволнованно пропел в полную силу:

— Итак, мы начинаем!

Был в этом такой порыв, такая глубина чувства и мысли, что и для слушателей и для певца «Пролог» прозвучал не как пролог к рассказу о трагической судьбе семьи паяцев, а как совсем иной пролог к совсем иным событиям, которые переживала тогда великая русская революция.

ИСТОРИЯ С ДОМОМ СОЮЗОВ

Десятого августа Деникин, воспользовавшись тем, что один из участков нашего Южного фронта на Новохоперском направлении оказался открытым, бросил в прорыв казачий корпус генерала Мамонтова численностью до десяти тысяч сабель. Мамонтовцы ворвались в Тамбов, под колокольный звон уничтожили памятник Карлу Марксу, устроили еврейский погром, убивали и вешали евреев, рабочих, коммунистов.

Подоспевшие красноармейские части стремительным ударом освободили город от мамонтовцев. Уже в первых столкновениях выявилось, что мамонтовцы уклоняются от боя, уходят глубже в советский тыл, по пути расстреливая рабочих, бедняков, семьи коммунистов и красноармейцев, насилуя женщин, грабя население, угоняя скот и лошадей, взрывая мосты, обрывая провода, сжигая и разбивая паровозы и вагоны.

Посылая Мамонтова в рейд, Деникин думал посеять панику в нашем тылу и рассчитывал, что такая организованная контрреволюционная сила сплотит дезертиров, кулацкие и несознательные элементы деревни и поднимет пожар крестьянской войны против большевиков.

Ни то, ни другое не вышло.

Разорванный мамонтовской конницей Южный фронт, пропустив ее, вновь соединился и продолжал свои боевые операции. Что до крестьянства, то из уездов, где побывал Мамонтов, шли известия, что оно не только не поддержало белых, но начало самостоятельно подниматься на борьбу против них, создавая отряды, вооруженные винтовками, обрезами, вилами, топорами.

Но хотя деникинский расчет не удался, удар был тяжелым, очень тяжелым. По тамбовским, пензенским, рязанским, тульским, воронежским лесам и полям мчалась озверелая белогвардейская орда, налетала на села и города, все грабя, все сжигая, все уничтожая. Подвоз хлеба к Москве и пролетарским центрам снова резко сократился. Вместе с приближением белых подняла голову внутренняя контрреволюция.

Примерно в эти дни мы с членом нашего районного комитета партии Петром Лазаревичем Войковым (будущим советским послом в Польше, убитым рукою врага) после целого дня беготни, в перерыве между двумя заседаниями, зашли в «Кафе поэтов» на Тверской, где за фантастическую цену можно было купить булочку и выпить стакан коричневой бурды с сахарином.

За одним столиком с нами оказался какой-то тип — явно буржуй. Его бритая физиономия выражала чувство сытости и ленивое желание поболтать для улучшения пищеварения.

Он сам завязал разговор с Войковым. Я не поверила бы своей памяти, что такой разговор был возможен, если б Войков тогда же не записал его.

— Всякая практика имеет свою философию,— сказал буржуй, вытягивая ноги и усаживаясь поудобнее.— Возьмите, например, мою специальность...

Он вынул из кармана сигару и с наслаждением ее закурил.

— Я, можно сказать, не сею, не жну, а собираю в житницу... Купить и продать — это не то что черкнуть резо-

люцию или декрет составить какой-нибудь. Купля-продажа — это вдохновение, это все равно что стихи писать. Тут дело не в расчете: столько-то нажить, за столько-то продать. Тут дело в ударе... Конечно, есть покупка и покупка. Возьмем пример. Вот вчера я купил сигары, несколько ящиков, тысяча рублей дюжина. Что это было: вдохновение или расчет? Конечно, расчет. Ибо я знал, что завтра у меня их купят по тысяче двести рублей...

Он затянулся своей сторублевой сигарой и, выпустив клуб голубого дыма, мечтательно, с видом опытного прожигателя жизни, посмотрел на то, как он расходится.

— А вот,— продолжал он,— другой пример. Три недели тому назад я купил за два миллиона сто тысяч рублей московский Дом Союзов. Вот это я называю вдохновением!

Войков прямо оторопел.

— Вы купили Дом Союзов? — спросил он, не скрывая изумления.

Его собеседник засмеялся.

— Вас это удивляет? Да, я его купил.

Мы с Войковым не верили своим ушам.

— Вы говорите о Доме Союзов, что в Охотном ряду?

— О нем самом. Я его купил, и, по-моему, купил за безделицу.

— Но позвольте,— сказал Войков.— Как же вы его купили?

Буржуй улыбнулся с насмешливой снисходительностью.

— Вы, мой милый, не в курсе дела,— сказал он.— Неужели вы не знаете, что в Москве можно купить дом так же, как в доброе старое время? Не думайте, что я шучу: за последние месяцы все, что мне удается заработать, я вкладываю почти исключительно в дома. У меня уже восемь домов в Москве и два дома в Петрограде.

— Но кому же вы вносите деньги? — спросил Войков.

— О, во всяком случае, не Московскому Совету,— ответил тот.— Я вношу их законным владельцам, то есть тем, кто имеет на эти дома купчие крепости. Цены на дома растут сейчас день ото дня, с быстротой прямо сказочной!

— Но на что же вы рассчитываете?— спросил Войков.

— А как вы думаете? — вопросом на вопрос ответил буржуй.

ТВЕРСКАЯ, ДОМ 38

Как-то вечером нас вызвали в райком партии. На эту ночь все члены партии Городского и Краснопресненского районов были мобилизованы для проведения массовой облавы в центральных кварталах Москвы. По улицам расхаживали усиленные патрули. У ворот и парадных дежурили посты. В квартирах, на чердаках и в подвалах проводились сплошные обыски.

Прежде чем приступить к делу, участников облавы собрали во дворе дома на Рождественском бульваре, где помещались районный комитет партии и штаб Отряда особого назначения. Член коллегии ВЧК Мартын Янович Лацис обратился к присутствующим с напутственным словом.

Он говорил о том, что за последнее время произошло множество случаев предательства, измены, шпионажа, перехода на сторону врага. За всем этим угадывается широкий контрреволюционный заговор.

Недавний случай предательства и измены на Красной Горке и на Карельском участке Северного фронта, заговор в Петрограде, о раскрытии которого сообщалось в газетах,— все это звенья одной цепи.

Пока какой-нибудь пункт еще далеко от боевой линии, заговорщики сидят притаившись, как клопы в щели. Но стоит линии фронта приблизиться, как местные белогвардейцы оказываются прекрасно вооруженными и стреляют нам в спину из окон и подворотен, подымают контрреволюционные мятежи, убивают наших людей.

Поэтому сейчас, когда Деникин рвется к Москве, а по нашим тылам гуляет казачий корпус Мамонтова, мы должны принять предупредительные меры, вроде массовой облавы, которая проводится этой ночью. Каждый дом, каждый двор, каждый сарай, чердак и подвал, каждая квартира должны быть обысканы. У нас должна быть уверенность, что в столице нет потайных складов оружия и взрывчатых веществ; что в укромных уголках не скапливаются белогвардейские молодчики, которые выступят по данному им сигналу; что где-то на задворках не работает подпольная типография, печатающая контрреволюционные листки; что в гаражах не стоят автомобили, предназначенные для обслуживания мятежников.

Группе, в которую я входила, был поручен один из самых скверных в Москве домов — Тверская, дом 38.

Он и сейчас стоит на том же месте, этот дом, только номер стал меньше, после того как снесли мелкие строения в нижней части улицы, и тесная Тверская стала широкой, просторной улицей Горького. Внешне он не так уж изменился. Ну, конечно, покрасили фасад, в витринах магазинов вместо плакатов ликбеза «Мы не бары! Мы не рабы!» и муляжей на предмет антирелигиозной пропаганды сейчас сверкают изделия «Ювелирторга» и синтетической химии. Да, дом остался тем же. И трудно поэтому представить его себе таким, каким он был в девятнадцатом году — с его загаженными лестницами, темными переходами, зловонными дворами, тупиками, подвалами, а главное — с квартирами, кишащими контрреволюционными офицерами, дезертирами, валютчиками, налетчиками, кокаинистами и прочим преступным сбродом, вкрапленным в тину обывателей и «бывших» людей.

При облаве дом был разбит на отсеки: лестница, выходящие на нее квартиры, подвал, чердак. Мы начали с чердака и подвала. В подвале ничего не нашли. На чердаке обнаружили две шашки полицейского образца (те, что когда-то звались «селедками»), жестяную банку с винтовочными патронами, ствол пулемета «Льюис», несколько пар штабс-капитанских погон, два офицерских нагана. Все это было тщательно запрятано под досками чердачного перекрытия.

Потом приступили к квартирам. Электрических звонков тогда почти не существовало. Звонили, дергая за деревянную ручку, присоединенную к колокольчику за дверью. Колокольчик звенел, несколько времени спустя слышались осторожные шлепающие шаги, вопрос: «Кто там?» Лишь после настоятельных просьб приоткрывалась дверь — сначала на цепочке. Перед нами возникали причудливые фигуры: дамы в капотах, с бумажными папильотками, торчащими из-под ночных чепцов; бледные, дрожащие господа в шлафроках и ермолках; истерически всхлипывающие девицы; молодые люди, глядевшие на нас злобно-надменными глазами.

Обычно тот, кто открывал, уже с порога начинал заверять, что он — беспартийный: «беспартийный, стоящий на платформе Советской власти», «беспартийный безработный», «беспартийный революционер девятьсот пятого года», «беспартийный интеллигент», «беспартийная жертва

царского режима». У этих «беспартийных» неизменно оказывалось множество продуктов: мешочки с крупой, пахнущей мышиным пометом, кулечки, узелки, жестяные банки, набитые полусгнившими припасами. Словно по уговору, золото, иностранную валюту и драгоценности эти «беспартийные» прятали в рваных, нестираных чулках и носках; документы и царские ордена — в мешочках с крупой; револьверы, бомбы и холодное оружие — под половицами; дезертиров и подозрительных господ с офицерской выправкой — в кухонных шкафах и комнатах для прислуги.

Уже под утро мы оказались перед дверью на четвертом этаже. Позвонили. Послышались тяжелые шаги. Дверь сразу распахнулась. На пороге стоял чернявый парень в матросской тельняшке. Насупившись и подняв левую бровь, он исподлобья посмотрел на нас: «Вам чего?»

И тут, на беду, появился товарищ Хачин. Красивый товарищ Хачин, белокурый товарищ Хачин, красноречивый, очень красноречивый товарищ Хачин.

Этого товарища Хачина я знала еще по Питеру. Да и кто его не знал? Он был всюду и везде, непременно на виду, непременно на первом месте. Но странное дело: когда он появлялся в какой-нибудь новой организации, его сначала выбирали председателем, потом он оставался только членом комитета, а на очередных перевыборах его непременно проваливали.

Потом, уже в Москве, я не раз встречала товарища Хачина, который выныривал откуда-то, всегда в каком-нибудь новом амплуа. И вот сегодня я встретила его в штабе Отряда особого назначения, затянутого и перетянутого скрипящими новенькими ремнями, чем-то командующего и распоряжающегося. А сейчас он неожиданно возник перед нами и начальственно заявил, что эту квартиру, к проверке которой мы должны были приступить, он берет на себя.

Он вошел в нее с двумя понятыми, а мы позвонили в квартиру напротив. Там никто не ответил. Позвонили еще и еще. По-прежнему гробовая тишина. Взломали дверь. В квартире никто не жил, но лежали навалом груды всякой одежды, стояли мешки с мукой и ящики консервов. Ясно было, что здесь находится то ли воровская «малина», то ли склад шайки спекулянтов, а скорее всего — база какой-то контрреволюционной организации.

Мужчины стали выстукивать стены и проверять полы,

а мне делать было нечего, и я вышла на площадку. От всего увиденного меня мутило. Я раскрыла окно лестничной клетки и с тоской смотрела на серое предрассветное небо.

Тут я услышала голос товарища Хачина.

— Именно так и я ставлю вопрос,— восклицал он.— Именно волнительное извержение лавинообразных метафор...

Товарищ Хачин появился на площадке. Вместе с ним шел человек в фуражке с красноармейской звездой. У этого человека было тонкое, красивое лицо с пустыми холодными глазами.

Увидев меня, товарищ Хачин шумно обрадовался.

— Представь себе,— закричал он,— мы с товарищем независимо друг от друга пришли к совершенно совпадающим представлениям по вопросу о задачах поэзии в настоящую эпоху! Поэзия должна быть вулканична, в то же время в ней должна звучать тема взлета. И именно в этом взлето-вулканизме...

Продолжая разглагольствовать, товарищ Хачин стал спускаться по лестнице. Человек в красноармейской фуражке шел следом за ним. У этого человека был засунут под мышку сверток в газетной бумаге, перевязанный тонким шпагатом.

Эх, товарищ Хачин, товарищ Хачин! Был бы ты хоть немножко поумнее, какое страшное несчастье, быть может, удалось бы предотвратить!

В штаб Отряда особого назначения мы вернулись к утру. Во дворе были расставлены столы. За каждым сидел член штаба с помощником и принимал арестованных и вещи, изъятые при облаве.

Присев на какой-то ящик, я прислушивалась к разговору, шедшему за столом рядом со мной.

— Так, так,— приговаривал член штаба, слушая то, что ему говорил голубоглазый парнишка с винтовкой.— Давай сюда бумагу. «Препровождается гражданин Антон Устинович в революционный штаб. Личность гражданина Устиновича можно характеризовать только как темную, произносящую самые ругательные и невыразимые слова по адресу Советской власти». Ну, что ж, отведи эту личность в арестное помещение, потом разберемся... Следующий! «Обнаружено шестьдесят золотых монет царской чеканки и золотой ошейник, который хозяйка называет

собачьим именем «кулон», а также очень много разных вещей, которые невозможно описать, нужно время полную неделю...» Так, так... Следующий. «Изъято оружие: винтовки разные, сабли, тесаки, военный бинокль, револьверы, палатка, брюки офицерские, шинели офицерские, седла кавалерийские, кобуры, порох, патроны винтовочные, ленты пулеметные...» Следующий! «Когда мы зашли и я назвал его по привычке «товарищ», он отказался принять слово «товарищ», отвечая, какой я тебе товарищ, разве только по веревочной петле. Я подозреваю в нем крашеного белогвардейца...» Так, так... Следующий! «Проживают женщины, а вещи оказались мужские... Открыв шкаф, мы обнаружили в нем неизвестного гражданина, при котором не оказалось документов, но оказался револьвер системы «наган» и денег триста одиннадцать тысяч двести семьдесят четыре рубля одиннадцать копеек, каковые препровождаются...»



Но все это была мелочь. Главным результатом этой ночи была подпольная эсеровская типография, обнаруженная в заднем помещении какого-то «Кооперативного объединения». В типографии стояли четыре плоскопечатные машины. Тут же лежал готовый набор очередного номера подпольной антисоветской газеты под невинным названием «Голос больного красноармейца», а также несколько десятков тысяч контрреволюционных листовок.

Отобранные листовки, связанные пачками, были сложены во дворе. Рядом с ними прямо в кучу были свалены узкие длинные полосы бумаги, на которых крупным жирным черным шрифтом набрано было только два слова: «Долой коммунистов!»

ВЗРЫВ

В течение сентября положение на юге становилось все более грозным. Контрнаступление Красной Армии, предпринятое в середине августа, окончилось неудачей. Противник по-прежнему держал в своих руках инициативу боевых действий. Сосредоточив в районе Белгорода ударный кулак, он рвался к Москве. Каждый день приносил известия о новых поражениях наших армий, о новых успехах армий Деникина.

Возле щитов, на которых вывешивались военные сводки РОСТА, постоянно толпился народ. Как-то, проходя мимо такого щита на Страстной площади, я увидела несколько ухмыляющихся рож. Одна из них, выставив растопыренную пятерню, загибала пальцы, приговаривая:

— Кладем недельку до Курска... Недельку до Орла... Считаем еще деньков с пяток до Тулы... А там, через недельку, и к нам в Белокаменную пожалуют-с.

— Про ягоду говорит, а и цвету не видел,— сказал в толпе злой голос.

— Это ли не цвет? — осклабилась рожа, тыча в сводку пальцем.— Ай да цвет, милок! Цвет на весь свет!

Впрочем, так рассуждала не одна эта рожа. Как сообщала шведская печать, «выступивший на последнем съезде консервативной партии английский военный министр Черчилль информировал партийный съезд о подготовляемом Антантой смертоносном ударе по русской революции. После сосредоточения всевозможных военных припасов вдоль всех границ Советской России начнется наступление на Москву армий четырнадцати государств. Это наступление должно начаться в конце августа или в начале сентября... По расчетам Черчилля, Петроград должен пасть в сентябре, а Москва к рождеству. Далее, впредь до окончания усмирительной работы в стране, Россией будет управлять смешанная комиссия под военной диктатурой...».

Но это не все!

Двадцать третьего сентября московские газеты вышли с огромными шапками:

РАБОЧИЕ!
КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ И ВОЛЧЬИ СТАИ
ДЕНИКИНА ДЕЛАЮТ ОТЧАЯННЫЕ УСИЛИЯ
ПРОРВАТЬСЯ К НАШИМ ЦЕНТРАМ!

ЗАГОВОРЩИКИ И ШПИОНЫ В ТЫЛУ
ТЯНУТ СВОИ КРОВАВЫЕ РУКИ ИМ НАВСТРЕЧУ,
ЗАНОСЯ ТОПОР НАД ГОЛОВОЙ ГОЛОДНЫХ
РАБОЧИХ!
НА ЧАСЫ, ПРОЛЕТАРИЙ!
МЫ РАЗГРОМИМ ШПИОНОВ И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
В МОСКВЕ, ИСТРЕБИМ ИХ НА ФРОНТЕ!

Дальше шло сообщение ВЧК о раскрытии заговора «Национального центра». В нем подробно рассказывалось о деятельности этой контрреволюционной организации, большинство участников которой было поймано с поличным — с приказами и инструкциями Деникина, шифрованными записями, адресами участников и оружием.

Список членов «Национального центра» разоблачал лицо российской контрреволюции. В нем были домовладельцы и заводчики, помещики и бароны, кадеты, меньшевики, монархисты.

В этой компании оказался и Кузнецов Сергей Алексеевич — тот самый начальник оперативного отдела Главного штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, которого я так недавно видела в кабинете своего отца в Реввоенсовете республики. Какого высокого полета была эта птица, можно судить хотя бы по тому, что после ареста Кузнецова Деникин по радио предъявил ультиматум, требуя немедленно его освободить. Нужно было быть такой дубиной, как Антон Иванович Деникин, чтобы предъявить подобный ультиматум!

А ты знал тогда, что Кузнецов шпион? — спросила я отца.

— Нет. Но чувствовал неладное,— ответил он.

— Почему же ты его не арестовал?

— Я поступил умнее. Я прикинулся дураком.

Заговорщики решили выступить в конце сентября. Их целью было захватить Москву, завладеть радиостанцией и телеграфом, оповестить фронты о падении Советской власти, вызвать панику и разложение в рядах Красной Армии, открыть Деникину прямую дорогу на Москву.

Уже готовы были склады оружия. Уже стянуты в Москву преданные заговорщикам офицеры. Уже отпечатаны в подпольных типографиях приказы, которые долж-

на была объявить Добровольческая армия, как только вступит в Москву: «За малейшее сопротивление — расстрел на месте!» Уже на карте Москвы был размечен подробный план военных действий мятежников.

В письме Деникину глава заговора кадет Н. Н. Щепкин давал политические директивы с лозунгами, которые он советовал выдвинуть белым при вступлении в Москву.

«Советы падут сами собой,— писал он,— если мы проведем главное: *поголовное уничтожение коммунистов!»*

Уничтожение коммунистов! Через два дня после раскрытия заговора «Национального центра» мы увидели, как они это думали делать!

Все члены партии были мобилизованы. Одни переведены на казарменное положение; другие брошены на фабрики, заводы, в красноармейские казармы для разъяснительной работы в связи с раскрытием белогвардейского заговора. Все было подчинено одной цели, сформулированной Лениным в письме Центрального Комитета Коммунистической партии: «Советская республика осаждена врагом. Она должна быть *единым военным лагерем* не на словах, а на деле».

Но при всем этом, когда тебе нет еще восемнадцати лет, вдруг выясняется, что как ни волнуют тебя вопросы борьбы с Деникиным, но обсуждение этих вопросов с неким товарищем представляет для тебя особый, необычный интерес; что после целого дня беготни, выступлений, военных занятий ты не прочь просидеть до утра на скамейке Тверского бульвара и всю ночь проговорить все с тем же товарищем — разумеется, только о борьбе против Деникина, и ни о чем другом, упаси бог!

Вечером 25 сентября я должна была присутствовать на созванном Московским комитетом партии собрании лекторов, агитаторов и представителей районных комитетов партии. На нем предполагалось выработать план работы районных партийных школ, а также обменяться мнениями по вопросу о постановке агитации.

Товарищ, о котором шла речь выше, на это собрание прийти не мог, так как выступал где-то на предприятии. Но мы условились встретиться в девять часов вечера у памятника Пушкину.

Московский комитет партии помещался тогда в Леонтьевском переулке (ныне улица Станиславского) в особняке графини Уваровой. После революции этот особняк был захвачен анархистами. Затем, после разоружения анархистов, его заняли левые эсеры, а после левоэсеровского мятежа в него перешел Московский комитет партии большевиков.

Собрание, назначенное на шесть часов вечера, началось с небольшим опозданием. На нем присутствовало много людей блестящего ума и остроумия, и оно, как и все такие собрания, шло весело, живо, с шутками и смехом. В небольшом зале набилось человек двести. Было жарко. Окна в сад, прилегающий к Чернышеву переулку, были открыты.

Я и слушала и посматривала на часы. Часовая стрелка уже переваливала за восьмерку, а собрание еще не кончилось. Я решила пробраться к выходной двери и встала там среди курильщиков, которые, слушая ораторов, попыхивали папиросами и выпускали дым в соседнюю комнату.

В эту минуту Михаил Николаевич Покровский рассказывал что-то очень смешное, и весь зал громко хохотал. Я почувствовала, что кто-то меня слегка толкнул. Это был Владимир Михайлович Загорский. Он опоздал, видно, торопился, бежал по лестнице, дышал тяжело, на лбу выступили крупные капли пота. Осторожно ступая, он вошел в зал, чтобы пройти к президиуму.

Покровский кончил. Александр Федорович Мясников, ведший собрание, прогремел колокольчиком и сказал:

— Итак, товарищи, ставлю на голосование план работы райпартшкол, с учетом внесенных поправок. Кто...

«Успею»,— обрадовалась я, поднимая руку «за» раньше, чем Мясников приступил к голосованию.

И тут у крайнего окна, если смотреть от президиума, послышался странный звук, в зал влетел какой-то тяжелый предмет, упал на самой середине, раздался небольшой взрыв, потом этот предмет завертелся на полу и стал громко шипеть.

Все вскочили. Сидевшие посреди зала шарахнулись в сторону, кто-то вскрикнул. Но голос Загорского перекрыл шум.

— Спокойно, товарищи,— закричал он.— Не бойтесь! Не поднимайте паники!

Последнее, что я слышала и видела, был этот голос и фигура Загорского в ту секунду, когда он бросился вперед, к бомбе, и схватил ее, чтобы выкинуть в окно. Тут раздался взрыв. Меня швырнуло. На какое-то время я то ли потеряла сознание, то ли просто утратила способность соображать. Когда я пришла в себя, стены, выходившей в сад, не было; в проломе виднелась крыша, свисавшая сверху. Все стекла были выбиты, часть оконных рам вырвана, мебель разбита в щепы, пол и стены забрызганы кровью.

Смутно помню я то, что было потом: стоны раненых, тела убитых, искаженные отчаянием лица товарищей, склонившихся над останками Владимира Михайловича Загорского.

Три дня спустя московский пролетариат хоронил погибших. В Колонном зале Дома Союзов было установлено десять гробов, обитых красной и черной материей. Звучал похоронный марш. На лентах венков было начертано: «Убийство вождей пролетариата не остановит революционной борьбы. Вы убиты — вы живы!»

Но кто же были убийцы?

Взрыв в Леонтьевском переулке произошел через два дня после опубликования сообщения ВЧК о раскрытии заговора «Национального центра». Первой мыслью поэтому было: взрыв — дело еще не пойманных белогвардейцев.

Даже когда появилось нелегально напечатанное «Извещение Всероссийского повстанческого комитета революционных партизан», в котором заявлялось, что бомба в Леонтьевском брошена «анархистами подполья», это сочли белогвардейской провокацией.

Но прошло несколько дней — и в руки ВЧК попало письмо одного из анархистов, неоспоримо свидетельствовавшее, что взрыв был совершен именно анархистами при участии левых эсеров.

Весь октябрь прошел в полной драматических эпизодов борьбе чекистских органов против анархистского подполья. Сначала была установлена явочная квартира анархистов в Москве. В ней произвели внезапный обыск и нашли оружие, списки членов организации, инструмен-

ты для взлома несгораемых шкафов, большие денежные суммы.

На основе этих данных были проведены аресты боевиков, из которых ни один не сдался без вооруженного сопротивления. Во время такого вооруженного сопротивления был убит видный организатор анархистского подполья Соболев; это он, забравшись на балкон, бросил бомбу в Леонтьевском переулке.

Фотография Соболева была опубликована. Едва взглянув на нее, я узнала «вулкановзлетного поэта», который обвел вокруг пальца красноречивого товарища Хачина.

В тот момент, когда Деникин, овладев Курском, двигался к Орлу; когда еще не просохла земля на могилах жертв взрыва в Леонтьевском переулке; когда контрреволюционеры всех мастей и оттенков готовили массовую бойню против авангарда рабочего класса, Центральный Комитет партии объявил «партийную неделю» и обратился ко всем трудящимся с призывом вступать в ряды Российской Коммунистической партии.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ КОММУНИСТА

Я жила тогда с отцом в гостинице военного ведомства. Гостиница была старинная, и название у нее было старомосковское: «Лоскутная». Находилась она в самом начале Тверской, там, где теперь расстилается просторная Манежная площадь. В том самом номере, который занимал отец, когда-то останавливался, приезжая в Москву, Лев Толстой.

Здание гостиницы было приземистое, толстой каменной кладки. На второй этаж вела широкая лестница со стершимися от времени узорчатыми чугунными ступенями. Дальше шли узкие коридоры с поворотами, тупиками, переходами. Отопление было воздушное: в стенах выложены были кирпичные борова, по которым горячий воздух из котельной должен был поступать в номера. Котельную давно уже не топили, в боровах поселились крысы. Когда мы варили у себя в номере кашу, они визжали и грызли железную заслонку, прикрывавшую отдушину отопления.

Постояльцами «Лоскутной» были преимущественно командированные: шумные матросы, усталые политруки, звенящие шпорами кавалеристы. Население это было текучее: появлялось на день, на два — и исчезало.

Мы с отцом приходили домой только поужинать и переночевать. Тот, кто являлся первым, разжигал примус, ставил на него кастрюлю с водой и засыпал смесь из пшенной, ячневой и гречневой крупы, которую где-то выдали отцу. Крупы были перемешаны неравномерно — и у нашей каши каждый раз был новый, своеобразный вкус. Звали мы эту кашу «пестрой».

Как-то, когда мы только что уселись за кашу, в дверь постучали, и в номер вошли незнакомый нам военный и коридорная горничная Агаша.

Была Агаша милым веснушчатым существом, похожим на голубенький ситчик. Ходила всегда в одном и том же платье и веревочных туфлях. В отличие от остальной гостиничной прислуги, которая вздыхала о прежних господах, презирая теперешних «хамов», Агаша была со всеми приветлива и услужлива.

Военный попросил у моего отца разрешения изложить дело, которое привело его к нам, и со многими подробностями и отступлениями изложил его суть.

Он был командирован из прифронтовой полосы в Москву вместе с неким товарищем Брюшковым. Оказалось, у этого товарища Брюшкова и в Симбирске, и в Сызрани, и в Москве, и почитай в каждом городе Советской России имеются барышни, потому что, как говорит товарищ Брюшков, «в Тулу со своим самоваром не ездят». Когда они приехали в Москву, товарищ Брюшков захворал, и во время болезни его выхаживала коридорная горничная Агаша и полюбила его, а теперь он, Брюшков, поправился и уходит к своей московской барышне, с которой путается еще с царской войны. И вот военный решил привести Агашу к товарищу члену Реввоенсовета республики, чтобы тот вмешался в этот позор: ведь товарищ Брюшков, который носит красноармейскую звезду, ведет себя по отношению к женщине, как золотопогонный офицер...

— Они сказали мне, что они холостые и у них никого нету,— тихо проговорила Агаша.— И я поверила им, потому что знала, что они партийные, и думала, что в партийных могут состоять только честные.

«В партийных могут состоять только честные...» В этих словах простой девушки бессознательно выразилось огромное доверие к Коммунистической партии со стороны народа.

Российский пролетариат уже на протяжении двух десятилетий знал эту партию. Под ее знаменами он пошел на штурм крепостей капитала и два года бился с врагами. Но в последние, такие трудные месяцы он как бы в особенном, новом свете увидел большевистскую партию и ее подвиг.

Помню, на Прохоровке выступал рабочий-ткач, которому машиной оторвало руку.

— Великая, товарищи, ответственность, которую взяли на себя коммунисты,— говорил он.— Великая ответственность, а взяли они ее на себя. По своей по доброй воле взяли и несут, не сгибаясь, не падая, а наоборот — смело и гордо смотря вперед.

Прижав к груди пустой рукав, он поклонился в землю:

— И я, товарищи, говорю, что мне перед вами, перед коммунистами, стыдно. Я как пролетарий считаю себя братом коммунистов и высказываю вам свое уважение...

Иногда разговор о партии переплетался с разговором о Советской власти, о хлебе, о гражданской войне. Но бывало и так, что тема партии и партийной морали становилась центральной, а то и единственной темой собрания. Кто является настоящим коммунистом? Как коммунист должен относиться к народу? Каким обязан он быть на работе и в личной жизни?

Где бы ни шел такой разговор, с образом настоящего коммуниста непременно связывался высокий идеал человека, отдавшего жизнь борьбе за народное счастье.

Сейчас это звучит как нечто само собой разумеющееся. Но надо вспомнить то время. Против нашей партии выступало целое полчище врагов — и эсеры, и меньшевики, и анархисты, и обыватели-шептуны, и церковники, и сектанты. Все они обливали ее потоками грязи и клеветы, кричали о «комиссародержавии», о «коммунистической монархии» и еще о тысяче таких вещей. Однако рабочий народ, чувствуя своим классовым инстинктом пролетария, где правда, сделал слово «коммунист» синонимом честности, мужества, благородства, служения правому делу.

В моем блокноте агитатора, куда я заносила услышанное на собраниях, было полно таких записей:

«Он коммунистический человек. Не подведет, не выдаст...»

«В ком я вижу истинного коммуниста? В самом честном, идейном, передовом работнике, принцип которого только справедливость, который дает жизни больше, чем берет от нее...»

«Будем, товарищи, действовать по-коммунистически: давайте сомкнемся вместе на борьбу, забудем на время нужду и все невзгоды во имя славного будущего. Сейчас и умереть не страшно, потому что умираем мы при сознании, что хотим жить по-человечески, с достоинством человека. Вступим в ряды таких борцов, которые забыли про все, про свою семью, а лишь защищают и берегут счастье всех угнетенных...»

Так в самой глубине народных масс рождалась тяга в ряды Коммунистической партии. Особенной силы достигла она после раскрытия заговора «Национального центра» и взрыва в Леонтьевском переулке.

В начале октября я уезжала из Москвы. Первое, что бросилось мне в глаза, когда, вернувшись, я вышла на Каланчевскую (ныне Комсомольская) площадь, было огромное кумачовое полотнище:

НЕ СДАДИМСЯ! ВЫДЕРЖИМ! ПОБЕДИМ!

Придя в «Свердловку», я сразу попала на партийное собрание. Было это к вечеру. Зал тонул в полумраке. Только в крайнем окне, позади докладчика, алело закатное небо.

Представитель Московского комитета партии Владимир Сорин коротко сказал о том, что целый ряд мобилизаций — на фронт, на транспорт, на продовольствие, на заготовку дров — вычерпал лучшие силы коммунистов Москвы, да и не только Москвы. Все наиболее развитые, энергичные, даже просто толковые коммунисты сражаются сейчас против Колчака и Деникина, преследуют Мамонтова, добывают хлеб в Уфимской губернии. Ячейки обезлюдели. Районы истощены. В таких крупнейших районах, как Сокольнический и Замоскворецкий, осталось меньше чем по тысячи членов партии, в Сущевско-

Марьинском — четыреста пять человек, а по всей московской организации — немногим больше десяти тысяч.

Между тем республика требует все новых и новых людей, новых коммунистов. Следовательно, нужно их найти, подготовить. Где их искать? В рабочем классе, среди красноармейцев, среди передовых крестьян. Каждый член партии обязан пойти в массы, отыскать там честных, стойких, сознательных людей, привести их в партию. Если каждый из нас завербует хотя бы одного человека, мы удвоим наши ряды.

Прямо с собрания мы отправились за путевками в районные комитеты партии. Народу там было — не пробьешься. Все время приходили люди за докладчиками, инструкциями, тезисами, литературой.

Мне довелось во время партийной недели побывать примерно на десятке собраний на заводах, фабриках, в железнодорожных мастерских, в воинских частях.

Одни из этих собраний шли в решительном, быстром темпе, перебивались смехом, шутками: уговаривать нас, мол, нечего, сами кого хочешь уговорим! Нередко они кончались решением вступить в партию поголовно — всем цехом, мастерской, ротой.

На других господствовало настроение глубокой, почти угрюмой задумчивости. Видно было, что людям нелегко. «Я на думах как на вилах стою»,— сказал один участник такого собрания.

Не все, конечно, изъявляли готовность вступить в партию. Были среди рабочих такие, которые говорили, что сейчас, дескать, слишком много партий, каждая тянет к себе, все между собой спорят и дерутся и никак не придут к согласию. А мы, мол, люди серые, чего нам лезть туда, в такое пекло?

Были и такие, которые сводили все к пробравшимся в партию шкурникам и авантюристам. А раз в партии такие личности сидят, то ему, оратору, делать там нечего и он предпочитает оставаться беспартийным.

Были, наконец, и такие, которые говорили, что борьба Коммунистической партии за освобождение трудящихся от капиталистического рабства очень трудна, она требует от члена партии огромного напряжения и жертв, и для него, выступающего, это не под силу.

— Вот я так прикидываю, что если мне в партию вступить, то хлеб на Сухаревке покупать будет зазорно,—

говорил один из таких рабочих.— А утроба набивки требует, карточкой ее не прокормишь...

Но лицо собрания определяли иные люди. Те, кто переживал сейчас самую чистую, самую светлую, самую вдохновенную минуту своей жизни.

Вот на ящике, который служит трибуной, стоит рабочий лет тридцати. Его бледное лицо, окаймленное редкой бородой, светится счастьем.

— Товарищи,— говорит он задыхающимся голосом.— У меня раньше в голове были черные мысли. Я думал: вот, дескать, я запишусь в партию коммунистов, а господин Деникин тут как тут — и тогда мне могила. Вот думал я, когда угонят его подальше, вот тогда и запишусь. А вышло дело, что и Деникина еще не угнали, а я иду в партию коммунистов. Теперь же!.. На душе у меня сейчас не прежняя мысль — близко ли Деникин,— но торжество правды, и эта правда рассеивает прежние мои грязные мысли. И вы, товарищи, тоже выбросьте черную задумчивость и идите в нашу партию, партию коммунистов. Я иду, но иду с надеждой, что и вы, которые отстали, не запятнаете нашей действительно пролетарской революции.

Выступает другой — человек с лицом, резко исчерченным морщинами. Он говорил, сжав большие руки. Собрание замерло.

— Как я рос? Что я видел?— глухо говорит он.— Отдали меня мальчонкой на фабрику и учили там меня одной науке: услуживать, прислуживать, получать подзатыльники, бегать в казенку лисицей, заметая следы,— неся младшему так, чтобы не увидел старший. Этак дрессировали из меня, как из собаки, себе раба — и остаться бы мне рабом, если бы не революция. И сейчас, товарищи, я с полным сознанием прошу зачислить меня в партию коммунистов и принять под свое красное знамя, чтобы сражаться вместе с вами за освобождение трудящихся всего мира.

На собраниях почти не интересовались тем, что в наше время называется политическим уровнем вступающего в партию. Народ волновал другой вопрос: соответствует ли тот, кто идет в ряды партии, высокому нравственному идеалу коммуниста.

— А пить бросишь?— кричали из зала.

— А с женой как ты поступаешь?— спрашивал женский голос.

Под этим углом зрения и обсуждали вступающих. Этого надо принять, он достоин высокого звания коммуниста. А этот не годится: пьяница, матерщинник, залепил затрещину подмастерью. Такой только запачкает собой партию.

Перепадало при этом и тем, кто уже состоял в партии.

Вот вышел молодой парнишка и говорит:

— Я, товарищи, малограмотный, так что вы меня извините. Не знаю уж отчего, но очень люблю я рассуждать. Ну, конечно, по малограмотности рассуждаю больше всякую глупость. Меня и ругают за это, и Петр Фролович ругают, и Иван Васильевич ругают. Но от них мне это не обидно, потому что они люди не партийные. А вот вы, Николай Кузьмич, вы человек партийный, коммунист, вот когда вы меня ругаете, мне обидно. Зачем вы ругаетесь? Вы должны научить, а не ругаться...

Свою речь парнишка закончил неожиданно:

— Попрошу я вас, товарищи, дозвольте мне записаться в пролетарию всех стран!

Районные комитеты партии заседали по нескольку раз в день, утверждая списки вновь принятых в партию. После этого созывались собрания, на которых новым коммунистам вручались партийные билеты. И где бы эти собрания ни происходили — в цехе, рядом со станками, или в прокуренной комнатушке заводского комитета,— все они были отмечены печатью особой торжественности.

С такого собрания коммунисты, провожаемые остальными рабочими, с красными знаменами и пением революционных песен направлялись к Московскому Совету. Часто тут же, на собрании, и старые и новые члены партии выражали желание немедленно уйти на фронт и прямо с собрания шли в военно-вербовочное бюро, а на следующий день уже шагали по московским улицам по направлению к вокзалам, с винтовкой на ремне, с фунтом хлеба и двумя ржавыми воблами в вещевом мешке.

Пожилые бородачи шли рядом с безусыми юнцами, женщины в одном строю с мужчинами, рабочие с Трехгорной мануфактуры в рубахах, испачканных краской ситцепечатной, плечом к плечу с почерневшими от металлической пыли токарями с Бромлея. Одеты были все в свою одежду, на ногах у многих была самодельная обувь на деревянной или веревочной подошве.

У этих бойцов были впалые от голода щеки, они не умели ходить строем и держать ногу, они едва умели стрелять. Но лица их были исполнены такой непреклонности, такой веры в свое дело, такой готовности либо победить, либо умереть, что видно было: эти люди будут сражаться до последнего вздоха, но не отступят и не откроют врагу дорогу на Москву.

В октябре 1919 года, когда Деникин был под Тулой, а Юденич под Петроградом, в партию влилось около двухсот тысяч сынов и дочерей советского народа.

В те дни Владимир Ильич Ленин писал:

«...это — чудо: рабочие, перенесшие неслыханные мучения голода, холода, разрухи, разорения, не только сохраняют всю бодрость духа, всю преданность Советской власти, всю энергию самопожертвования и героизма, но и берут на себя, несмотря на всю свою неподготовленность и неопытность, бремя управления государственным кораблем! И это в момент, когда буря достигла бешеной силы...»

Да, это было чудо, одно из тех чудес, которыми полна история нашей великой пролетарской революции!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

В конце сентября Центральный Комитет партии обратился ко всем партийным организациям, ко всем членам партии с призывом удвоить, утроить, удесятерить энергию партийных организаций в деле военной обороны Республики.

В этом письме чаще всего повторялся один и тот же глагол, который звучал словно звон вечевого колокола: должен! должны!

Партийные мобилизации следовали одна за другой. Двадцать процентов членов партии, тридцать процентов, пятьдесят! Некоторые партийные организации уходили на фронт целиком, полным своим составом.

Работа государственных учреждений подлежала предельному сокращению, а сотрудники — отправке на фронт. Мобилизация не касалась только трех ведомств: военного, продовольственного и социального обеспечения.

«Почему социального обеспечения?— думала я.— Ну, понятно, что военного и продовольственного, но при чем же это несчастное социальное обеспечение?»

Размышляя об этом, я шла по кремлевским коридорам к Владимиру Ильичу, для которого я приготовила по его просьбе кое-какие выписки из книг.

Вопрос меня настолько интересовал, что я выпалила его, едва войдя в кабинет Владимира Ильича.

Он сердито посмотрел на меня.

— Я слышу это сегодня по меньшей мере в пятнадцатый раз,— сказал он.— В том числе и от работников Комиссариата социального обеспечения. Чтоб не терять времени на разъяснения, я распорядился отпечатать вот этот документ — и даю его спрашивающим. Прошу прочесть внимательно!

Он достал из папки на столе машинописную копию какого-то документа и протянул мне.

«Мы, красноармейцы такого-то полка,— читала я,— едем на фронт для защиты и укрепления власти Советов и на помощь нашим товарищам, уже сражающимся на фронте два года. Из них уже много легло там на фронте, но мы знаем и верим больше, чем в себя, что наша Советская власть мозолистых рук их имена на странице истории запишет и их семейства не забудет. Со своей стороны мы заявляем: до тех пор не сдадим оружия, пока не разобьем наголову всю сволочь, белогвардейцев, а также социалистов в кавычках. Мы докажем нашей собственной власти, что мы, красноармейцы, отлично понимаем, за кого мы идем и для чего на фронте умрем, но не отдадим своих прав. Но наша просьба только в том: помните о нас и о наших семействах. А в случае, если здесь, в тылу, поднимут головы контрреволюционеры, то пусть знают, что мы пойдем и разделаемся с ними, что называется, как повар с картошкой, то есть ни одного не оставим в живых. Да здравствует Советская власть! Да здравствует мировой пролетариат!»

Пока я читала, Владимир Ильич просматривал сделанные мной выписки.

— Прочли? — спросил он, когда я кончила.— Запомните навсегда слова: «мы знаем и верим Советской власти больше, чем в себя». Только тот достоин высокого звания коммуниста, кто понимает, какие обязанности налагают на него эти слова...

В эти дни в письме группе иностранных коммунистов Владимир Ильич Ленин писал: «Дорогие друзья! Шлю вам наилучший привет. Наше положение очень трудное из-за наступления 14 государств. Мы делаем величайшие усилия».

Трудно измерить поистине титаническую работу, которая скрывалась за этими скупыми словами: «Мы делаем величайшие усилия». Тут и небывалое напряжение сил для создания решающего перелома на Южном фронте, и организация обороны Москвы, и помощь красному Питеру, который решено было защищать до последней капли крови.

Чуть ли не каждую ночь у нас, в номере «Лоскутной», в темноте раздавался настойчивый звонок «вертушки» (так называли телефоны внутренней связи Совнаркома). Отец вскакивал, брал трубку — и только и слышно было: «Хорошо, Владимир Ильич... Записываю, Владимир Ильич...», а едва уснешь — снова такой же звонок.

Выписки, которые я принесла Владимиру Ильичу, были сделаны мною из статьи, напечатанной без подписи автора в одном из американских изданий XIX века. Надежда Константиновна сказала мне, что Владимир Ильич просил Румянцевскую библиотеку выдать ему это издание на дом, но библиотека ему отказала на том основании, что оно входит в состав фонда, из которого выдача книг на руки не производится. Поэтому Владимир Ильич поручил мне пойти в читальный зал библиотеки и переписать для него эту статью.

Статья называлась «Кавалерия». Автор ее занимался подробным анализом кавалерийского боя.

«Моральный элемент, храбрость, здесь сразу преобразуется в материальную силу,— писал он,— наиболее храбрый эскадрон будет скакать с величайшим самообладанием, решимостью, быстротой, ensemble и дружностью. Ввиду этого, кавалерия может совершить великие дела только в том случае, если она охвачена «порывом». Но как только сломлены ряды одной стороны, на сцену выступает сабля, а вместе с нею и индивидуальное искусство в верховой езде. По меньшей мере части победоносной конницы приходится отказаться от сохранения своего тактического построения, чтобы саблей снять жатву победы. Таким образом, удачная атака сразу решает судьбу столкновения, но если она не сопровождается преследованием и рукопашным боем, то победа остается

сравнительно бесплодной. Только громадное преимущество стороны, сохранившей свою тактическую сплоченность и строй, сравнительно со стороной, утратившей их, и объясняет невозможность для иррегулярной кавалерии, как бы хороша и многочисленна она ни была, разбить регулярную конницу».

Владимир Ильич отчеркнул это место карандашом и написал на полях: «Товарищ Гусев! Прошу ознакомиться со статьей Энгельса, о которой мы говорили, и побеседовать с комиссаром Московской кавалерийской дивизии. Потом расскажете мне. Статью вернете».

Комиссар Московской кавалерийской дивизии (фамилия его была, кажется, Жуков) остановился в той же «Лоскутной» гостинице, в которой жили мы. Вечером он пришел к нам в номер. Все выказывало в нем человека, только что прибывшего с фронта, где он провел много месяцев в седле: и развалистая походка, и покрасневшие от бессонницы и степного ветра глаза, и обветренное, загорелое лицо.

Он был полон мыслей, забот, требований. Основной идеей, которая владела им, было создание «стратегической конницы» — выражение, к которому он упорно возвращался во время разговора.

Вертя в руках махорочную самокрутку, он говорил:

— Необходимость иметь крупные конные части вытекает из того, что мы имеем дело с конным врагом. Создай мы стратегическую конницу, мы могли бы тогда совершать набеги на врага и работать у него в тылу. Стратегическая конница представила бы собой грозную и серьезную боевую силу, которая при известной подготовке может решать участь всей операции и судьбу целого фронта. Только при таких условиях можно будет перейти от обороны в наступление.

Вопросы, которые выдвигал комиссар Московской кавалерийской дивизии (и не он один, а ряд командиров и комиссаров кавалерийских частей), имели важнейшее значение для организации разгрома Деникина. Своими успехами белые были до сих пор обязаны прежде всего преимуществу в коннице, которой они имели вдвое больше, чем Красная Армия. Поэтому создание красной кавалерии было жизненной задачей, без решения которой победа была невозможна.

Пролетарская революция решила ее, создав из казачьей и деревенской бедноты конные соединения Буденного и Примакова и мобилизовав в кавалерийские части коммунистов и рабочих.

Отец был тогда командующим Московским сектором обороны, созданным по решению Центрального Комитета партии.

Решение это, принятое на другой день после падения Курска, было продиктовано угрозой, под которую поставило бы Центральный промышленный район и в частности Москву и Тулу дальнейшее продвижение противника. Отныне, указывал Центральный Комитет, основной военной и вместе с тем политической задачей сделалось во что бы то ни стало, ценой каких угодно жертв и потерь, отбить наступление Деникина, удержать Тулу с ее заводами, отстоять Москву.

С этой целью и был создан Московский сектор обороны. Он включал Московскую, Тульскую, Рязанскую, Калужскую губернии и несколько уездов Смоленской губернии.

Перед войсками сектора были поставлены две основные задачи:

1. В случае выхода противника к Московскому сектору не дать ему быстро распространиться вдоль железных дорог, особенно ведущих к Москве.

2. В случае неудачных действий войск Южного фронта прикрыть их отход, а затем остановить и привести в порядок наши отходящие части и отразить вместе с ними наступление противника, использовав для этого как остов позиции заранее подготовленные линии обороны,— с тем чтоб, перейдя в контрнаступление, разгромить врага.

Программа военно-инженерных работ, проводимых сектором, предусматривала создание пяти линий оборонительных узлов общей протяженностью в несколько тысяч верст. На территории сектора было введено военное положение, вся власть передана революционным комитетам, непосредственно подчиненным командующему сектором.

Все говорило о том, что наступающая осень будет временем безмерного напряжения сил и борьбы не на жизнь, а на смерть. Было что-то величавое в притихших

улицах Москвы, в безлюдных площадях, в слитном гуле шагов московских рабочих и работниц, уходивших на фронт.

Рано поутру мы с отцом шли на работу. Это было единственное время дня, которое мы проводили вдвоем, не прерываемое телефонными звонками и вестовыми со срочными пакетами. Прощались мы возле окованных медью дверей Главного штаба.

— Когда ты придешь домой?— спрашивал отец.

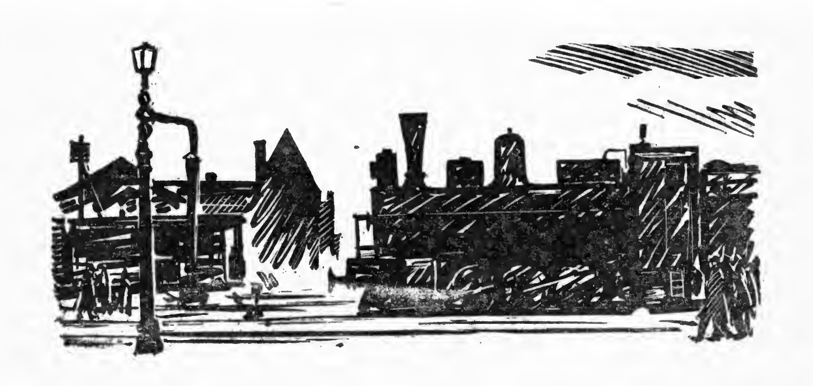
— Поздно вечером,— говорила я.

— Может, хоть сегодня ты придешь пораньше?— говорил он.

— Нет,— отвечала я сухо,— не могу прийти пораньше. У меня много работы.

Он едва заметно усмехался.

— У меня,—говорил он,—пожалуй, тоже много работы...



За это время отец не раз объезжал Московский сектор обороны. В одну из поездок он взял с собой меня, сказав, что ему нужна помощь моих «глазастых глаз».

Не помню уж почему, мы оказались на разъезде Окружной дороги. Было так странно после напряженности, в которой постоянно мы жили, попасть на тихий полустанок, где копошились куры, краснели гроздья рябины, а дежурный по станции, перебирая струны гитары, напевал «Сомнение» Глинки.

Наконец пыхтящий маневровый паровозик подтащил наш вагон. В прошлом он принадлежал какому-то царскому министру и состоял из салона и нескольких купе. Сотрудники штаба, повесив в салоне карту оборонитель-

ных линий и узлов сопротивления, уселись за доработку вопросов, которые предстояло решить во время поездки. Вопросов этих было много. На одни только военно-инженерные работы, проводившиеся сектором, выходило ежедневно по сто двадцать тысяч человек.

Маршрут наш проходил через города Центральной России. Давно ли я, сидя за школьной партой, заучивала их названия с помощью тарабарщины, переходившей от одного поколения гимназистов к другому?

Жиздра, Мценск, Ефремов, Гжатск,
Богородицк, Тула, Спасск...

Первая крупная остановка была сделана в Серпухове. В вагон явились члены уездного ревкома. Председатель ревкома, в прошлом рабочий местной ситценабивной фабрики Коншиных, доложил тщательно разработанный ревкомом план обороны города от белых банд.

Ревком уже приступил к строительству укреплений перед мостом через Оку и железнодорожным мостом. Вокруг города отрывались окопы для стрельбы стоя — с бойницами и пулеметными гнездами. Согласно инструкции Московского сектора обороны, узлы сопротивления должны были быть обнесены колючей проволокой в несколько рядов. Но колючей проволоки ревкому достать не удалось, вместо нее устраивались засеки и баррикады. Было что-то волнующее в сочетании этих слов: «засеки и баррикады». От одного из них веяло древней московской Русью, оборонявшей себя от кочевников, другое было неотрывно связано с революционными боями рабочего класса.

Из Серпухова мы выехали поздно. Маломощный паровоз с натугой тащил тяжелый состав. За темными окнами лежала холодная осенняя ночь.

Вдруг окна осветились неясным пляшущим светом. Паровоз надсадно захрипел, одолевая подъем. Я спустила оконную раму. В окно ворвался гул людского говора, звяканье лопат, неуверенные звуки гармони, подбиравшей «Варшавянку». Мы въехали на мост. Внизу блеснула черная гладь воды. А направо и налево, сколько мог охватить глаз, виднелись огни костров, окутанные красноватым дымом фигуры людей и высокие холмы свежевырытой земли. Здесь шло строительство одного из оборонительных рубежей.

Теперь останавливались часто. Вагон отцепляли на станции, к командующему сектором приходили члены

ревкомов и представители местных военных властей. Все были небриты, с ввалившимися щеками, с глазами, запавшими от бессонницы.

Вопросы решались быстро. Круг их был чрезвычайно широк. Речь шла и о переправах (все переправы на реках надо было подготовить к уничтожению), и о бывших помещиках, которые за последнее время появились как из-под земли. На руках у них были добываемые неведомо откуда грамоты, согласно которым им поручалась охрана их поместий, как «памятников старины и искусства». Командующий сектором утверждал постановления ревкомов о том, чтоб всех объявившихся помещиков арестовывать и заключать в лагеря для принудительных работ, а в случае сопротивления — расстреливать на месте.

Много внимания уделялось созданию мелких местных партизанских отрядов по пять — десять человек, подвижных и легко скрывающихся. Их основная задача заключалась в том, чтоб непрерывно, настойчиво беспокоить неприятеля, изматывать его, любыми средствами причинять ему вред, истребляя одиночек, нападая по ночам, внося панику, разгоняя лошадей,— словом, создавать вокруг него атмосферу грозящей отовсюду неуловимой опасности.

— Предупреждаю вас, товарищи,— говорил командующий сектором,— что эти отряды, которые сильны своим множеством и подвижностью, ни в коем случае не должны сливаться и раздуваться в малоподвижные крупные отряды, требующие совершенно иных условий формирования и обучения.

Иногда командующего сектором вызывали к прямому проводу. Из-под быстро постукивающего телеграфного аппарата ползла бумажная лента, покрытая буквами: «Здесь комиссар N полка Рязанской стрелковой дивизии Поликарпов тчк Здравствуйте товарищ Гусев тчк Я слыхал что вы шлете мне пополнение верно ли это вопрос. У аппарата комвойск Гусев тчк Можем прислать двести человек вооруженных зпт также невооруженных тчк Скажите сколько можете принять невооруженных вопрос Здесь Поликарпов тчк Пришлите сегодня сколько можете тчк Если пришлете четыреста штыков двести сабель я вооружу тчк Боедух красноармейцев отличный зпт беспартийной конференцией принята резолюция зпт просим опубликовать газетах две тчк Ни в минуты наших неудач ни в моменты нашего военного торжества мы ни на мину-

ту не сомневаемся в конечной победе пролетариата над буржуазией тчк В момент расправы озверевшей буржуазии над порабощенным пролетариатом мира шлем проклятие буржуазии и братское кавычки слышу кавычки рабочим всего мира и особенно залитому кровью венгерскому пролетариату тчк Да здравствует последний бой труда с капиталом восклицзнак Все как один на бой с Деникиным восклицзнак».

Иногда командующий сектором производил проверку боевой и тактической подготовки формирующихся в секторе стрелковых дивизий. В их составе было много бывших дезертиров — как добровольно явившихся (их сразу можно было узнать по неловкой старательности, которую они вкладывали во все, что делали), так и приведенных насильственно (эти выделялись расхлябанными движениями и безразличным тупым взглядом).

Значительную часть пополнений составляли только что мобилизованные крестьяне старших возрастов, послужившие уже в солдатах, а нередко намыкавшиеся в германском плену. Многие из них полагали, что отвоевали свое и имеют право просидеть гражданскую войну на печке, покамест другие воюют. Но Мамонтов показал им, что выбора нет; либо надо идти в кабалу к Деникину, либо вступать в ряды Красной Армии. Они избрали второе.

И вот они проходили перед командованием — с винтовками на ремне, кто в солдатской папахе, кто в старой шапке, иные в лаптях, иные даже босиком. На лицах их застыло выражение утомленной серьезности. Приближаясь к начальству, они подтягивались, четко печатали шаг — и на приветствие командующего сектором многие отвечали: «Рады... стараться... ваше...»

Самым больным вопросом было снабжение. Командиры частей, стесняясь крепких выражений, употребляли по адресу снабженцев самые неожиданные ругательства: и что ни «пищат телеграммы вместо дела», и что «разводят бюрократизм, выражающийся в питье чая». Но что могли поделать несчастные снабженцы, когда им приносили длиннейшие списки, в которых чего-чего только не было: пулеметы, патроны, винтовки, рубахи суконные, рубахи нательные, брюки, телогрейки, портянки, сапоги, обмотки, ботинки, шинели, ремни поясные, ремни винтовочные, мешки вещевые, мешки сухарные, сумки патронные, двуколки одноконные, двуколки парные патронные,

уздечки, упряжь, седла вьючные, седла кавалерийские — и еще десятки наименований.

Воевать без всего этого было невозможно. Невозможно, но дòлжно, ибо достать было неоткуда!

За окнами вагона шуршал ветер. Сменялись железнодорожные станции, укрепленные узлы, люди, вопросы, с которыми они приходили. В штабном вагоне день и ночь шла не прерываемая ни на минуту работа.

Наконец к исходу четвертого дня вагон был прицеплен к составу, направлявшемуся на север. Командующий сектором решил использовать свою поездку, чтоб посмотреть последнюю перед Москвой линию обороны. Линия эта окружала столицу в радиусе 20—25 верст и проходила через Знаменское, Внуково, Быково, Тарасовку. Она была намечена на случай приближения противника к Москве и непосредственной угрозы городу; оборонительные работы на ней пока не велись.

Не доезжая Быкова, работники штаба сошли с поезда и пошли пешком. Дорога вела через густой лес. Мы шли уже довольно долго, когда сквозь сплетенные ветки деревьев показались чугунные ворота большого парка. Кто-то сказал, что это — бывшее имение одного из царских сановников, а теперь в нем устроен санаторий. Все порядком устали и решили зайти в санаторий, попросить чаю.

За воротами вытянулась широкая аллея, обсаженная столетними липами. В конце ее белел дом, похожий издали на светлое облако. Мы были недалеко от него, когда впереди показались идущие нам навстречу два человека. Один из них шел, держа в каждой руке по палке и поочередно опираясь на них,— и все же походка его казалась легкой и величественной. Когда мы подошли ближе, лицо его поразило меня своей удивительной, одухотворенной красотой.

Рядом с ним, поддерживая иногда его под руку, шел врач в белом халате. Мы с отцом узнали в нем хорошо нам знакомого доктора Вейсброда.

— Разрешите вас представить,— сказал доктор.— Климент Аркадьевич Тимирязев — Сергей Иванович Гусев.

Я, конечно, знала, что Тимирязев живет в Москве. Но почему-то он представлялся мне человеком иного мира,

иной эпохи, иного измерения — человеком, с которым невозможно так вот запросто встретиться и заговорить.

Между тем Тимирязев живо заинтересовался людьми, с которыми сейчас познакомился, и принялся расспрашивать отца о поездке, о положении на фронте. Но я почти ничего не слышала и только смотрела на него, чуть ли не раскрыв рот.

Мы поднялись по широкой пологой лестнице на мраморную террасу. Она висела над обрывом. Вокруг, пронизанные длинными полосами теплого солнечного света, стояли осенние леса, отливавшие медью, золотом и бронзой.

Климент Аркадьевич смотрел вдаль, любуясь красотой этой осени, последней осени, которую ему суждено было видеть.

— Помните ли вы обращенное к Москве пророчество Байрона? — спросил он.

Thou stand'st alone unrivalled till the fire
To come, in which all Empires shall expire!..

Единственной, себе в истории соперницы не зная,
ты простоишь и до того пожара
Грядущего, в котором все империи мира
должны погибнуть!..

ЧЛЕН ПАРЛАМЕНТА

Однажды меня вызвали в Центральный Комитет партии к Елене Дмитриевне Стасовой. Она сказала мне, что в Советскую Россию прибыл какой-то английский полковник. Сейчас он находится в Туле. Его переводчик заболел, и нужно немедленно послать к полковнику человека, который владеет английским, а на худой конец французским языком. Елена Дмитриевна решила послать меня.

В тот же вечер я втиснулась в поезд, уходивший с Курского вокзала. На другой день я была в штабе Тульского укрепленного района. Там все ходило ходуном. Товарищ, к которому я должна была обратиться, что-то орал, непрерывно крутя ручку полевого телефона. Когда я прокричала ему в свободное ухо, зачем приехала, он посмотрел на меня мутными непонимающими глазами. Потом до него «дошло». Он чертыхнулся и сказал, что

этот англичанин — зовут его мистер Мэлон — ожидает в гостинице.

В коридорах гостиницы на полу валялись спящие люди. Я постучала в дверь номера, отведенного мистеру Мэлону. Открыл курносый красноармеец. Это был приставленный к мистеру Мэлону ординарец. Он тут же сообщил мне, что зовут его Мишкой.

— Наконец-то приехала,— радостно сказал Мишка.— А то я просто замаялся. Ни я, ни он ни бе ни ме не понимэ...

Мистер Мэлон сидел у окна с книгой в руках. Уже потом я узнала, что это был томик Тацита, с которым он не расставался. Когда я вошла, он встал и чопорно поклонился.

Английский я знала плохо, поэтому заговорила по-французски. У мистера Мэлона было ужасающее произношение, к тому же он вставлял во французскую речь английские междометия, милиционера называл «полисменом», священника «клерджименом», спекулянта — «бизнесменом». Но, в общем, мы довольно быстро стали понимать друг друга.

Я узнала от мистера Эстренджа Мэлона, что он — член парламента, либерал. В Советскую Россию приехал, чтоб посмотреть собственными глазами, что̀ представляет собой эта страна, о которой английская печать сообщает самые фантастические вещи. Так как британское правительство находится с Советской Россией в состоянии необъявленной войны, то он взял паспорт для поездки в Эстонию. Приехав туда, отправился на русскую границу и, подняв белый флаг, пошел навстречу нашим пограничным постам. Пограничники его задержали и переправили в Москву. В Москве он был подвергнут перекрестному допросу, а затем ему было предоставлено право свободного проезда в любом направлении.

Желая изучить «мюжик рюсс», «козак рюсс» и «пролетэр рюсс», он прежде всего отправился на юг, но приставленный к нему переводчик внезапно заболел, и вот он, мистер Мэлон, уже два дня томится в ожидании и хочет как можно скорее продолжать свое путешествие. Маршрут путешествия будет определять он сам. Мое дело — помочь ему общаться со всеми этими «рюссами».

Я объяснила все это Мишке, и тот пообещал «мигом все обмандатить». Он убежал и быстро вернулся с полу-

аршинным мандатом на руках. Нам предоставлялось право безвозмездно и беспрепятственно пользоваться всеми видами транспорта, передвигаться по территории укрепленного района, получать пищевое довольствие, давать телеграммы и чуть ли не разговаривать по прямому проводу.

Но когда мы пришли на вокзал к дежурному коменданту, его окружало плотное кольцо владельцев таких же мандатов, каждый из которых был по меньшей мере на четверть аршина длиннее нашего. Мистер Мэлон невозмутимо взирал на то, как мы с Мишкой протискивались через толпу, тыкали пальцем в него, Мэлона, и, силясь всех перекричать, вопили, что именно нас надо отправить в первую очередь.

Аргументы подействовали. Нас сунули в эшелон с маршевой ротой, направлявшейся на фронт. Не доезжая Орла, мистер Мэлон пожелал сойти.

И вот мы шагали по затерянной в полях проселочной дороге. Далеко впереди маячили редкие копны и силуэты крестьянских лошадей. Незадолго до того прошел дождь, дорога раскисла, ноги вязли в грязи. Только теперь почувствовала я всю отчаянную сложность своего положения. Мне приходилось уже бывать в разных переделках, но тогда кругом были свои. А сейчас мы с Мишкой оказались с глазу на глаз с этим сухопарым англичанином — вылитым мистером Домби, который почему-то покинул свою контору в Сити и отправился в страну большевиков.

«Что ему нужно? — думала я.— И кто он? Зачем он поехал в пылающую огнем гражданской войны Россию, где ему угрожают тысячи опасностей? Одно из двух: его поездка либо подвиг, либо злодейство. Либо он, подобно Локкарту, имеет тайную миссию — и тогда, быть может, судьба Советской власти зависит от моей бдительности. Либо же в этой груди бьется благородное сердце, способное понять величие нашей революции...»

Но тут мои размышления прервал голос мистера Мэлона.

— Скажите, пожалуйста, мисс,— произнес он,— вы чекистка?

— Что вы,— сказала я.— Совсем нет.

— Откуда вы знаете французский язык? Вы боуиаришна?

— Почему вы считаете, что французский язык мо́гут знать только боярышни?

— Но, во всяком случае, вы, мисс, болшевик?
— Да, я большевичка.
— Аоуоу,— произнес мистер Мэлон.
«Вот тебе и «аоуоу»,— подумала я и показала его длинной спине язык.
Не знаю, как развивался бы наш разговор, если бы за поворотом мы не увидели деревню — из тех, о которых народная мудрость говорит: «Стоит деревушка в лощинке, ни дров в ней, ни лучинки». Мы подошли к крайней избе, похожей на груду полусгнившей соломы. Мистер Мэлон вытащил блокнот.
Так я увидела этот блокнот впервые. Потом, за время нашего трехдневного путешествия, я видела его не раз. Это был великолепный блокнот в сафьяновом переплете, источавшем аромат дорогой кожи. Быть может, поэтому я возненавидела его лютой ненавистью.
Куда бы мы ни приходили, мистер Мэлон раскладывал перед собой этот блокнот и начинал задавать вопросы, а я приступала к своим обязанностям переводчика.
Первым по программе мистера Мэлона значился «мюжик русс». С этого «мюжик» мы и начали.

Мы шли из деревни в деревню, из избы в избу. Везде одно и то же: избы с топкой «по-черному»; иссиня-бледные лица детей; торчащие под ситцевыми кофтами худые лопатки баб; слезящиеся глаза стариков; рассказы, из которых, как вата из рваного кафтана, лезли горе и нищета.
Мистер Мэлон тщательно расспрашивал, потом записывал в блокнот итоги своих наблюдений.
«Солома. Для русского крестьянина солома является универсальным продуктом. Он употребляет ее в качестве кровли, кормит ею скот, добавляет солому в хлеб, спит на охапке соломы и топит соломой печи».
«Земля («землитса»). Объект религиозно-экстатического поклонения. Говоря о земле, крестьянин начинает с того, что крестится и произносит: «Слава богу, землица теперь наша».
«Соль. Спецификой русского голода является его длительность в соединении с полным отсутствием соли. Отсюда обезвоженность кожных покровов и специфическая синюшность, особенно у детей».
И так далее в этом же роде...

Для ночлега я велела Мишке найти избу побогаче. Хозяин сначала не хотел нас пускать, но, узнав, что с нами приезжий англичанин, сразу переменился. Пока мистер Мэлон фыркая, умывался под рукомойником, на столе появился самовар, вареные яйца, огурцы, квашеная капуста, стеклянный графинчик с красным петухом на донышке, налитый мутноватым самогоном.

Не знаю, за кого принял нас хозяин, но, видимо, за своих, ибо без опаски развязал язык.

Сидя с каменным лицом, я дословно переводила:

— Он говорит: «Советская власть все берет, но ничего не дает» (хозяин произносил: «береть», «не даеть»). Завели коммуну, а ему, хозяину, эта коммуна как блоха под рубахой. Он говорит: «Правительство плохое (хозяин произносил: «Правительства плохая»), взялось управлять, а дела не знает». Он говорит: «Дорогие союзнички, слезно просим пособить Деникину, чтобы он поскорее пришел, а то от большевиков житья нет».

Записав все это в блокнот, мистер Мэлон осведомился о судьбе местного «лэндлорда».

— Где барин ваш? — спросила я.

— Граф в остроге сидят-с,— ответил хозяин.

Он опрокинул чашку вверх дном, положил на донце огрызок сахару и готов был продолжать свои разглагольствования, но я сказала, что устала и хочу спать.

Хозяева легли на печь, а мы на лавки, расставленные вдоль стен. Ночью я почувствовала отвратительное щекотание. В слабом свете лампады я увидела, как целые полчища тараканов ползали по столам, по стенам, по спящим людям.

Когда мы проснулись, хозяева уже встали. Чувствовалось, что за ночь что-то произошло. Все лампады перед иконостасом были зажжены, хозяин поминутно выбегал на улицу и к чему-то прислушивался, потом возвращался, говоря: «Нет, не слыхать».

Оказывается, по деревне прошел слух, что белые уже совсем близко. Хотя слух и не подтвердился, я решила, что надо отсюда поскорее убираться, и заторопила мистера Мэлона.

Хозяин объяснил нам, как пройти к станции «напрямки». То ли он нас запутал, то ли мы сбились с дороги, но мы шли, шли, а станции все не было.

Я уже выбилась из сил, да и Мишка приустал, а мистер Мэлон спокойно вышагивал своими журавлиными ногами. Иногда он задавал мне вопросы — по преимуществу касавшиеся событий Октябрьской революции. Мои попытки заняться его политическим просвещением или растолковать смысл того, что мы с ним видели, он решительно отводил. Глядя на меня сверху вниз, как большая собака поглядывает на тявкающего щенка, он заявлял:

— Для вас, мисс Болшевик, существует только оголенный классовый признак, по которому вы делите всех людей на «мы» и «они». Все, кто не «мы», для вас «они», то есть враги. Я же отношусь к политике гораздо спокойнее и не требую от личности растворения в политических страстях. К вам я приехал, чтоб самому составить мнение о том, что происходит в вашей стране, и посмотреть на нее глазами человека, над которым не тяготеют влияния того или иного класса.

— Ладно,— говорила я, отходя от мистера Мэлона к Мишке. Тут меня ждало верное сочувствие.

Мы долго шли по полям, которые перемежались редкими перелесками. Потом подошли к большому селу, вытянувшемуся одной длинной улицей по берегу реки. В селе царило необычное оживление. Перед околицей какой-то дядя в солдатской шинели обучал молодых парней рассыпному строю. Во дворах крестьяне ладили высокие вехи из жердей, обмотанных соломой и обмазанных дегтем. Несколько готовых вех уже было выставлено возле моста и на пригорке.

На площади перед церковью шел сход. Речь держал человек, голова которого была перевязана грязным бинтом.

Мистер Мэлон вытащил блокнот, и я приступила к переводу.

— Он говорит: «Я, товарищи, задался вопросом, почему они все, гады, против нас? Да потому, товарищи, что наше теперешнее житье им не нравится. Еще бы! То мы были свиньи, чернь, а они промеж нас — господа! Сидели они на наших спинах и не давали бедняку разогнуться и посмотреть, что перед ним,— и все гнули, гнули его книзу. А теперь мы стали люди и не желаем нашего прежнего жалкого существования». Он говорит: «Разве может понравиться нашему графу Бобринскому и прочим

графам и князьям, что мы отняли их поместья, их капиталы, их золото? Да вернись они, гады,— половину нас перевешают, а которых оставят живыми — тех заставят по камушку, по кирпичику собирать их имения и миллионы, за каждый гвоздь, за каждую тряпку сдерут вдесятеро».

Потом на бочку, служившую трибуной, взобрался парень в рваной гимнастерке. Его трясло. Задыхаясь, он рассказывал о том, как у них в станице под Новохоперском усмиряли восстание, поднятое против Деникина.

— Он говорит,— переводила я: — «Казаки бросали ребятишек в колодец, женщин насиловали, а мужчин вешали по несколько человек на одном дереве, и оно стало будто яблоня, только с трупами вместо яблок».

— Как? — переспросил мистер Мэлон.

Я повторила.

Мистер Мэлон сделал запись в своем блокноте. Я заметила, что рука у него дрогнула.

Тем временем небо заволокло тучами. Начало быстро темнеть, но мы двинулись дальше. Часа через полтора, когда мы находились на полпути от станции, наступила темнота.

Мы брели, с трудом различая дорогу. Вдруг раздался продолжительный свист, на него ответили три свистка — один длинный и два коротких,— и в одно мгновение мы были окружены и схвачены.

— Говори пропуск!

Пропуска мы не знали. Нам связали за спиной руки и всех троих куда-то повели.

— О мисс Болшевик,— пробормотал мистер Мэлон,— это начинает походить на роман с приключениями.

Нас вели лесом, потом вывели на поляну. Небо прояснилось, и я разглядела, что ведут нас бородатые мужики, вооруженные чем попало: винтовками, обрезами, вилами, топорами. Это были наши партизаны.

Они свернули на тропу и подошли к избе, у которой стояли на привязи оседланные лошади. Оставив нас в сенях под надзором конвоира, они прошли внутрь избы.

В сенях было темно, пахло хлевом, пищал котенок. На полу лежали люди и о чем-то разговаривали вполголоса.

Красные звездочки махорочных самокруток, вспыхивая, освещали их сумрачные лица.

Меня стало клонить ко сну, когда дверь раскрылась и нам велели войти внутрь избы.

За столом сидел командир. Стол был пуст: ни бумаг, ни чернильницы. Только два полевых телефона. В желтом свете керосиновой лампы глаза командира казались ястребиными.

— Кто вы такие? — спросил он.

Я протянула полуаршинный мандат, добытый Мишкой, и свой партийный билет. Он стал их просматривать. Зашипел телефон.

— Грозный! — закричал командир, покрутив ручку и подняв трубку.— Грозный! В десятый раз повторяю вам: триста сабель и пятьдесят штыков...

Вдруг дверь распахнулась, в комнату влетел ординарец, вручил командиру самодельный серый пакет, заклеенный хлебным мякишем. Продолжая разговаривать, командир распечатал пакет. Из него выпала записка и небольшой белый конверт. Все еще разговаривая по телефону, командир поднес записку к глазам, лицо его исказилось, он стукнул об стол громадным кулаком и...

— Что он кричит? — шепнул мне мистер Мэлон.

Я замялась.

— Так... Непереводимая игра слов.

Наконец «игра слов» прекратилась. Обращаясь почему-то к мистеру Мэлону, командир протянул ему конверт.

— Ты погляди,— сказал он.— Ты почитай, что этот подлец пишет. Пошел, сволочь, делать съемку местности и вот, гадина, к белым переметнулся...

Он начал крутить ручку телефона, а я, подойдя поближе к лампе, прочла мистеру Мэлону письмо на меловой бумаге, написанное изящным наклонным почерком.

Оно было написано в форме официального рапорта поручика князя такого-то на имя комбата пролетарского полка. Князь доводил до сведения комбата, что, выполнив возложенную на него «N-ской организацией» задачу, он прибыл в штаб «N-ского казачьего полка Добровольческой армии» и не намерен возвращаться во вверенный командиру батальон, а посему просит об исключении его, князя, из списков такового, а принадлежащее ему, князю, имущество в виде двух пар кальсон и коробочки пудры жертвует на пополнение причиненных республиканской казне убытков.

— Ну, разве вы не расстреляли бы эту сволочь? — спросила я мистера Мэлона.

— Аоуоу,— ответил он.

Было ли это «аоуоу» утвердительным ответом? Едва ли! Но и отрицанием оно тоже не было...

МИСТЕР МЭЛОН ПЬЕТ ЧАШУ ДО ДНА

Нас быстро отпустили и дали провожатого, который вывел нас к станции. Теперь уже отчетливо слышалась артиллерийская стрельба. На севере небо было черным, на юге, где шел бой, оно освещалось вспышками разрывов. Вдруг слева от нас вспыхнул высокий огненный столб, за ним другой, третий. Это жители дальних деревень, зажигая вехи, оповещали, что к ним пришли белые.

На станции нам сказали, что поезд будет не раньше утра. Мы зашли в зал ожидания, но там был такой спертый воздух, что решили посидеть на платформе.

На рассвете с севера пришел воинский эшелон и приступил к выгрузке. Все было так, как всегда в таких случаях: кто выводил по прогибавшимся доскам упирающихся лошадей, кто запрягал их в тачанку, кто ругал в бога-душу-мать каптеров за то, что они вместо сахара выдали сахарную крошку пополам с песком.

И вот тут-то, в этой суматохе, мистер Мэлон впервые задал вопрос о коммунизме. Собственно, не мне, а одному бойцу.

Этот боец только что добыл себе ботинки. Держа их в руках, он появился рядом с нами, сел на землю, скинул лапти и переобулся. Довольный донельзя, он вскочил, стал похаживать, притопывая, пританцовывая, выставляя вперед то одну ногу, то другую, восхищенно рассматривая свое в высшей степени неказистое, много раз чиненное и перечиненное приобретение.

— Эх, сапожки! — восклицал он.— Вот сапожки так сапожки! В таких сапожках нехитро и до самого коммунизьма дотопать.

— Что он говорит? — заинтересовался мистер Мэлон, услышав знакомое слово.

Я перевела. Водянисто-голубые глаза мистера Мэлона широко раскрылись.

— А спросите у него, знает ли он, что такое коммунизм? — попросил он.

Я подозвала красноармейца и задала ему этот вопрос. Тот удивленно посмотрел на меня.

— Как же не знать? У меня про коммунизьм даже стишок прописан.

Сунув руку в карман, он достал сложенный в несколько раз листок бумаги, в который набился махорочный мусор, и протянул его мне.

— На, возьми совсем.

«Стишок про коммунизм» представляет собой длинный столбец неровных строк, выведенных намусленным чернильным карандашом. Вместо своего имени автор сообщал: «Сочинил Неустрашимый». В «стишке» рассказывалось о том, как будут жить люди при коммунизме, когда «будет хлеба так же много, словно в озере воды». Была в нем между прочим такая строфа:

Не клочки иль десятины —
Все под силу станет нам,
Как пойдут гулять машины
По полям и по лугам.

Когда я дошла до этих строк, лицо мистера Мэлона выразило изумление, и он попросил меня перевести еще раз.

— Спросите, пожалуйста, у ко́зака: он написал это сам?

— А как же! — важно ответил «ко́зак» и убежал, топая своими драгоценными «сапожками».

Cобытия вокруг нас развивались все стремительнее. Артиллерийская канонада, которая слышалась вдалеке, приблизилась. Конники уже оседлали лошадей и по одному выезжали на дорогу. Проскакал командир, прозвучала команда. Все пришло в движение. По земле пронесся конский топот, и бойцы унеслись вперед, в бой.

Тут загудел паровоз, подали наш состав. Мистер Мэлон бросился к вагону занимать места.

— Аллюр три креста,— оценил его бег Мишка.— Научился!

— Люди родятся, любят, умирают,— заговорил мистер Мэлон, когда поезд тронулся.— На протяжении своей жизни они, как слепые щенки, ищут счастья,— каждый человек, каждый народ на свой собственный лад, но в

основе их действий всегда лежит нечто общепонятное. Однако, когда я пытаюсь найти разгадку русского сфинкса, мои усилия оказываются тщетными. В самом деле, как слить воедино ваши доброту и нетерпимость, молитву и «Интернационал», мессианизм и холодный реализм, самозабвенную ненависть к врагам и жертвенную любовь к человечеству?

— Вот мура-то,— вздохнула я и, как умела, изложила мистеру Мэлону несколько марксистских идей.

Он насмешливо посмотрел на меня.

— Мы возвращаемся к нашему старому разговору,— сказал он.— Снова, хоть и в несколько иных выражениях, я слышу от вас, мисс Болшевик, все те же истины: пролетарии и буржуи, «мы» и «они», герои и злодеи. Насколько я могу судить по взглядам, которые вы устремляете иногда в мою сторону, и по вашему шушуканью с Майклом (так мистер Мэлон именовал нашего Мишку), вы меня также причисляете к категории «они», то есть враги.

— А как же? — сказала я.— Кто не с нами, тот против нас.

— Вы ошибаетесь в своем отношении ко мне, мисс Болшевик! Я приехал сюда, в Россию, потому, что внутренне я бесконечно уважаю революционный подъем вашего народа. Но, говорю вам это со всей откровенностью, я не верю в возможность вашей победы, ибо испытания, выпавшие на долю вашего народа, превышают человеческие силы. Настанет день, когда его способность к сопротивлению рухнет, тогда Деникин возьмет вас за горло и задушит.

— Нет,— сказала я решительно.— Этого не будет. Мы всех побьем.

— Но на чем основана ваша уверенность? Вот вы сердитесь на меня, когда я говорю о мессианизме русских. Но разве не верой в чудеса является ваше убеждение, что человек, став коммунистом, приобретает новые душевные свойства и, подобно пророку, может своим словом поднимать людей на подвиг?

Ну что было отвечать? Считая, что на мистера Мэлона лучше всего подействует деловитый язык цифр, я сказала:

— Перед отъездом я присутствовала на докладе одного крупного военного работника, и он говорил, что красноармейская часть боеспособна, если в ней имеется два процента коммунистов, и непобедима, если коммуни-

стов пять процентов. Так что ваш «мессианизм» тут ни при чем, потому что его, как явление божественное, в процентах измерять нельзя.

— А в чем же дело? Дайте рациональное объяснение.

Но я не хотела продолжать спор. Еще во время поездки по Московскому сектору обороны мне попалось переписанное от руки «Нерушимое обещание коммуниста». Это был один из вариантов «Памяток», «Наказов», «Клятв», которые рождались тогда в самой низовой толще партийных масс и расходились по стране, переходя от одного к другому, словно песня, которая выражает мечты и чаяния лучшей части народа.

Листок с «Нерушимым обещанием» я носила в нагрудном кармане и собиралась прочитать его мистеру Мэлону, если придет подходящая минута. И сейчас, глядя на мистера, я решила: «Раз уж ты хочешь знать «мюжик рюсс», «пролетэр рюсс» и «козак рюсс»,— на, узнай их до конца!»

В вагоне было темновато. С трудом различая текст, я читала:

«НЕРУШИМОЕ ОБЕЩАНИЕ
КОММУНИСТА

СОЗНАТЕЛЬНО, БЕСКОРЫСТНО И БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ ВСТУПАЯ В ПАРТИЮ КОММУНИСТОВ-БОЛЬШЕВИКОВ, ДАЮ СЛОВО:

считать своей семьей всех товарищей коммунистов и всех разделяющих наше учение не на словах только, но и на деле; бороться за рабочую и крестьянскую бедноту до последнего вздоха; трудиться по мере своих сил и способностей на пользу пролетариата; защищать Советскую власть, ее честь и достоинство делом и личным примером; ставить партийную дисциплину выше личных убеждений и интересов; исполнять беспрекословно и безропотно все возложенные на меня партией обязанности.

ОБЯЗУЮСЬ:

не щадить и не покрывать врагов трудового народа, хотя бы этими врагами оказались бывшие друзья и близкие родственники; не поддерживать дружбу с врагами пролетариата и со всеми враждебно нам мыслящими; привлекать к учению коммунизма новых последователей; воспитывать свою семью, как истинных коммунистов.

ОБЕЩАЮСЬ:

встретить смерть за освобождение трудящихся от ига насильников с достоинством и спокойствием; не просить

у врагов трудящихся пощады ни в плену, ни в бою; не прикидываться пред врагами инакомыслящим ради личных выгод или корысти.

ОТРЕКАЮСЬ:

от накапливания личных богатств, денег и вещей; считаю позором азартную игру и торговлю, как путь к личной наживе; считаю постыдным суеверие, как пережиток тьмы и невежества: считаю недопустимым делить людей по религии, языку, национальности, зная, что в будущем все трудящиеся сольются в единую семью.

Я пощажу лишь того, кто обманут и увлечен по темноте врагами, и прощу и забуду старые преступления тех, кто искренне раскаялся, перешел к нам из стана врагов и делом искупил прошлое.

ЕСЛИ ЖЕ Я ОТСТУПЛЮ ОТ СВОИХ ОБЕЩАНИЙ СОЗНАТЕЛЬНО, КОРЫСТИ И ВЫГОДЫ РАДИ, ТО БУДУ ОТВЕРЖЕННЫМ И ПРЕЗРЕННЫМ ПРЕДАТЕЛЕМ.

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО Я ЛГАЛ СЕБЕ, ЛГАЛ ТОВАРИЩАМ, ЛГАЛ СВОЕЙ СОВЕСТИ И НЕДОСТОИН ЗВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА!»

Я кончила читать. Душа моя была с теми, кто дал это нерушимое обещание. Ведь все мои товарищи ушли на фронт, и я хотела уйти вместе с ними. А вот путешествую с мистером Мэлоном. Где они, мои друзья, сейчас? Одни заняты повседневной порой невидимой и неприметной работой. Другие бьются насмерть с врагом. Третьи лежат в чистом поле, и сводка Политического отдела с суровым лаконизмом сообщает: «N-ский полк. В течение трех суток полк сдерживает натиск превосходящих сил противника. Политический комиссар полка и больше половины коммунистов пали смертью храбрых».

Овладев собой, я посмотрела на мистера Мэлона. Он сидел, уставившись в одну точку, и сосредоточенно посапывал. Потом достал портсигар, раскрыл его. Портсигар был пуст.

— Мне нечего курить,— сказал мистер Мэлон извиняющимся тоном.

— Майкл,— окликнула я Мишку.— Скрути ему собачью ножку.

Мистер Мэлон долго раскуривал непривычное для него сооружение. Заговорил он не скоро.

— У нашего писателя Уэллса,— сказал он,— есть такой герой мистер Бритлинг, человек умный, но наив-

ный и медлительный. Во время мировой войны он испил до дна чашу горя и страданий, выпавших на долю человечества. Лишь тогда он многое понял в окружающем его мире. Быть может, и мне еще нужно много испить, пока я увижу дно чаши понимания...

В Туле нас ожидал выздоровевший переводчик. Со смешанным чувством грусти и облегчения я сдала мистера Мэлона. Но тот пожелал проводить меня на вокзал.

— Будьте счастливы, мисс Болшевик,— повторял он, прощаясь.— И не думайте плохо о надоедливом англичанине, который желает вам только добра.

Прозвучал третий звонок, поезд тронулся. Мистер Мэлон продолжал стоять на платформе.

Больше я его никогда не видела, и мне не суждено было присутствовать при том, как он пил до дна свою чашу.

Много лет спустя, желая узнать о дальнейшей судьбе мистера Мэлона, я принялась за изучение английских газет. В отчетах о заседаниях Палаты общин, напечатанных в «Таймс» и «Дейли Геральд», я встретила знакомое имя.

Он вернулся в Англию в конце октября или в первых числах ноября. Сцена, которая разыгралась при его появлении в Палате общин, выразительно рассказывает о том, какая встреча была ему устроена:

«Мистер Уинтертон. Каким образом министерство иностранных дел правительства его величества выдало паспорт для проезда в Советскую Россию в то время, когда британский флот бомбардировал русские форты?

Заместитель министра иностранных дел. Мне неизвестно ни одного случая выдачи подобного паспорта.

Мистер Гвинэс. Следует ли это понимать так, что мистер Мэлон поехал в Россию, не имея паспорта?

Заместитель министра иностранных дел. Паспорт полковнику Мэлону был выдан для проезда в Эстонию. Что произошло в дальнейшем, мне неизвестно.

Мистер Биллинг. Судя по всему, что мы услышали, достопочтенный член парламента братался с врагами нашей родины.

Мистер Кенворти. Чего вы добиваетесь, Биллинг?

Мистер Биллинг. Я хочу разоблачить находящегося здесь предателя и немедленно с ним покончить. (Возгласы одобрения.)

Спикер. К порядку! К порядку!»

Это заседание Палаты общин было посвящено утверждению дополнительных ассигнований на военные расходы в сумме ста восьмидесяти миллионов фунтов стерлингов, в том числе пятнадцати миллионов фунтов стерлингов на поддержку Деникина и Юденича.

Прения, которые развернулись по этому вопросу, газетные отчеты характеризуют как «парламентскую дуэль между двумя очевидцами, вернувшимися из России: поборником белых и защитником красных».

В качестве поборника белых выступил полковник Джон Вард, который командовал в Сибири батальоном английских оккупационных войск и помог Колчаку совершить его контрреволюционный переворот. Вард произнес панегирик в честь Колчака, как «истинного демократа, носителя гуманности и прогресса». Советскую Россию, в которой он никогда не бывал, Вард изображал чем-то вроде земного филиала ада, с тем лишь отличием, что вместо раскаленных сковород там применяются более жестокие методы пыток. В заключение полковник Вард призвал вести против Советской России войну до полного истребления большевиков.

«Защитником красных» был полковник Мэлон.

Судя по его речи и по заявлениям, опубликованным в печати, в нем осталось много от того мистера Мэлона, которого я успела узнать во время нашего короткого знакомства: и настойчиво повторяемая мысль, что ему «чужды идеи крайнего социализма», и всяческое подчеркивание того, что он «не подвержен влиянию какого бы то ни было класса».

Но в то же время это был другой человек. Наше путешествие было незначительным эпизодом его поездки: он имел беседы с рядом руководителей Советского государства, провел много времени в Туле, Москве, Петрограде, посещал театры, концерты, заводы, красноармей-

ские части, разговаривал с сотнями самых различных людей.

С первых же слов речь, которую он произнес в Палате общин, прозвучала отнюдь не «внеклассово» или «надклассово».

Он начал ее с заявления, что кампания, которая ведется английской печатью против Советской России, представляет собой сплошную ложь и фальсификацию. Эта кампания, по его убеждению, инспирирована русскими реакционерами и лицами, которые им симпатизируют и боятся распространения в Англии идей коммунизма.

С огромным сочувствием говорил он о Советской России — об ужасных лишениях, которые терпит русский народ вследствие бесчестной блокады, организованной Антантой; о программе социальной реконструкции, разработанной советским правительством во имя общественного благополучия, здоровья и всеобщего образования.

— Особенно поражает забота, которой эта голодная, страдающая страна окружила детей,— говорил полковник Мэлон.— Там работают театры, люди не падают духом. Нет, они полны бодрости и надежд! И это все — несмотря на величайшие тяготы, которые приходится переносить русскому народу. Этот народ с безграничным энтузиазмом поддерживает советскую систему управления и никогда не сдастся врагу.

В заключение он заявил, что привез предложения Ленина о немедленном заключении перемирия на всех фронтах гражданской войны и созыве конференции круглого стола, на которой был бы положен конец смерти и кровопролитиям. Передав эти предложения английскому правительству, полковник Мэлон потребовал, чтоб оно безотлагательно занялось созывом такой конференции и тотчас же сняло бы блокаду, обрекшую русских детей на голодную смерть.

— Большевики победят,— говорил мистер Мэлон.— Мы видели на прошлой неделе французского президента, который приезжал к нам с визитом. Быть может, через несколько лет в Лондон приедет русский президент и даже будет принят в Букингемском дворце. Пусть будет созвана международная конференция. Если же вы захотите обсуждать русский вопрос без России, то Россия будет обсуждать ваши вопросы без вас!

Он много раз выступал на митингах, организованных обществом «Руки прочь от России» в Портсмуте и других городах.

В английской рабочей печати того времени имя мистера Мэлона, человека, который добивался прекращения интервенции в России и рассказывал правду о первой республике рабочих и крестьян, занимало почетное место рядом с именами американцев Линкольна Стеффенса и Джона Рида.

Какова его дальнейшая судьба, я не знаю.

РАЗДУМЬЕ

В тот год долго стояли ясные, солнечные дни. Холода наступили сразу. Накануне годовщины Октября вдруг подул ледяной ветер, а на второй день праздника разыгралась вьюга, снег мокрыми хлопьями залепил окна. Мы с мамой колебались, идти ли на концерт в Большой зал Консерватории, куда у нас были билеты. Какое счастье, что мы все же решили пойти!

На улице мело. Лампочки иллюминации слабо светились сквозь снежную мглу. У Дома Союзов стояла деревянная статуя красноармейца. Символизируя победы, одержанные за последние недели над Деникиным и Юденичем, на его штык были нанизаны генералы, помещики, фабриканты.

Взявшись за руки, мы с мамой шагали навстречу ветру, который рвал знамена и раскачивал провода. К подъезду Консерватории вела дорожка, протоптанная в снегу. Гардероб не работал. Стряхнув с себя снег, мы поднялись наверх.

Когда мы вошли, зал был почти полон. Служители вносили пюпитры и раскладывали ноты. Билеты наши были в партер в пятый или шестой ряд. Прямо передо мной место было свободно. Кресло рядом с этим свободным местом занимал человек в шапке-ушанке, отделанной черным мехом. Он поднял воротник пальто и сидел, опустив плечи и сжавшись — то ли устал, то ли старался согреться.

Появились оркестранты — в шубах и шапках. Пианистка не сняла шерстяных перчаток. Вяло звучали настраиваемые инструменты, словно и звуки застывали

в этом мертвящем холоде. Наконец вышел дирижер — Сергей Кусевицкий. На нем был фрак, но вместо белого крахмального пластрона из-под фрака выглядывал серый свитер. Кусевицкий быстро поклонился, подышал на руки и поднял палочку. Концерт начался...

Я запахнула поглубже пальто и приготовилась слушать, но мама осторожно дотронулась до меня. Одними глазами она показала мне на того человека, который сидел впереди, слева от нас. Теперь он снял шапку и опустил воротник. Я увидела, что это Владимир Ильич.

Мне довелось много раз видеть Владимира Ильича — выступающим на трибуне, председательствующим на заседании, у него дома. И всегда он бывал в действии, в движении. Сейчас, впервые, я видела его в минуту сосредоточенного раздумья.

Слушая и не слушая увертюру «Кориолан», я неприметно боковым зрением, наблюдала за Владимиром Ильичем. Он сидел не шелохнувшись, поглощенный музыкой. Оркестр постепенно освобождался от оцепенения, но все еще звучал приглушенно, и только замерзший ударник, когда ему приходило время вступать, с непомерной силой колотил по своему инструменту.

— Как застоявшаяся лошадь бьет,— негромко пошутил кто-то сзади.

Но вот прогремел финал, раздались аплодисменты. Владимир Ильич слегка пошевелился. По его движению я поняла, что он старается устроить поудобнее левое плечо, из которого еще не были извлечены эсеровские пули.

Мне вспомнилось, как работники Совнаркома и даже Секретариата Центрального Комитета партии, помещавшегося вне стен Кремля, в первые дни после ранения Владимира Ильича невольно ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, а потом он стал выздоравливать, и какое это было счастье для нас, когда мы приходили на обед в кремлевскую столовую и видели через окно, как он гуляет по двору.

Новый взрыв рукоплесканий прервал мои думы. Теперь Владимир Ильич переменил позу и сидел так, что мне видна была правая половина его лица. Выражение его было сосредоточенным и даже грустным. И чувство огромной любви к нему охватило мою душу.

Мне вспомнился день Первого мая девятнадцатого года. Праздник международного пролетариата проводился тогда иначе, чем теперь. Вся революционная Москва стройными колоннами приходила на Красную площадь, слушала выступления ораторов, проходила мимо Ленина, пела, произносила клятву верности социалистической революции и, проведя здесь, на Красной площади, несколько часов, расходилась по своим районам, чтобы там закончить празднование Дня международной солидарности трудящихся всего мира.

И Красная площадь тоже была совсем не такой, как теперь. Вдоль Кремлевской стены голо и неприютно, обложенные дерном, тянулись могилы жертв революции. Площадь была вымощена брусчаткой. По ней проходили две трамвайные линии. Трамваи со звоном и скрежетом одолевали подъем у Исторического музея, а потом с грохотом спускались к коротенькому, перекинутому с берега на берег, Москворецкому мосту. Сразу за храмом Василия Блаженного шел ряд невзрачных домов — и площадь от этого была меньше и теснее, чем в наши дни.

В тот день, Первого мая девятнадцатого года, она выглядела более празднично, чем всегда. На здании Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ) были повешены огромные алые полотнища; на одном из них был нарисован рабочий, на другом — крестьянин. На каждом зубчике Кремлевской стены трепетал красный флажок, и даже Минину и Пожарскому сунули в руки по красному флагу. На Лобном месте белое покрывало окутывало фигуру Стеньки Разина — памятник должны были открыть сегодня. Свежая могила Якова Михайловича Свердлова утопала в цветах.

Ярко светило солнце. Деревья были усыпаны почками и зеленоватым кружевом вырисовывались на фоне ясного неба. Настроение у всех было радостное. С фронтов приходили вести о победах Красной Армии. В толпе слышались песни, знакомые громко приветствовали друг друга еще только входившими в обычай словами: «С Первым мая, товарищи!» Молодежь хором декламировала строки из последнего стихотворения Демьяна Бедного:

О Шейдеман, лихая тварь,
Как буду я судьбой утешен,
Когда увижу тот фонарь,
На коем будешь ты повешен!

Около полудня на площади появился Владимир Ильич Ленин, бурно приветствуемый собравшимися. Он обратился к ним с приподнятой речью, которую закончил словами: «Да здравствует коммунизм!» Потом он спустился, чтоб перейти на следующую трибуну (их было установлено несколько, в разных концах площади — так, чтоб все, кто пришел, могли услышать Ленина и других большевистских деятелей). Но Владимира Ильича остановили и протянули ему лопату.

Дело в том, что в тот год день Первого мая был объявлен днем древонасаждения. Окруженная со всех сторон врагами, Советская республика решила высадить молодые деревья.

Владимир Ильич, лукаво усмехаясь, потер ладони, взял лопату и принялся копать землю у Кремлевской стены.

Когда ямка была вырыта, подъехала подвода с саженцами. Владимиру Ильичу вручили тоненькую липку. Он бережно поставил ее на предназначенное место, засыпал землей, полил водой — и только когда работа кругом была закончена, прошел вперед и поднялся на другую трибуну.

В первой своей речи в этот день он подводил итоги прошлого, теперь его мысль была обращена к будущему — к тому новому миру, который вырисовывался из-за туч порохового дыма, окутавшего Советскую Россию. Он видел это будущее и в детях, слушавших его, стоя у подножия трибуны, и в молодых деревьях, которые были только что посажены.

Опираясь на лопаты, собравшиеся вслушивались в слова Владимира Ильича.

— Внуки наши,— говорил он, протянув перед собой почерневшую от земли руку,— как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом. До сих пор, как о сказке, говорили о том, что увидят дети наши, но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенное нами здание социалистического общества — не утопия. Еще усерднее будут строить это здание наши дети.

Он посмотрел на детей и, немного помедлив, сказал:

— Мы не увидим этого будущего, как не увидим расцвета деревьев, которые сегодня посажены; но это время увидят наши дети, его увидят те, кто переживает сегодня пору юности...

Шум аплодисментов возвестил об окончании первого отделения концерта. Все поднялись с мест, притопывая, похлопывая себя, чтоб согреться. Встал и Владимир Ильич.

Он надел шапку, постучал кулаком о кулак, потом обернулся и увидел нас с мамой.

— А, Елизавет-Воробей,— окликнул он меня тем прозвищем, которое мне дали, когда я была девочкой. Он поздоровался с мамой, потом со мной своим крепким, быстрым рукопожатием...

Да, все это было...

И когда сегодня вспоминаешь об этом, тебя охватывает желание быть лучше, благороднее, быть всегда достойным высокого звания коммуниста!

1957—1962

СОДЕРЖАНИЕ

Котелок

Москва, 1918

Черные сухари

Золотая осень

Елизавета Яковлевна
Драбкина

ЧЕРНЫЕ СУХАРИ

Рассказы

Редактор
Н. Иванова

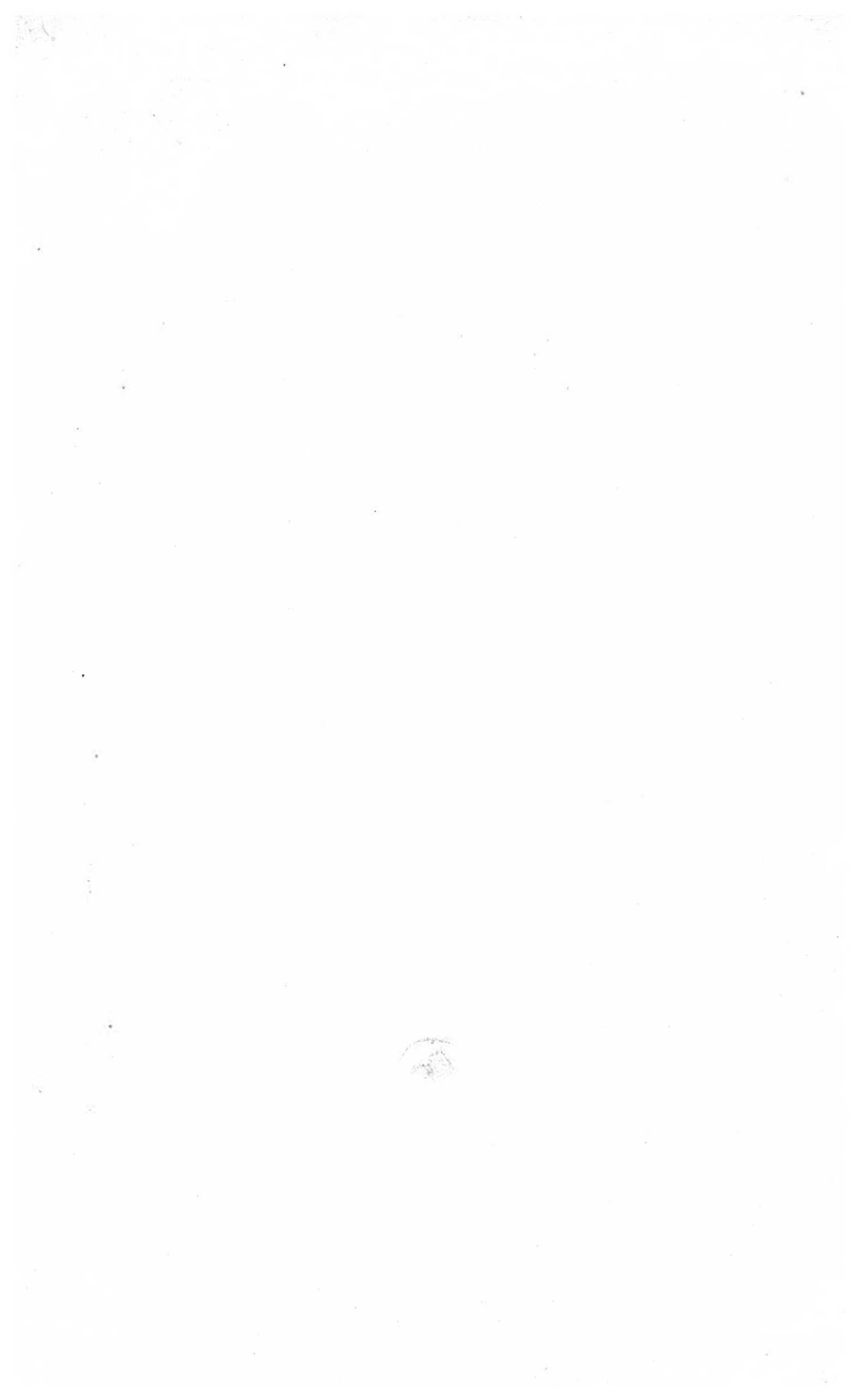
Художественный редактор
А. Цветков

Технический редактор
В. Савкезич

Корректоры
Т. Кибардина и *Н. Шкарбанова*

Сдано в набор 14/IV 1970 г. Подписано к печати 17/IX 1970 г. Бумага типографская № 2. Формат 84×108 1/32. 11 печ. л. 18,48 усл. печ. л. 18,835 уч.-изд. л. Заказ 134. Тираж 200 000. Цена 66 коп.
Издательство «Художественная литература», Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.
Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе Комитета по печати при Совете Министров УССР, Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

1 ✓
2 +
3 –
4 ✓
5 ✓
6 +
7 –
8 ✓
9 ✓
10 +
11 –



66 коп.


ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА
ЧЕРНЫЕ СУХАРИ